1973

3

Молодая гвардия

СССР



Н. Романова.
«АВТОПОРТРЕТ».

●

На молодежной выставке картина получила вторую премию ЦК ВЛКСМ.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический журнал ЦК ВЛКСМ

Молодая гвардия

1973
3

Основан в 1922 году

В НОМЕРЕ:

Наш адрес:

Москва, А-30, Сущевская, 21, редакция журнала «Молодая гвардия». Коммутатор: 251-15-00; отдел прозы — доб. 2-40; отдел поэзии — доб. 4-13; отдел очерка и публицистики — доб. 4-26; секретариат — доб. 4-16; отдел критики — доб. 4-14; отдел «Товарищ» — доб. 3-66.



Фазу АЛИЕВА

НОВОРОЖДЕННОМУ

* * *

Будь как начало.
Будь как утро.
Как предисловье к речи мудрой,
Как провозвестник новых лет,
Идущих за тобою вслед.

И лучше скоро,
Чем не скоро, —
Пускай в тебе проснется тот,
Кто предпочтет огонь позору,
Смерть униженью предпочтет.

И слава прозвучит твоя
За рубежами бытия.

* * *

Нет счастья большего заблудшему в пути,
Чем огонек увидеть у дороги.
Тогда с души слетают все тревоги
И вновь легко становится идти.

Расти, мой сын, на огонек похожим.
Пускай, в дороге заблудившись, тот,
Отчаяньем измученный прохожий,
Тебя заметив, веру обретет.

* * *

Пускай ваш сын не видом важным
Прославится среди людей,
А тем, что всех скупых сограждан
Затмит он добротой своей.

Но главным жизненным условьем
Считает заповедь себе —
Что лучше захлебнуться кровью,
Чем уступить врагу в борьбе.

* * *

Коль ложь и подлость к вам отыщут путь,
Пускай они приходят в черном цвете,
Чтоб вы смогли их издали заметить
И, защитившись, напрочь оттолкнуть.

А счастье — по желанью моему —
Пусть одевают в красные наряды,
Чтоб вы его увидеть были рады
И нежно руки протянуть ему.

ПРОВОЖАЯ СЫНА В ДОРОГУ

* * *

Счастливый путь, сынок!
Не на пороге
Становятся мужчиной,
А в дороге.

Тебе счастливым быть желаю я,
Коль счастливы и все твои друзья.
Ты должен досыта поесть тогда лишь,
Когда не голоден и твой товарищ.

А после дел нелегких отдохни,
Коль рядом отдыхают и они.

Пусть знаком дружбы будет твое имя
И пусть длиннее будет в миг любой
Твое крыло, простертое над ними,
Чем их крыло, что реет над тобой.

* * *

Счастливый путь, сынок мой!
Не в покое

Становятся мужчиной,
А в походе.

Пытаясь путь в грядущее наметить,
Всю жизнь бери у прадедов урок.
Они, прожив свои тысячелетия,
Ни разу не избрали двух дорог.

Они одну дорогу выбирали —
Борьбу за счастье Родины-земли,
Они не на подушках умирали,
Они на поле боя полегли.

Сумей и ты прожить непобедимым.
Своим великим прадедам под стать,
Сберечь свободу Родины любимой
И на колени никогда не встать.

* * *

Счастливый путь, сынок мой!
Не в покое
Становятся мужчиной,
А в походе.
Хочу, чтобы рука твоя держала
По-горски твердо рукоять кинжала.
Учись у предков, дорогой сынок,
Лишь в час тревоги обнажать клинок.
И знай — само оружие незряче:
В твоих руках позор или удача.

* * *

Пусть все долгие дороги станут краткими,
Каменистые тропки будут гладкими,
Роднички пускай тебя встречают полными,
Пусть в пути тебя минуют грозы-молнии.

И попутчик у тебя пусть будет умница,
И желанье и мечта твоя пусть сбудется,
И с тяжелыми хурджинами к закату дня
Возвратись к тому порогу, где седлал коня.

Перевел с аварского Владимир Туркин



Юрий БОРОДКИН

МОСТИК С БЕРЕЗОВЫМ ПОРУЧНЕМ

РАССКАЗ

1

Рассвет подходит к Никольскому из-за реки. Пока теплится ровным, спокойным светом заря, лес черным зверем горбится на увалах, но вот из мрачной глубины его вырывается солнце, и начинают распознаваться отдельные деревья, розовато дымится над поймой подвижный парок, золотисто вспыхивают купы берез и наконец лучи дотягиваются до сельской улицы, жарко слюденят окна изб.

Горница Евстигнея Колотовкина пока на теневой стороне. Спит в горнице приехавший погостить к тетке студент Виктор. Мать его тоже была здешней, но после войны жизнь занесла ее в город. У тетки детей нет, она рада приезду племянника.

Свежий утренний воздух процеживается сквозь марлевую занавеску. Скрипит колодезный ворот, кокочут куры, строчит мотоцикл — все это сквозь сон. Взлаял будто над самым ухом кобель Фомка и разбудил.

Дядя Евстигней сидит на крыльце. Видно, поливал огурцы, — вода в ведрах еще не устоялась, покачивается. На нем серая рубашка, серые штаны и форменная фуражка лесника с потрескавшимся козырьком и линялым зеленым околышем. И длинное лицо его кажется серым, щетина искрится на впалых щеках. Хрящ просвечивает на тонкой переносице, брови как бы вздернуты невидимыми ниточками кверху, взгляд соколино-зоркий. Сидит Евстигней, поставив на приступок босые жилистые ноги с бугристыми желтыми ногтями. Фомка, вислоухий кобель, помесь гончего с лайкой, валяется возле.

— Проспал ты зорю. Куприяновы ребята давно прошли с удочками.

— А мы сегодня ла́вы будем ставить. Зыков говорил: к восьми собираться.

— Как бригадир, наряды дает! — насмешливо мотнул головой Евстигней.

— Мне топор надо, — не обращая внимания на ироническое замечание, сказал Виктор.

— Не брал бы, еще тяпнешь по ноге. Чай, без тебя обойдутся. Этому корявому-то черту нечего делать, вот везде и суется. Ему и рожу-то своротило потому, что сам к молотилке полез: ведь председателем был.

— Со всяким могло случиться. Зря ты так о нем. Мостик — дело общее, всему селу нужен. Тебе самому же приходится чаще других ходить за реку.

— У меня вон сапоги-бродни.

— Я все-таки пойду помогу.

— Валяй, коли велика охота, — напутствовал Колотовкин, досадливо поскребывая пятерней плечо.

Виктор знал, что между дядей Евстигнеем и Василием Зыковым никогда не было согласия. Перед самой войной Колотовкин неудачно сватался к Марье Фроловой, да так и ушел на фронт холостяком. И Зыков воевал. Обоим посчастливилось вернуться домой. Но Марья стала женой Зыкова. Вот когда закипела злость в Евстигнее: ведь Зыков был старше его лет на пять, а Марьи — на все десять.

Зыков — в председателях — мужик лихой, плечистый, русые волосы в крупное кольцо. Счастье ему с молодой женой. Мучительно было Евстигнею держать в себе затаенную неприязнь. Вмешалась судьба, отомстила за его обиду.

Молотили рожь. Зыков поторапливал баб, сам подавал снопы в молотилку, и вдруг внутри ее завозился страшный железный грохот: вылетел зуб из барабана. Зыков с окровавленным лицом повалился навзничь с полки на снопы... Около месяца лежал в больнице, крепко изуродовало: щеку разорвало, переносицу продавило, по лбу наискось прочеркнулся широкий белый шрам.

Страдал Василий Зыков больше не от своего увечья, а потому, что рядом с ним цвела Марьина красота. Особенно на колхозных праздниках наваливалась тоска, замечал он, что все смотрят на них и жалеют его, и жалеют Марью.

Однажды после посевной составили столы в круг прямо под березами. Поначалу все шло своим чередом: Зыков, взмахивая увесистым кулаком, произнес тост, бабы затянули под гармонь песню, пляску затеяли. Зыков хмелел, стискивая зубы, давил в себе всегдашнюю боль. Почему-то, когда играла гармонь, ему делалось невыносимо тягостно.

Напротив сидел Евстигней, щурил зоркие глаза, поглядывая на Марью не то чтобы нахально, а с едкой ухмылочкой: дескать, поживи теперь, покрасуйся с таким-то муженьком, разборчивая славница, сама когда-то оттолкнула свое счастье, отказав мне, Евстигнею.

— Чего эдак поглядываешь на мою жену да губы кривишь? — не сдержался Зыков.

— А ты занавесь ей лицо, как турки делают, и никому не показывай, — подковыристо ответил Евстигней.

Шрам на лбу Зыкова багрово вздулся. Он тучей навис над Евстигнеем и сгреб его за пиджак, припечатал спиной и затылком к березе так, что с нее посыпались майские жуки...

После этого Зыкова сняли с председателей — Колотовкин послал жалобу на него в район. С годами ревность меж ними утихла, но скрытая вражда осталась. И сейчас Евстигней, конечно, понимал, что лавы нужны и селу и соседним деревням, но что Зыков и тут участник, раздражало его.

2

В начале лета никольские перекидывают через Святицу новые лавы — пешеходный мостик в два-три бревна шириной. Его сносит весенним паводком. За рекой — лес, в лесу ягоды, грибы.

Нынче артель собралась маленькая, всего четверо. Закоперщиком, как всегда, Василий Зыков, мужик еще крепкий в свои пенсионные годы. Тут же его ровесник Павел Кулешов — совсем старик, с маленькой птичьей головой и нездоровой желтизной в глазах. Еще Колька Мартынов на своем гусеничном тракторе: подвез хлысты и тоже плотничает. Виктор оказался в этой компании случайно, ему, мечтавшему о подвижничестве сельского учителя, хотелось настоящей крестьянской работы и доверия со стороны деревенских жителей.

Лето было в самой благоуханной поре. Только отцвела черемуха, на горе́, по краю села, пенились яблони, луговина ярко желтела, усеянная купальницами. Река сверкала чистой струей, пропуская солнце до самого песчаного дна. В ивняке гомонили птицы, на той стороне куковала кукушка, и Виктор впервые почувствовал какую-то светлую торжественность в этих, казалось бы, однообразных звуках.

Сосновые хлысты звенели под топорами, как басовые струны, сок брызгал из-под лезвий, распространяя медово-холодный запах. Комарье липло к сладкой щепе, к потным шеям, но постепенно убывало, потому что день разгорался, солнце пекло в упор.

Виктор старался подражать Василию Зыкову, у того все получалось несуетливо, сноровисто. И тесал он, и курил с той деловитой неспешностью, которая отличает людей уверенных в себе, занимающихся привычным делом. Слегка скривив ноги, он цепко обхватывал ими бревно. Широкие брюки нависали на голенища кирзачей. Иногда он распрямлял квадратную спину, чтобы распорядиться. Виктору посоветовал:

— Не взмахивай высоко топором, ты его легонечко потягивай. Вот так.

Да, лицо у него ужасно, и, кажется, живут на нем только глаза: ясные, густого кофейного цвета. И никак не представить Виктору, каким был Зыков до бедового случая.

— Мои ребята сегодня обещались приехать, — сообщил Зыков.

— Генаха с Минькой?! — обрадовался Колька.

— Ага. Они у меня молодцы, в ногу идут: на моторный завод вместе устроились, в техникум автомеханический на вечернее поступили. Оба к машинам с детства пристрастие имели.

— Я дак их всегда путаю: который Генка, который Минька, — мотнул птичьей головой Кулешов.

— Экзамены, говорят, ходили друг за дружку сдавать, когда поступали. Где там преподавателю распознать! — довольно заулыбался одними глазами Зыков. И все посмеялись над находчивостью его сыновей-двойняшек.

Стали заносить готовые бревна на серединную стойку. Надо лезть в воду, а она еще холодна. Виктор сунулся первый — зуб на зуб не попадает.

— Эх вы, молодежь!

Зыков разделся, спокойно вошел в реку по самую грудь, взяв конец бревна на плечо. Виктор тоже подпирал что было силы, но, глядя на взбугрившуюся узлами спину Зыкова, чувствовал, что, если бы даже отпустил бревно, тот и один удержал бы.

— Взяли-и! Еще рази-ик! — сиплым от напряжения голосом скомандовал Зыков.

Колька забрел в воду, не обращая внимания, что зачерпывает сапогами. Только Павел Кулешов суетился на комле: дескать, для перевесу, а много ли в нем—пуда три. Кое-как завели первое бревно, дальше пошло легче: в воде стоял один Зыков, остальные поднимали сверху, подтягивая за веревку.

К обеду лавы были готовы, оставалось приладить поручень. Легли отдохнуть в холодке под старой ветлой, задымили папиросками. Виктор тоже закурил, несколько раз давился дымом. Зыков сопровождал каждую затяжку сладким вздохом, при этом внутри у него что-то отзывчиво всхлипывало.

К броду через Святицу подошло совхозное стадо, коровы караваевской светло-бурой масти. Пастух с медным степным лицом покачивался верхом в седле. Лошадь тянула поводья к воде.

— Нынче на ферме коровы глаже своих, — заметил Павел Кулешов. — Ведь двести голов, а как одна.

— Всю зиму только и подвозим корма́, — сказал Колька.

— Зря они, понимаешь, в седлах-то мотаются: пускали бы в лес, чего бояться? Мы с отцом, бывало, перегоним стадо за реку, а сами рыбу удим, — вспомнил Зыков. — В обед бабы спускаются с горы, гремят подойницами. Отец садится на берегу и начинает дудеть в рожок, ловко из бересты он их скручивал, в гражданскую войну хохол один его научил. Коровы заслышат и выходят доиться, так были приважены.

То крутое и заманчивое время, когда Василий Зыков был Васькой-подпаском, незнакомо Виктору, и опять не смог он представить того подростком.

Река тихонько журчала в подпоринах мостика. Над стадом стригли воздух пронырливые ласточки и уносились ввысь, к селу. Никольское невелико, избы ровно выстроились в одну улицу, в верхнем конце ее густеют могучие березы, перед ними торчит колокольня с высоким шпилем.

— Во-он пари́т, окаянный! — продолжался разговор, лишенный последовательной связи.

— Кто? Где?

— Ястреб круги водит, будто привязан к шпилю.

— У Миронихи, понимаешь, двух цыплят затрепал.

Все стали отыскивать в небе ястреба. Глаза слепило, облачка оловом плавились в знойном небе...

— Успех работе! — раздался бодрый голос.

Дядя Евстигней появился неожиданно, видимо, подошел берегом. За плечом — ружье, на ногах — резиновые бродни с подвернутыми голенищами, они казались громоздкими, как ступы. Потоптался на щепках, тяготясь присутствием Зыкова, и шагнул на лавы.

— Здорово лежни положили, только сырняком-то они шибко прогибаются.

— Взял бы да и помог, понимаешь, чем пенять. — Зыков только теперь оторвал взгляд от ястреба.

— У меня служба, — ответил Евстигней и подсвистнул собаке. Шел он по лавам осторожно, словно что-то пихал потихонечку носками сапог.

Фомка вынырнул из-под берега, встряхнулся и ленивой трусцой последовал за хозяином, печатая мокрыми лапами следы на тесаных бревнах.

— Служба у него, видите ли! Шляется с ружьем, — не стесняясь Виктора, заговорил Зыков. — Этта приходит, понимаешь, ко мне, спрашивает: дрова рубил? Рубил. Какие? Березу с осиной. Сколько? Сколько на трактор уйдет, отвечаю. Заплатить, дескать, надо четыре рубля. Надо так надо, подаю деньги. Он сунул их в карман — и к порогу. Стой, говорю, а квитанцию? После принесу.

Виктор понимал правоту Зыкова, но все-таки было досадно, что дядю Евстигнея недолюбливают в селе. До поездки сюда он представлял его уважаемым, добрым человеком, какими знал по книжкам лесников, и первым желанием его было пойти с ним в лес. Позавчера они полдня бродили за рекой, Виктор ожидал, что дядя Евстигней познакомит его с какими-то тайнами природы, потому что особенным зрением и слухом он чутко соединен с ней. Может быть, Евстигней и видел и слышал скрытое от Виктора, но больше молчал и казался равнодушным. Скорее всего его ничто здесь не удивляло, все было привычным...

Снова взялись за топоры. Зыков выбрал в перелеске

две подходящие березки, стал гладко отесывать сучки, объясняя Виктору:

— Я эти лавы годов тридцать каждое лето ставлю. Поручень всегда березовый: крепко, строгать не надо и красиво. Рядом с ним будто бы и сама река светлеет.

Только поставили поручень, как услышали крики.

От села, размахивая руками, бежали двое.

— Мои ребята! — сразу определил Зыков и, воткнув топор в бревно, подался им навстречу. Глаза заблестели, изуродованная щека задергалась от волнения.

Они уже бежали по косогору, плотные, русоволосые, в одинаковых голубых тенносках и брюках-техасах. Зыков широко размахнул руки, сгреб обоих в охапку и после долго держал ладони на их плечах, разглядывая сыновей с какой-то придирчивостью. Их и в самом деле трудно было различить. Когда здоровались, назвали Виктору имена, но он тут же забыл, которого как звать. Зато теперь, увидев их, сразу представил, каким был Василий Зыков: та же выразительность карих глаз и выпуклых надбровий, те же пружинисто-упругие волосы, широкий раздвоенный подбородок. Да, именно таким, мужественно-здоровым был Зыков в свои молодые годы.

Вслед за сыновьями подошла и жена его Марья, сияя каждой черточкой моложавого лица.

— Вася, ну чего вы встали? — с ласковым упреком сказала она.

— Шабаш, ребята! — скомандовал Зыков. — Пошли к нам обедать. Маша, приглашай всех.

Сунули топоры под иву и потянулись по косогору прямо к дому. Навстречу выбежали мальчик-подросток и девочка лет шести — тоже дети Зыковых. Девочка с разбегу прилепилась к отцу, он высоко поднял ее и усадил себе на плечо.

— Теперь бы Володю с Костей, чтоб всем собраться, — сказала жена.

— А что? Завтра пошлем телеграммы, приедут, — уверенно ответил Зыков.

Окруженный детьми, он был возбужден, и лицо его уже не казалось таким изуродованным. Виктор шагал рядом с сыновьями Зыкова, ощущая особенную, завидную радость большой семьи. Она притягивала и Кольку-тракториста, и Павла Кулешова, и других односельчан, побывавших в этот день в избе Зыковых...

3

Домой Виктор вернулся в сумерках. Дядя Евстигней, против обыкновения, сидел на венском стуле в передней половине избы, вертел в руках газету, видимо, нервничал. И сами хозяева и Виктор редко заходили в эту комнату, подготовленную точно для музейной экспозиции. На шероховато-белые половицы вообще никто не ступал, ходили только по полосатому половику до комода, где аккуратной стопкой, для показу, лежали нечитаные газеты.

— Ужинать тебя ждали, ждали... — пробурчал Евстигней.

— Я не хочу.

— Какой сытый из гостей-то. Все у Зыковых был?

— Сыновья у них приехали.

— Знаю. Шуму-то, будто свадьбу играют. Между протчим, и дома мы с тобой не хуже бы могли выпить.

У Зыковых захлебывалась весельем гармонь. Дядя Евстигней хмурился, продолжал придирчиво брюзжать, постукивая рябоватой рукой по газете:

— Теперь хоть уши затыкай: всю ночь со своей гармонью будут валандаться, не дадут поспать. Ты бы не очень с ними знался, вольники эти двойники. Помню, у меня тыкву из огорода белым днем утащили. А в городе-то и вовсе, поди, отпетые стали. Уж я знаю сорт людей!

Виктор молча ушел в горницу, где чувствовал себя не так стесненно, и расхлестнулся на кровати. Голова кружилась легким хмелем. Вряд ли когда-нибудь примирятся дядя Евстигней с Зыковым. Избы их стоят друг против друга, разделенные не только широкой улицей. «Как же так можно: всю жизнь быть соседями и враждовать? Пора бы избавиться дяде Евстигнею от унизительно-мстительного чувства к Зыкову», — размышлял Виктор. И думалось ему о скором времени, когда он будет учительствовать в таком же селе и научит ребят прежде всего честности, дружелюбию. Он и сам не смог бы объяснить, почему готовился стать именно сельским учителем. Может быть, это был зов крестьянской крови?..

Гармонь вырвалась на улицу, рассыпалась переборами и покатилась вниз по селу: Генка с Минькой направились к клубу. И Виктора поманило за ними, он быстро переоделся и вышел на крыльцо.

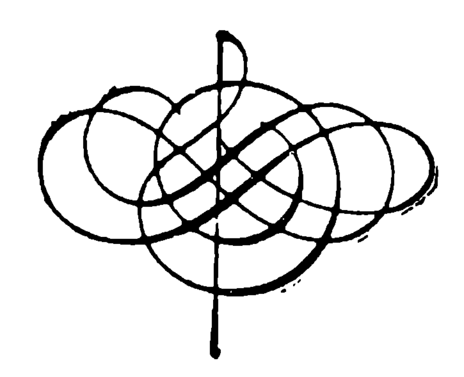
Все чинно, все на загляденье у дяди Евстигнея: кры-

лечко с лавочками, на простенке рядом с дверьми голубой ящичек для газет и писем. Только от кого их ждать? Дом обшит тесом, под окнами — палисадничек, чтоб скотина не лезла, не мяла траву. Прохожие завидуют такой устроенности. Зря завидуют.

Вдоль села туда-сюда фыркали мотоциклы. Редкие фонари зажглись на сосновых столбах. Бабочки бестолково мельтешили возле них, должно быть, обжигались о лампы, но снова тянулись к свету.

Возле клуба открытый косогор. Отсюда даже сейчас виден мостик с белым березовым поручнем — живописно. Без него селу вроде бы не хватало, как картине, завершающего мазка. Облокотившись на поручень, уже стоит завороженно над водой какая-то девчонка. Все, кто пойдет за реку, будут поминать добром строителей и в первую очередь Зыкова, потому что за многие годы привыкли к тому, что «лавы ставит Василий Зыков». И то, что он, Виктор, работал с мужиками и сидел с ними за столом, отзывалось теперь в его душе очень необходимым и благодатным ощущением причастности к заботам сельчан.

Над заполицей малиново припаялась заря, она не погаснет до самого утра, только сдвинется по кругу за реку и разгорится снова, народит красное солнышко. Каждый новый день всегда сулит надежду — это разумно устроено природой.





Лариса ВАСИЛЬЕВА

* * *

Мне Родина всегда дарила
все, чем сильна и чем нежна,
и никогда не говорила,
какой ценой платить должна

я за разливы полнолунья,
за плеск рассветной синевы,
за то, что бабушка-колдунья
открыла тайну сон-травы,

за то, что сердце принимает
чужую боль и чей-то стыд,
за то, что кровь не забывает
всех разорений и обид.

Кто б нас учил любить Отчизну,
когда бы не сама она,
справляя праздник или тризну,
себе бы не была верна,

кто б нам доверил эти дали,
и перелески, и луга,
за что бы мы тогда страдали
и выходили на врага!

ВЫСОКИЙ СТАРИК

То круто вела, то полого,
то вдруг обрывалась откосом.
В осеннюю грязь дорога
попала во власть колесам.

Потом по зиме застыла,
снегов налегли сугробы.
Удачливой дочке тыла,
казалось мне: это окопы —

так были глубоки ямы,
так небо густо чернело.
Но тихое имя мамы
текло впереди и грело.

Все это — дорога в школу,
коротких полкилометра...
На карте страну Анголу,
где нет ни снега, ни ветра,

учительница покажет,
потом отойдет в сторонку
слезу утереть — не скажет
ни слова про похоронку.

Худая, немолодая —
ей двадцать четыре года,
начнет, наизусть читая,
стихи: — «Хороша погода»...

А ко второму уроку
в окне забелеет утро,
и я увижу сороку,
с ветвей глядящую мудро

на черную доску с мелом,
и крик услышу:
— Куда ты?!
Под ветром обледенелым
к вокзалу пройдут солдаты,

и, всхлипнув, замрет гармошка
на самом счастливом звуке.
«Кто часто глядит в окошко,
не сможет постичь науки», —

учительница заметит
нестрого и несердито.
И солнце в окне засветит
неярко, почти забыто,

и вновь ускользнет за тучу,
и ветер взовьется, воя.
Заснеженных бревен кучу
начнут распиливать двое —

высокий старик и малый.
Высокого я боялась,
он был, говорили, шалый,
он солнца жгучую алость

хотел переплавить в пули,
а пули отдать для фронта.
Деревья в снегах тонули
до самого горизонта...

Звонок прозвенел — очнулась.
Учительница исчезла.
И только ее сутулость
еще сохраняло кресло.

А в коридоре голос
раздался:
— Освободили!!!
И это было про город,
в котором мы прежде жили,

в котором смеялась мама,
а здесь она не смеется,
который я помню мало,
но сердце зачем-то бьется,

когда его вспоминают...
И снова идут уроки,
и снова в окне летают
взъерошенные сороки.

А может, и в самом деле
из солнца литые пули
на фронте достигли цели
и город мой мне вернули?..

Он пилит дрова, когда я
к нему подхожу несмело,
краснея и обмирая
при звуке:
— Чего хотела?

И красный кисет с цветочком,
что вышила для солдата,
протягиваю.
— Ну, дочка,
да это бойцу бы надо,

ишь как хорошо расшила...
И вижу я, стоя рядом,
что он не старик-страшила,
а дедушка с добрым взглядом.

Дровец распиленных горка
черна за его спиною,
и льется в кисет махорка
пахучей тонкой струею.

А я озорным галопом,
аж валенки бьют о ноги,
бегу по сыпким окопам
привычной снежной дороги.

А мама стоит у дома
и рук в рукава не прячет,
так громко, так незнакомо
смеется, смеется... плачет.

ОГНЕННАЯ ЗЕМЛЯ

Погляжу с высоты самолета,
и глухая охватит тоска:
все болота, болота, болота,
обгорелая, вянет тайга.

Все живое здесь, кажется, губит
незаметная, серая тля.
А ведь кто-то края эти любит,
потому что — родная земля,

и предчувствует тайную силу
заключенного в недрах огня...
Я зачем-то тебя попросила
отвезти к Самотлору меня.

А затем, может быть, чтоб яснее
увидать твои яви и сны.
Ты мне кажешься сильных сильнее,
ты превыше высокой сосны,

это ты разбудил эту землю,
из болота смог высечь огонь,
я охрипшему голосу внемлю,
загрубелую глажу ладонь.

И гляжу с высоты самолета
вниз, где вышки вступают в бои,
на болота, болота, болота —
огневые владенья твои.

* * *

Золото сыплется с неба
гулко звенящей листвой —
чистое золото хлеба,
вечной земли непокой.

Сердце готово к полету,
к солнцу вздыматься и петь,
сердце готово, но что-то
словно мешает взлететь:

шепот напрасной тревоги,
шорох ненужной тоски...
А на излуке дороги
руки, как крылья, легки.

Все, что неведомо, — мило,
все, что прекрасно, — вдали.
Ветром к закату прибило
туч грозовых корабли.

✲



Алла **РЯЗАНОВА**

РОССИИ

А я Россию чувствую по небу,
По роздыми любимых городов.
По шороху летящих облаков
Над океаном золотого хлеба.
Моя страна сиреневых рассветов,
Расписанная в солнечный узор.
В ее глазах, как молодость столетий,
Веселый плеск ромашковых озер.
Я узнаю Россию в первом снеге,
В нем грусть осенней песни журавлей;
Она звенит в цветах, глядящих в небо
С ладоней нераспаханных полей.
И, сколько бы дорог ни исходи я,
К другой стране не тянется мечта...
Моя необозримая Россия —
И сердца свет и песни высота!

* * *

Есть люди, от присутствия которых
Темно и сыро, как на дне колодца,
На окна сразу набегают шторы, —
Захочет свет пробиться — не пробьется.
Когда такие рядом, я пугаюсь,
Свои надежды собираю вместе,
И лишь на них — крылатых — полагаюсь,
Чтоб ощутить былое равновесье.
И, груз забот на плечи принимая,
Им радуясь бессонно, торопливо,
Я вдруг внезапно, остро понимаю,
Какое счастье быть светолюбивым.
И, с окон мира резко сдернув шторы,
Мне хочется сказать: чудес не требуй,
Есть люди, от присутствия которых
Светло и вдохновенно, как под небом!

Вадим КОЖЕВНИКОВ

В ПОЛДЕНЬ НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРОНЕ

РОМАН



Рис. Г. НОВОЖИЛОВА
и А. БАБАНОВСКОГО

8

Командарм прибыл на КП генерала Лядова, откуда тот руководил прорывом разведгруппы Пугачева.

— Ну что ж, — сказал командарм, — поздравляю. Дам приказ о введении в бой главных сил, поскольку у вас складывается благоприятная обстановка для нанесения главного удара именно отсюда. Кроме того, даю Солнцеву — Лебедеву приказ начать немедля наступление партизанских частей в указанном им направлении.

— Если позволите? — вежливо осведомился Лядов.

— Ну? — произнес командарм. — Что еще?

— Партизанам наступать немедля самое время, — сухо сказал Лядов.— Батальон Пугачева может быть уничтожен многократно превосходящими силами противника, переброшенными с другого плацдарма.

Командарм оглянулся, приказал адъютанту:

— Быстро! Связь по рации с Солнцевым — Лебедевым. — Поморщился: — Как там их позывные! Наступать немедля. — Стремительно обернулся к Лядову: — Что еще?

Лицо Лядова приняло угрюмое выражение, он произнес медленно и тихо:

— А с назначением моей дивизии для нанесения удара на главном направлении просил бы повременить.

— Это почему же?

— Полагаю, выгоднее направить приданные силы в район расположе-

---

Продолжение. Начало в № 1 и 2.

ния дивизии генерала Белогривова. Предполагаю, что противник снял или снимает значительные силы с направления дивизии генерала Белогривова и перебрасывает или перебросит их на меня.

— Вы что же, уступаете возможность быть во главе направления главного удара?

— Не уступаю, а поступаю так, как положено поступить военачальнику во имя победы в общем сражении наших сил.

— М-да, — сказал командарм и, пытливо взглянув в глаза Лядова, спросил тихо: — Но все-таки щемит?

— Щемит, — так же тихо отозвался Лядов.

Командарм, вздернув резко подбородок, спросил:

— Ну как там? С партизанами?

Подскочил адъютант, доложил:

— Связь установлена, приказ принят. Партизаны выступили.

— Так, — задумчиво сказал командарм, скосил глаза на адъютанта. — Соедините с Белогривовым. — Посмотрел на Лядова: — Юрий Владимирович! Я не могу пренебрегать вашим мнением, но пока в предварительном порядке даю команду Белогривову быть в готовности наступать всей дивизией полностью. За это время переброшу приданные вам подвижные соединения, артиллерию и прочее... С ВВС также соедините, — бросил он адъютанту.

Переговорив с вызванными на провод, командарм опустился на железный ящик из-под мин крупного калибра, закурил, вздохнул.

— Сожалею, Юрий Владимирович, что лишаю вас такой возможности. Но примите от меня глубокое солдатское уважение. — Передернул плечами: — Хотя мы еще поглядим, возьмем на зуб, как все будет складываться. Пока новых подтверждений о переброске частей противника с плацдарма Белогривова нет.

Связист поднял голову и, обращаясь к Лядову, доложил:

— Товарищ генерал-майор, комбат Пугачев! Слышимость на двойку!

Лядов приложил трубку к уху, присел на дно окопа, прикрывая раструб микрофона ладонями, сложенными ковшиком, сказал громко, внятно:

— Генерал-майор Лядов на проводе. Докладывайте!

Слушая, он кивал головой так, словно его били по затылку. Потом поднялся, лицо стало серым.

— Я прав! Пугачев ведет бой с большими свежими силами. Говорит, еще продержится. Врет! И сам знает, что врет!

Командарм обернулся:

— Вызвать авиацию! Штурмовиков! Удар по расположению станции!

— Подождите! — поднял руку Лядов. — Это что же, у них там ближний завязался? Нельзя же по своим ударять.

— Отставить! — приказал командарм. И с растерянностью скорбно сказал: — Хоть самому с автоматом к ним. Вот бойцы! Неужели потеряем?! — Крикнул повелительно: — Вызвать ВВС! Истребитель с вымпелом, бросить вымпел партизанам, чтобы маршем, бегом выходили к станции.

Обратившись к начальнику развёдки, спросил зло:

— А вы что? Должна быть у вашего Лебедева рация. Вызовите! Прикажите, чтобы немедля...

— Ясно! — отозвался начальник разведки и не пошевелился.

— Ну что вы? — крикнул командарм.

— Он уже вступил в бой... — сказал начальник разведки. — Получена шифровка.

— Шифровка! — брезгливо заметил командарм. — Время тратите на всякую кабалистику, — и все же благодарно улыбнулся.

Силы обороняющегося батальона иссякали, когда внезапно с тыла атакующих частей противника началась пальба залпами, плотный пулеметный огонь, по сливающемуся гулу подобный стуку сотен отбойных молотков, рушащих бетонную стену.

Вытирая пот со лба, Пугачев спросил Петухова:

— Это что, мне мерещится?

— Да нет, я тоже вроде как слышу, — неуверенно ответил Петухов. — Стреляют!

— Барышня! — повернулся к Коровушкиной Пугачев. — Запросите там комдива. Выходит, наши в обход пошли. — И, кивнув на радистку, воскликнул удивленно: — А она ничего!

— Красивая, — тихо сказал Петухов.

— Да плевать мне на это! — рассердился Пугачев. — Говорю: держится как надо. Вот тебе и чудное оптическое видение, как писал Пушкин!

— Это партизаны! — подняла сияющие глаза Нелли. — Партизаны к нам прорвались на выручку.

— Что за слова — на выручку! Да еще партизаны! Я думал, наша дивизия.

И уже без команды выскакивали бойцы из окопов и били на ходу вслед отступающему противнику, зажатому между обороняющимися остатками батальона и лавиной наступающих партизан.

— Ты вот что, — сказал Пугачев Петухову, отряхивая пыль со своего обмундирования и охорашиваясь. — Пока мы тут будем обниматься, целоваться, полезай на водонапорную башню и наблюдай с нее, как и что. Рацию мы тебе из запасных выдадим и нитку протянем. Так что жми, дорогой! Хоть партизаны на нас свалились, а не верю, что противник с реверансом покинет. Он еще даст нам духу. Значит, валяй! Бди!

Петухов ушел в сопровождении связиста и бойца, несущего на лямках рацию.

Партизанская часть спасла остатки батальона Пугачева, но Пугачев встретил полковника Солнцева, притворяясь, будто бы не знает, что тот полковник. Снисходительно улыбаясь, протягивая руку, вызывающе осведомился:

— Что? Пришли? Примазаться к чужому успеху?! А мы в атаку кинулись, слышим — партизан лупят, надо выручать.

— Благодарю вас! — вежливо сказал Солнцев и, оглядывая поле боя, траншеи в оползнях, разрушенные, опаленные горячим пеплом, пронзенные осколками, заваленные сотрясенным грунтом, болезненно поморщился, произнес тихо, сострадательно: — Досталось вам?

— Не нам, а им! — Пугачев гордо вздернул облепленную сырыми от крови, бурыми бинтами голову, повел взглядом: — Видали, сколько их накидали и оптом и в розницу? Ну и по пути сюда навалили свыше нормы. — Спросил резко: — Потери есть?

— Да, — сказал Солнцев.

— Можем оказать помощь, — хвастанул Пугачев. Приказал кому-то: — Позвать санинструктора!

— Он же ранен, — напомнил боец.

— У нас полевой госпиталь, — сказал Солнцев. — Разрешите и ваших раненых эвакуировать.

— Ладно! — великодушно согласился Пугачев и не удержался от того, чтобы не бросить: — С комфортом воюете, ай да партизаны! — Спросил ехидно: — Может, у вас и зубной врач есть? А то дало по башке, от сотрясения пломба у меня выпала.

С такой же армейской гордостью держались и солдаты батальона Пугачева. Когда первый порыв радости миновал, они, насупленные и озабоченные, пошли в свои траншеи и стали молча исправлять разрушения, причиненные на оборонительных позициях, и отделенные отдавали нарочно громкими голосами команду так, словно партизан здесь и не было и земляные работы для них сейчас главное.

Конюхов, низко согнувшись, умывался из фляжки одной рукой, от изнеможения не замечая того, что умывается в очках.

Все эти беспрерывные восемнадцать часов боя он находился рядом с Пугачевым и был немало удивлен его спокойной распорядительностью и точно рассчитанной организацией боя, соответствующей тем таблицам, которые Пугачев составлял и поэтапно рассчитал на минуты и на число расходуемых боеприпасов на каждое препятствие.

В любой обстановке Пугачев, чутко сообразуясь с обстоятельствами, мгновенно набрасывал схемы расстановки огневых средств, вручал связным, произносил кратко:

— Вот, все здесь нарисовано, как на картинке, стрелами указано по минутам перемещение, в скобках количество снарядов по каждой цели — передать устно. За перерасход боеприпасов вычту орденами и медалями. Вали! — И хлопал связного ниже спины — для бодрости и внушения, что все идет весело, как надо.

Следя в бинокль с наблюдательного пункта за действиями танков, самоходок, пехоты, видя, как точно ложатся снаряды приданного артиллерийского дивизиона, Пугачев говорил восторженно:

— До чего здорово научились слаженно воевать, буд-

то из всех многих одна единодействующая машина скомплектована и сама по себе работает!

Откашлявшись, Конюхов произнес:

— Берет верх тот, у кого величайшая техника, организованность, дисциплина и лучшие машины.

— А что, верно! — согласился Пугачев.

— Это Ленин! — напомнил Конюхов.

Хотя Пугачев и не знал этих ленинских слов, он сказал сердито:

— И без тебя знаю! По нему и воюем, а как же еще!

Вплоть до оборонительных боев на железнодорожной станции Пугачев, перебираясь с одного наблюдательного пункта на другой, отсиживаясь в углубленных в полный профиль укрытиях, руководил оттуда боем и, словно оправдываясь перед Конюховым за столь для себя необычную самоохранность, кивал на радистку Нелли Коровушкину, говорил иронически:

— Видали, какую куклу мне придали! Вся в респицах. Приходится беречь как особую госценность. — Хмыкнул: — И еще для какого-нибудь ферта.

Нелли крикнула:

— Самолеты!

— Ну и что! Наши порхают!

— Прикажите дать дымовыми целеуказания, — повелительно сказала Нелли.

— Смотрите, соображает!

Отдав команду, Пугачев спросил:

— Где нахваталась?

— Отец в дальнебомбардировочной!

— Что же он вас к себе не взял? Выдал бы там замуж за какого-нибудь героя воздушного пространства.

— Когда мне понадобится, я сама найду мужа, — высокомерно заявила Нелли, — по собственному вкусу и разумению.

Услышав шелест приближающейся мины, Пугачев мгновенно как подкошенный упал на Коровушкину и, прижимая ее ко дну окопа, распростерся над ней. Комья обожженной земли обрушились на его спину. Поднявшись, сводя ушибленные лопатки, отряхиваясь, с покрасневшим лицом, не оборачиваясь на радистку, спросил:

— Ну как вы там? Не сильно помял прическу?

— Вы спасли меня!

— Ну вот еще! — буркнул Пугачев, передернув пле-

чами. — Струхнул, и все, обыкновенный животный инстинкт самосохранения.

Но во время боя на железнодорожной станции к Пугачеву вернулась прежняя его повадка. С ручным пулеметом он вел поединки, выскакивая из укрытия, перебегая то к петэзровцам, то к станковым пулеметчикам, сам вел огонь из сорокапятки.

Кричал задорно:

— Я, ребята, никого на героизм не подстрекаю! Бей только аккуратно, прицельно, по-научному, и наш верх!

— Товарищ майор! Вы же ранены!

— Ерунда! У меня на башке кость броневая, подкалиберный не возьмет, пуля отскочит!

Указывая на повергнутый таранным ударом танка паровоз бронепоезда, говорил с упреком:

— Вон как танкисты воюют! А мы смирненькие. Зарылись и только пулями.

Он носился по позиции, появляясь в дыму, в огне, в пламенных гейзерах разрывов, являясь туда, где труднее всего складывалась обстановка.

Грозно орал, шутил, ерничал, спрашивал:

— Ребята, Гитлера видели? Тут он теперь околачивается. Кто поймает — от меня пачку «Казбека», а пока лупи всех, кто на мушке, там разберемся, кто из них Гитлер.

Сказал строго Конюхову:

— Сейчас людьми не командовать надо, а быть как все. Каждый соображает, что от каждого зависит и на каждом держится.

Заскочив в капонир, где лежали раненые, присел, закурил, угостил всех, кто еще имел силы курить, поднял голову, указал рукой на медного цвета луну, произнес задумчиво:

— Интересно, какой на ней климат, могут на ней люди жить или она просто сплошная пустыня Сахара? Или, наоборот, застыла вся, как наш Северный полюс?

— Как дела, товарищ комбат? — спросил санинструктор.

— Дела?! Вот луной интересуюсь, — ответил он беспечно, вздохнул, потянулся: — Ну, я пошел, а то без меня там соскучатся. Противник все ж таки пока не уходит. От паники, что бой проигрывает, на нас еще пока кидается.

Он сильно похудел, Пугачев, за эти восемнадцать ча-

сов беспрерывного боя. Лицо его старчески подсохло, обозначились запыленные морщины на лбу, возле глаз, продольные борозды на впавших щеках. Но чем изможденней он выглядел, тем энергичнее вел себя, внушая людям озорную отвагу, уверенность. А вот сейчас, поздоровавшись с Лебедевым, слушал его, полузакрыв глаза, ссутулясь, перебирая пальцами разутых отдыхающих ног.

Лебедев докладывал сухо, кратко:

— Бо́льшую часть своих вывожу, партизаны не приспособлены к позиционному бою. У нас задание по разрушению железнодорожных путей, по перекрытию коммуникаций, налеты на транспорты и прочее.

— Значит, утекаете! — сказал Пугачев равнодушно.

— Значит, действуем в соответствии с приказом! — спокойно поправил Лебедев. — Около роты бывших военнослужащих оставляю под вашим командованием. Всех раненых, как я вам уже доложил, забираю с собой. Есть ко мне вопросы?

— Есть! — сказал Пугачев. — Видал? Башня от взорванного танка на земле лежит. Можете ее с собой уволочь?

— Это зачем еще? — удивился Лебедев.

— А затем, что она героическому экипажу принадлежит, который бронепоезд старанил. Читал на ней надпись? Ну, все равно. Для нас всех это реликвия священная. И для других тоже — на все века. Дошло? — Пообещал: — Тягач дам. Нам все равно отсюда обратного хода нет.

— Будет выполнено! — сказал Лебедев.

Сидя на земле, не вставая, Пугачев подал ему руку.

— Ну, вали диверсуй, а мы тут побудем, посторожим казенное имущество. Успех нас пока только лизнул, до торжественного поцелуя в щечку перед всем строем еще пулять и пулять. Так вот...

И стал неторопливо обуваться.

Лебедев вернулся к своему отряду. К нему подошел Бобров. Губы опухли, выворочены, говорит с трудом, словно жует вату, гимнастерка и даже брюки в бурых пятнах. Но это не его кровь.

Когда Нюра Хохлова со своей рацией находилась в зем-

ляной щели, поджидая Боброва, она вынула из нагрудного кармана круглое зеркальце и, повернувшись спиной к той стороне, где находился противник, стала глядеть в зеркальце, напускать из-под пилотки себе на лоб челочку, чтобы выглядеть позатейливей, когда придет Бобров.

Фашистский снайпер поймал в прицел сверкнувший блик зеркала, нажал на спусковой крючок, и Нюра упала на дно окопчика, словно в могилу, замертво.

И здесь ее, мертвую, нашел Бобров, она сжимала в руке круглое зеркальце.

Он принес ее на руках, опустил на землю, лег рядом и, хрипло, лающе рыдая, бил кулаками по земле и кусал землю. И когда подошли бойцы с лопатами, Бобров вскочил, заорал исступленно:

— Не трогай! Убью!

Потом исчез надолго, вернулся покалеченный, со связкой немецких касок, швырнул их в кусты, спросил:

— Где?

Ушел к могильному холмику и долго по-своему укладывал на нем землю, утыкаясь лицом в нее, замирал безжизненно.

Лебедев внимательно прислушался к невнятному беззубому бормотанию Боброва, кивнул:

— Хорошо, оставайтесь с Пугачевым. Ему будет трудно.

Вынул карту, показал на ней какую-то отметину.

— Вот здесь она.

— Я и слепым это место найду, руками, на ощупь, — глухо сказал Бобров.

9

Петухов поднялся по железной лестнице на чердак водонапорной башни, оглядел внушительные бревенчатые стропила, выбил ногой запыленные стекла вместе с рамами — для лучшего обзора. И, пока связист тащил от него свою катушку с проводом вниз на КП батальона, занялся изучением таблицы позывных, так как решил отправить радиста, как и связиста, обратно на позиции, зная, как дорог там будет каждый боец.

На курсах командиров Петухов научился неплохо владеть полевыми рациями разных систем и поэтому мог обойтись без радиста.

На всякий случай он надвинул на люк в полу ящики с кирпичом, очевидно оставшиеся после ремонта башни. Установил ручной пулемет, разложил диски, гранаты. Затем, вспомнив, что голоден, вспорол трофейную консервную банку с яркой этикеткой. Но в ней оказалось не мясо, а крошеная морковь. Разочарованно, но жадно поел, выпил солоноватую жидкость из банки, закурил, ослабил ремень, расстегнул воротник и улегся на живот, опершись на локти, стал в трофейный цейсовский бинокль оглядывать местность.

Ровное, в нежной, опрятной зелени пространство открылось перед ним, усиленное яркостью и приближенное сильной оптикой. И таким оно выглядело кротким, милым, зовущим, успокоительно добрым для жизни! Небо в мягких серебристо-серых пушистых облаках, и, когда он перевел бинокль туда, где шел недавно бой, этот крохотный грязный взрыхленный участок земли показался такой ничтожной малостью на всем этом красивом и огромном пространстве, что даже защемило от того, какой ценой он был добыт, столь малый и незначительный перед обширностью неба, земного видимого пространства, сохраняющего себя в неприкосновенности и как бы чуждающегося тех, кто может его калечить.

Но, пожалуй, оно, это пространство, не столько чуждающееся, сколько манящее к себе. Вон тонкая серая речка, лежащая в кудрявых кустах, окаймленная песчаными отмелями. У Петухова даже пошевелились пальцы в сапогах от предощущения прикосновения к прохладной рыхлости песчаного речного берега, воды. Вот бы посидеть с удочкой или пойти с бреднем, развести костер и, слушая шорох его пламени, вдыхать вкусный дым, поджидая, пока в закопченном ведерке поспеет уха!

У Петухова в животе заныло, но не от предвкушения ухи, а возможно, от холодного мелкокрошеного немецкого консервированного овоща.

Совсем близко бесшумно летали птицы, будто у самого лица, даже хотелось отмахнуться, чтобы не задели лица крылом. Все, как во сне, безмолвно красиво...

...Прибыли на позиции из своих земляных убежищ ротные кухни. Повара в касках, с винтовками за плечами, но надели фартуки, при всех вымыли руки.

Борщ, гуляш, компот в термосах, водка в канистрах.

Как ни жадно-томительно голодны были люди, они подходили к кухням не торопясь, вразвалку, степенно протягивали котелки и отворачивались, чтобы кто-нибудь не поймал жадно-голодного выражения лица, судорожного движения скулами. Это была та высокая человеческая воспитанность, душевная, гордая, тонкая чувствительность, которая превыше всякой иной прописной, ибо это было выражением самоуважения, самодисциплины и даже как бы продолжением той доблести, какую они выказывали в бою, побеждая животный страх, присущий каждому.

Усаживались на землю, зажав котелки в коленях, и не спеша, задумчиво, медленно, с паузами орудовали ложками.

Бобров стоял невдалеке от дневального, режущего на доске хлебные пайки, и, потупившись, ковырял под черными, разбитыми, с запекшейся кровью ногтями узким длинным ножом с черной рифленой рукоятью, снабженным для упора медной плашкой.

— Одолжил бы, — попросил дневальный, — мой еле пилит.

— Им нельзя... хлеб, — прошепелявил Бобров.

Дневальный бросил взгляд на скользкое острое лезвие, подумал, кивнул уважительно:

— Ясно!

Строго соблюдая принятый в еде обычай, люди ели молча. Только когда стали хлебать чай, разговорились:

— Угодили нам огоньком батарейцы, обеспечили технику безопасности.

— Все правильно, по-ученому высчитали, где, когда, какому калибру вступать теоретически.

— Их теория, наша практика!

— А дураки и в пехоте не требуются.

— Верно! Пулеметики, минометики, пушечки — все при нас в штате, тоже можем ума кому занять.

— Ты, Филиппов, откуда взялся? Думали, помер.

— А я не помер, а только обмер временно.

— Значит, не усоп!

— С вами усопнешь! Усилился гранатами и уполз к их станковому — закидал!



— Мы думаем, кто это там планету портит, словно бомбой ее ахнул!

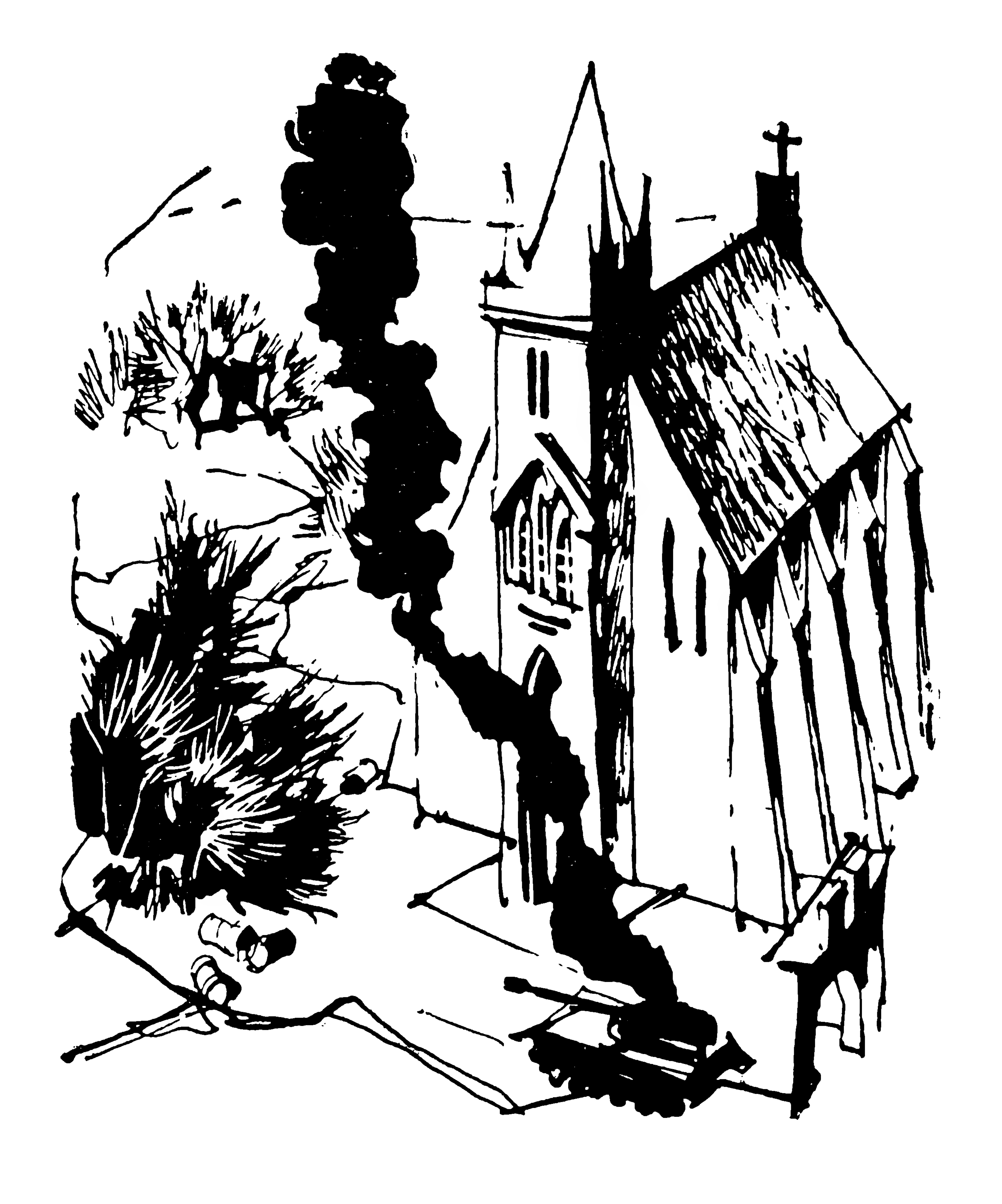
— Противотанковую кинул, она — сила.

— Значит, не струсил!

— А зачем мне трусость проявлять? Она при мне, а я против нее сам по себе.

— Точно!

— Будь моя воля, — сказал маленький тощий боец,—



дал бы каждому сдельную норму, навалил — давай на отдых.

— Вот какая у тебя индивидуальная психология — от себя повоевать, а ежли ты не пехота, а вот, допустим, боепитание, вот ты и присох. Кислая твоя мечта!

Сказав это, плечистый, толстощекий боец поднялся, взял с земли полное ведро воды, поднес к губам, осторожно, медленно напился, не уронив при этом ни капли,

поставил ведро обратно; поймав завистливый взгляд худенького, наставительно заметил:

— И люди все разные, как орудия, тоже и всякие боевые средства. Главная сила наша где? Во взаимодействии всего и всех. А ты: на каждого — норму! Она одна на всех — Берлин!

Конюхов ходил между обедающими солдатами, прислушиваясь к их разговорам. Он знал, и они тоже знали, что противник после того, как обнаружит уход партизанских частей, убедившись, что это только партизаны, снова здесь атакует, и, возможно, враг сомкнул уже полосу их прорыва, потому что позади пройденного ими пространства слышны мерные раскаты артиллерийской канонады, и едва ли партизаны смогут удержать перекрытое ими шоссе, если враг бросит сюда танки.

— Чайку с нами, товарищ капитан!

Конюхов присел, взял в обе руки горячую кружку, стал дуть в нее, очки у него запотели.

— Товарищ капитан! Вот вы на прошлой беседе говорили про ведомство Геббельса, что оно не только запретило писать о нашей экспедиции на Северный полюс, но даже упоминать в печати о Северном полюсе. Выходит, для того, чтобы от своих про наш героизм скрыть?

— Именно, — согласился Конюхов.

— Выходит, нет такой брехни, которую нельзя не убить нашей правдой, и ее фашист всегда боялся, хоть и полез на нас.

— Правда и есть наша сила.

— Это точно. По правде жить — значит, по-нашему, по-советски.

— И в бою без правды не навоюешь, — сказал кто-то хмуро. — А то, бывает, дадут по их точкам. Подавили! А пойдем — огонь.

— Наверх доложили, что мы к своему положенному рубежу вышли и взяли?

Конюхов промолчал.

Но за него ответил солдат, который только что пил из ведра воду. Вытерев губы тыльной стороной ладони, объявил строго:

— Я вот слесарь-сборщик по судовым дизелям. Закончим, бывало, монтаж — нашему делу конец. А пока он на стенде положенные часы на опробование не отработает, ходим как не в себе. Был у нас случай. Сократили срок прогона на стенде, сдали заказчику, а от него

рекламация — срам. Утерли, значит, грязной ветошкой сами себе морду. Так и в бою может. Взяли! А ты его удержи — тогда и докладывай. Выполнили! Так точно!

— Вы член партии? — спросил Конюхов.

— А что я без нее? Полчеловека, — грубо ответил боец. — Она меня в человека оформила.

Конюхов запомнил этого солдата в бою, здесь, на станции. Это был командир расчета сорокапятимиллиметровой пушки Лазарев. О нем когда-то говорил восторженно Петухов, как Лазарев подбирает себе людей, бережет, воспитывает. И здесь, оставляя расчет в щели, Лазарев собственноручно мощно выкатывал в одиночку орудие и бил с открытой позиции прямой наводкой, подтягивая к себе за веревку ящики со снарядами. Когда он стрелял, движения у него были мягкие, властные, неторопливые, лицо обретало умиротворенное выражение.

И Конюхов думал: «Психика человека — это, конечно, совокупность воли, настроений, чувств, эмоций, привычек, черт характера, но есть нечто повелительно высшее — мировоззрение. И в бою оно воплощается в самообладание, выдержку, расчетливость, расторопность, волю к действию. Вот как у этого Лазарева».

Когда батальон шел вслед за шквальным огнем своей дальнобойной артиллерии и орудий сопровождения, когда штурмовики и бомбардировщики впереди, сотрясая землю, вздымали ее в пламени, каждый солдат был преисполнен могучим ощущением этой сокрушающей мощи, обладающей как бы собственным зорким умом, обрушиваясь туда, где батальону угрожали смертоносные стволы врага, и чутко перенося свой огонь, когда к нему батальон приближался. И это шествие в прорыв, вслед за гигантской мятущейся силой внушало также каждому, как незначителен он сам по себе, со своим куцым автоматом, по сравнению с этой могучей огненной лавиной.

И как не просто было потом вступить в бой, ближний, рукопашный, в эту смертельную драку в могильной тесноте траншей, бить лопатами, прикладами, душить, отдирая пальцы, пытающиеся выдавить твои глаза.

В этом бою на станции Лазарев сказал со скорбью, глядя на горящий танк, протаранивший бронепоезд:

— Ребята-подрывники уже было поезда достигли. Заложили б под днищами, рванули б и свалили. Погорячились танкисты. Герои, факт. Но надо советоваться. Мы на их машине не просто так катались, а для взаи-

модействия, для того, чтобы их машины сберечь и, значит, их самих тоже... Саперы им мостишко взорванный быстро заново сложили. Так саперский комбат, когда танк пошел, встал под мост в доказательство того, что мост надежен. Есть, конечно, такой обычай у строителей. И тут он в точку пришелся. Не возражаю. Но если можно было по-другому бронепоезд своротить, почему не испробовать? Я сам лично в нем несколько дыр пробил с ближней дистанции. Конечно, мой огонь ему как слону дробина, но если всей батареей — расколотили б.

— Вы что, считаете, напрасно на таран пошли? — спросил Конюхов.

— Зачем? Раз с ходу свалили, многие от этого выжили. Но раз они такие герои — жалею! Сам бы за таких жизнь свою отдал...

Когда Конюхов встретился с Лебедевым, тот безрадостно сказал ему:

— Ну вот. Прибыли вовремя! — Потер серый, впалый, с выпуклой синей жилкой висок. — Хохлову потеряли. Не знаю, как вам объяснить... Когда дрались в болоте, она в траншее, по пояс в смердящей жиже... И вот, представьте, охорашивалась перед зеркальцем ради Боброва. Любовь, знаете ли, обычно живописуют как нечто такое поэтическое. А тут... — И произнес сипло, безнадежно махнув рукой: — По мне, если есть по этой линии наивысшее, недосягаемое, то вот это. — Откашлявшись, высморкавшись, утерев выступившие при этом слезы, сказал брезгливо: — Простыл в болоте, осопливел. — Добавил строго: — Пугачев провел операцию грамотно, а строил из себя этакого самобытного Илью Муромца, сам же у начштаба Быкова тайком школярил.

— А вы откуда знаете?

— Я все знаю, — усмехнулся Лебедев. — Такая привычка — все знать. Кстати, я тут около роты партизан вам оставляю, бывших военнослужащих. Так попрошу вас лично потом соответственно во всех воинских правах, званиях и прочем восстановить — мной проверены. Будут драться как черти. Истосковались по армии. И проследите, чтобы не очень усердствовали в бою, не штрафники, не в чем им оправдываться.

— Помнится, вы говорили, что в отряде было, по вашему мнению, несколько вражеских лазутчиков.

— Почему были? Они и есть, в наличности.

— То есть как это есть? — изумился Конюхов.

— А так, веду с ними веселую игру. Ночью по тревоге поднял отряд. Приказ отступать в глубину. Лазутчиков увела специальная группа, одного даже упустили для того, чтобы смог донести. Оставшиеся двое работают на своей рации под нашим контролем. Прием, конечно, шаблонный, но пока сошел вполне. Партизанское наступление оказалось для противника неожиданностью. Сочли за регулярную часть. Начали перегруппировываться. Но теперь, очевидно, весь их удар обрушится на вас. Так что придется вам геройствовать.

— А вы?

— Наше дело маленькое — ломать, крушить пути, перерезать коммуникации, «диверсовать», как выразился товарищ Пугачев. — Смутился, поерзал подошвой сапога по земле, словно затирая окурок, попросил мягко: — Вы уж, пожалуйста, если чего... Кошелева и так издерганная, нервная, внушите ей, что отбыл на длительное задание. — Спохватился: — То есть не отбыл, а получил приказ. Ну, лады! — Оглянулся на темнеющую зубчатую громаду монастыря, вздохнул: — Желал бы посетить в порядке хотя бы интереса к древностям.— Сказал протяжно: — Жаль ломать такую красоту зодчества. Потомкам тоже полезно созерцать сию бесполезную, но красивую штуковину.

Прощаясь, Лебедев не подал руки, отдал честь, продемонстрировав армейскую выправку, оглянулся, на ходу крикнул:

— Будь моя воля, полк Пугачеву теперь доверил бы! Хоть голова кудрявая, но в ней кое-что есть.

Прозвучала команда «В ружье!». Солдаты занимали свои места на позициях, закрепляли их, прилаживались к оружию. Огневые расчеты устанавливали орудия с учетом того, что, возможно, придется вести круговой обстрел.

Пугачев обходил позиции. Вычищенные сапоги его блестели. Свежий подворотничок, чистые бинты, на них лихо набок сдвинутая фуражка, на руках перчатки. Подозвав Конюхова, сказал шепотом:

— А она ничего!

— Кто?

— Коровушкина. Держится как штык. Я ей тройной одеколон преподнес. Отвергла.

— Тебя тоже?

— Ну это мы еще посмотрим! — хвастливо заявил Пугачев. Закричал зычно: — Почему под сгоревшим танком позицию не оборудовали для петээровцев? Отделенный, ко мне!

Он обходил бойцов, добродушный, самодовольный, самоуверенный.

— Кому надоело воевать? Пожа! Бей сколько в прицел влезет, сокращай дистанцию до Берлина. Кадыров! Почему в строю, когда ранен? Левша? А не врешь? А то подумают фрицы — инвалидной командой воюю.

— Он, товарищ майор, гранатой левачит! Другой с обеих рук так далеко не забросит, как он левой.

— И из винтовки бьет с одной руки, как все равно из пистолета.

— Джигит, значит?

— По-нашему батыр, — сказал Кадыров. — По-русскому, богатыр...

10

Соня Красовская дежурила на КП командующего артиллерией. Держала на связи какого-то наблюдателя, забравшегося не то на колокольню, не то на высокую каменную башню. Наблюдатель корректировал оттуда огонь наших тяжелых дальнобойных орудий, которым давал команду с выдвинутого к переднему краю временного КП сразу по нескольким полевым телефонным аппаратам сам генерал, командующий артиллерией, по данным, получаемым от наблюдателя.

Генерал досадливо замотал курчавой головой и, сняв наушники, брезгливо протянул их Соне, спросив повелительно, гневно:

— Почему связь прекратилась? Почему, я вас спрашиваю?

Соня старательно и безуспешно стала вызывать наблюдателя. Вдруг в наушниках зашуршало, и внезапно прозвучал голос, такой знакомый:

— Лейтенант Петухов! Продолжаю целеуказания!

И Соня вынуждена была сразу же снять наушники и вместе с голосом Петухова отдать их генералу. И тот

повторял получаемые от Петухова данные сразу в две телефонные трубки, которые он держал в обеих руках. Иногда генерал переспрашивал нетерпеливо, зло в микрофон, приделанный к наушникам:

— Как? Повторить! Не частить! Приказываю! Раздельно, четко!

И Соня обиделась на генерала за то, что он так грубо обращается к Петухову, словно тот в чем-то виноват перед ним.

Лицо у генерала было набрякшим, багровым, он смотрел на Соню невидящими сердитыми глазами, морщился, сипел:

— Петухов! Приказываю не частить. Напоминаю: каждый залп денег стоит. Требую строжайшего внимания.

— Да что вы на него кричите? — не выдержав, вдруг воскликнула Соня. — В него же там тоже стреляют!

— Что? Молчать! — приказал генерал и смущенно поправился: — Это не вам, лейтенант Петухов. Прошу прощения. Не отвлекаться.

И вот генерал снова свирепо затряс головой, но лицо его приняло жалобное, потерянное выражение:

— Слышимость! Что у вас там со слышимостью? Петухов! Вы слышите меня? — Генерал замахал трубками полевых телефонов, зажатыми в кулаках, произнес повелительно: — Да тише вы! Все тут тише! — Стал молить: — Петухов! Товарищ Петухов! Да что у вас там такое? Так, ясно. — И, подняв к губам зажатую в кулаке телефонную трубку, отдал команду: — Поднять штурмовую группу в направлении водонапорной башни, атаковать. На водонапорной башне рухнуло от попадания мины перекрытие. Завалило нашего лейтенанта. Доложить об исполнении.

В другую трубку он приказал батарее открыть отсечный огонь для обеспечения продвижения группы и безопасности наблюдателя.

После этого генерал тяжко осел на скамью и просительно, жалобно осведомился:

— Закурить у кого есть? — Пояснил: — Думал, окончательно брошу. — Приложил ладонь к груди: — Сердце! Запретили под страхом смерти. Но вот, выходит, нельзя без курева. — И, склонившись, почти касаясь губами холодной сетки микрофона, произнес виновато, сконфуженно: — Товарищ Петухов... Ты меня слышишь?

Выручку к тебе послал. Так что лежи пока, отдыхай. Извини, не то слово. Это я для твоей бодрости сморозил. Твоя работа: горят танки, отсюда дымы видно. Только держись, голубчик... Прием... Что? — Обернувшись, генерал спросил: — Это у кого позывные «сено»? — Повторил строго: — Может, его батальона?

— Не сено, а Соня, — сказала Соня и самовластно сняла с головы генерала наушники с прикрепленным к ним микрофоном в эбонитовой оправе.

— Это ты? — спросила она шепотом. — А это я, Соня. Рад? И я рада. Прости, но это правда. Рада! Рада, что тебя сейчас слышу, и каждое твое слово я чувствую, как тебя самого, как, знаешь, когда... Люблю всего — слышишь?

Генерал встал и сипло приказал:

— Кто не на связи — на выход!

А сам тяжело опустился на табурет.

Соня только нетерпеливо повела плечом, продолжая нежно гладить наушник, где слабо, едва слышно звучал голос Петухова. Она говорила так, будто здесь никого не было, а был только он один.

— Ты знаешь, Гриша, — громко говорила она. — Я притворялась, будто не очень счастлива, а я очень счастлива, на всю жизнь, тобой. Я не умею выдумывать. Это ты меня выдумал, а не я тебя. Я только с тобой и для тебя. Я только тебя сейчас чувствую, и я тебе скажу: я тебя стыдилась и стыдилась говорить, а сейчас скажу, не чувствуя никакого стыда. Тебе было стыдно, а мне нет. Я этого хотела... Знаешь почему? Чтобы только доказать, что мне для тебя ничего не жалко, а другого у меня ничего нет, кроме себя самой, чтобы доказать. Ты понял? Доказать, что люблю. Хотя мне было плохо, стыдно, что я так доказала — сразу. А как еще, если это считается главным? А я говорила тебе, что это не главное, — врала. И ты обязан жить! Не из-за меня только. Я знаю, он будет и будет как ты, я знаю, чувствую, знаю. Значит, не смеешь... Крови тебе перельют сколько хочешь, это пожалуйста. Санинструктор консервированную в ампулах тебе понес, так генерал приказал лично. Он тут сидит, говорит: «Если девочка, лучше имя Виктория, победа». Тебе плохо? Только наушники не снимай! — закричала она в отчаянии. — Нет, я хочу говорить, я еще самое главное не сказала. Тебя же завалило, могут не заметить. Только слушай. Пожа-

луйста, не снимай наушники, я буду с тобой, все время с тобой, до конца... Ах нет, нет! До конца, пока за тобой наши не поднимутся. Какой еще может быть конец? Не смей, слышишь, не смей! А то меня не будет раньше, чем тебя. Скажи что-нибудь!.. Прием! Говори же, Гриша, не молчи, не молчи! — молила она, припадая лбом к грубым доскам стола с телефонными аппаратами.

Генерал встал, подошел и потребовал:

— Разрешите!

— Нет! — сказала она злобно. — Нет.

И вдруг улыбнулась нежно:

— Гриша, слышишь? Ну, конечно, больно, когда кости сломаны. Я даже удивляюсь, зачем ты в памяти. Лучше поддаться и обеспамятеть, тогда не больно будет и наберешься сил. На меня не обращай внимания, я все равно буду говорить, как будто ты спишь, а я тихо-тихо, только для себя одной. Пожалуйста, не отвечай, но только не очень долго... Я тогда все равно как без памяти была. Ну как будто умерла. От страха? Только от другого совсем страха; боялась, что тебе не понравлюсь. И потом на мне тогда солдатское белье... Это же некрасиво. Я все про белье думала, и от этого такая была оцепенелая. От страха, что тебе противно станет. Хочу, чтоб ты знал, что я тогда переживала. Ничего не стыдно... Говорю, чтобы ты знал. У меня перед тобой нет на всю жизнь стыдного, нет и не будет. Понял? Потому что ты и я — как два дерева от одного корня. Это я сейчас впервые так сказала, потому что так чувствую тебя. Это я тебе признаюсь на всю жизнь — какой ты мне. А потому я не желаю без тебя жить. Это твердо. Не будет тебя, не будет меня. Так и знай!.. Да нате вам пистолет, что вы пристали! — озлобленно бросила Соня генералу. — Будто другой не могу достать! Или пойду в рост на передний край, и все... Гриша! — воскликнула она с отчаянием. — Гриша! Ты почему не дышишь? Дышишь? Дыши! Больно! Ты про факира вспомни, которому через грудь грузовик переезжал, а он ничего. Ты же сам про цирк рассказывал. Я понимаю — балка тяжелая, может, железная. Но грузовик еще тяжелее. Ты про факира думай. Сосредоточься, а я тихо-тихо, так, чтобы только мой голос... А вот генерал пришел, — сказала Соня бодро. — Товарищ генерал, вот пожалуйста! Петухов все на связи и молодцом держится.

Генерал протянул к наушникам руку, произнес робко:

— Если вы не возражаете...

Приосанясь, зычно произнес в микрофон:

— Генерал-майор Зыков! Докладывайте самочувствие, прием. Все ясно. От лица командования... Так, так, понял.

Генерал кивнул курчавой головой, веки его опухли, набрякли, моргая, он твердил:

— Заверяю: все будет в полном соответствии, лично прослежу. — И вдруг хрипло и устало сказал: — А меня, знаешь, Петухов, жена еще в сорок первом бросила, и не сожалею. Не было у меня с ней вот такого, что я здесь, извините, слышал, этакого настоящего. Так что держись, голубчик!

Высморкавшись, генерал обернулся к Соне. Из закушенной губы ее текла кровь, лицо сизо-бледное, запрокинутое. Она медленно сползала на скамью. Генерал еле успел подхватить ее.

11

По прямой полевой телефонной связи, протянутой от водонапорной башни к оборонительным позициям, Пугачев выслушал краткий доклад Петухова о том, что уже приближаются фашистские танки, бронетранспортеры, моторизованная пехота, сказал:

— Ладно, мы им тут насалютуем из всех средств. — И приказал Петухову выйти по рации на связь с дивизией или даже выше, попросить огня, вести самому корректировку. Добавил самоуверенно: — Нам она от тебя не требуется. Будем бить прямой наводкой только по видимым целям, поскольку сильный дефицит в боеприпасах. — Посоветовал весело: — Если заскучаешь, включай музыку! Генерал Лядов говорил: «Музыка человека возвышает». Хотя ты и так над нами и без того на своей башне так возвысился, выше некуда...

Потом приказал Коровушкиной по ее рации продублировать наверх сведения, полученные от Петухова. Добавил сдержанно:

— Насчет огня сообщите: желательно. А то подумают — караул, наших бьют.

И усмехнулся, как всегда, самоуверенно, гордо.

Коровушкина улыбнулась покорной, милой улыбкой, но сообщила:

— Требую огня!

— Знаете что, — жалобно попросил Пугачев, — пошли бы вы куда-нибудь подальше, ну, скажем, хоть в погреб, где перевязочный пункт. На душе было б спокойней, не люблю баб.

— Я думала, вы меня собрались куда-нибудь покрепче послать...

— Перекрытие там основательное, — сказал Пугачев убежденно.

— Нет, вы со мной как-то странно, грубо себя ведете. Почему?

— Почему? — переспросил Пугачев. — А потому! Даже больше, чем нравитесь. Ясно?

— Точнее! — торжествуя, потребовала Нелли.

— Ладно там, — дернул плечом Пугачев, — сами понимаете!

Лицо его вновь стало строгим, жестким. Вращая двурогую цейсовскую стереотрубу с черными черточками на окулярах, он произнес одними губами:

— Ага, прут. Теперь, Ванька, держись.

Лядов доложил командарму о том, что им и командующим артиллерией получены донесения: на батальон Пугачева противник бросил значительные танковые и другие моторизованные силы, по-видимому сняв их с частей, противостоящих дивизии Белогривова. Пожав горестно плечами, Лядов настойчиво добавил:

— Полагаю, главный удар следует именно сейчас, немедля, нанести с фронта дивизии генерал-лейтенанта Белогривова.

— Полагаю! — сердито передразнил командарм и упрекнул: — Эх, Юрий Владимирович! Это вам все равно что печень у себя самого руками выдрать, а строите из себя невозмутимого, мудрого стратега. — Произнес извиняющимся тоном: — Я уж, того, давно дал команду основные подвижные на его участок с вашего перебросить. Но не говорил вам из малодушия. Сам командовал дивизией, знаю, что это такое. Вдруг с главного направления вроде как во второй эшелон. — Посмотрел на часы: — Через двадцать минут Белогривов перейдет всеми силами в наступление! Вам могу только

одолжить на текущие пятнадцать минут огня из всех наличествующих средств, и затем всей вашей дивизией — в прорыв. Но значительную часть стволов снимаю тотчас же и кантую на Белогривова. Так что вот! — Протянул руку, но тут же отнял, обнял Лядова, сказал на ухо: — Ты уж прости, обижаю. Справишься. — Отпрянул, заявил строго официально: — Буду находиться на НП Белогривова. Там, где в соответствии с приказом сосредоточены все силы для нанесения удара на главном направлении.

Небрежно коснулся козырька фуражки и ушел, сопровождаемый свитой штабных офицеров.

Лядов вытер платком пот с побледневшего лба, оглянулся на работников своего штаба:

— Приказываю наступать всеми силами.

И голос его на конце фразы погас в грохоте сливающихся воедино залпов всех артиллерийских сил дивизии и приданных им временно, краткосрочно, на пятнадцать минут, стволов.

Втайне Пугачев был уверен, что в этот критический момент его не покинет артогнем дивизия. Но, когда обвалом с неба начали падать крупнокалиберные снаряды и земля в траншее стала сотрясаться от их разрывов так, словно он стоял на плоту, шатаемом волнами, и это длилось, казалось, бесконечно, а потом, пронзая воздушное пространство косыми огненными полосами и как бы опираясь на них, пронеслись штурмовики ИЛы, сердце его наполнилось восторгом.

Сидя на дне траншеи возле рации, плотно прижимая наушники ладонями, Коровушкина крикнула:

— Товарищ майор! Это все. После штурмовиков — все.

— Вас понял! — сказал Пугачев и, поднявшись из окопа, поправил фуражку, заорал во внезапно наступившей тишине: — Вперед! За мной, орлы! — И пошел, не оглядываясь, в рост. И ярко вычищенные сапоги его покрывались пылью. Подворотничок взмок, прилип к шее. Фуражку сбило дуновением разрыва. Но он шел мерно, будто на параде, радостно слыша рядом тяжелое дыхание обгоняющих его солдат.

Два передовых усиленных батальона вырвались в прорыв и присоединились к батальону Пугачева, ведущему



бой с пораженной массированным огнем, но еще не добитой моторизованной группой противника...

Пугачев ковылял, опираясь на приклад винтовки, как на костыль, он был без гимнастерки. Одна нога, поджатая, обмотанная мокрой гимнастеркой, трепетно дрожала, из нее капала кровь. Лицо его было косо разрублено осколком и тоже истекало кровью. Ковыляя вскачь, размахивая свободной рукой с зажатым в ней пистолетом, он кричал, захлебываясь, отплевываясь стекающей с разрубленного лица кровью:

— Мины, мины расшвыривайте прямо поверх грунта, не давайте самоходкам утечь, минами их блокируйте! Бери минами в окружение!

И исчез в огне и дыму разрывов.

Когда четверо солдат принесли Пугачева на растянутой плащ-палатке на перевязочный пункт, он был без сознания. Очнулся он, возможно, от боли — от прикосновения марли к его рассеченному лицу. Нелли Коровушкина, отбрасывая комки ваты, пыталась вытереть его лицо.

— Что, хорош? Квазимодо! — слабо проговорил Пугачев, попытался присесть, но свалился от боли.

— Для меня — да! — строго сказала Нелли. Разъяснила повелительно: — Вы мне не нравились оттого, что красавчик. А теперь... — она низко склонила свое лицо к его изуродованному, с вывороченными краями разошедшейся опухающей раны, дохнула в губы. — Дети у нас с вами будут красивыми. Уверена.

— Ты что, сдурела? — Пугачев приподнялся, опираясь на локоть. — Да у меня, может, всего полторы ноги осталось. — Отплюнул кровь, с трудом выдохнул: — Теперь мне только к Ольге Кошелевой подсыпаться. Если б не Лебедев... Вполне пара.

— Молчи, дурак! Отдыхать надо! — с незнакомой для нее самой нежностью произнесла Нелли.

Развернули обернутую гимнастеркой ступню Пугачева — кости ее были раздроблены всмятку.

— Это ему танк отдавил, — глухо сказал боец. — Кинулся, забрался на танк, свис с башни и все норовил из пистолета в смотровую щель попасть. Прямо цирковой

номер: висит на танке! А нам по танку бить из петээр. Бьем, а он на нем висит. Прямо страх! — И боец передернул плечами, словно от озноба.

12

Когда к воротам католического монастыря приблизилась запыленная группа солдат в эсэсовских мундирах, многие из которых были ранены, их впустили в ворота без особых расспросов, так как командованию уже все было известно о разгроме эсэсовской дивизии. И если б это были не эсэсовцы, их, естественно, сразу обезоружили бы. И тут же состоялся бы военно-полевой суд. И подразделение военной жандармерии расстреляло бы солдат, а офицеры были бы повешены в соответствии с последним распоряжением фюрера: оставляющих без приказа позиции казнить на месте.

Но эсэсовцы остаются эсэсовцами, и без специального на то разрешения общевойсковой генерал не мог применить к ним соответствующие меры.

Эсэсовцы привели с собой также пленных советских солдат и, угрожая оружием, не подпускали никого из комендантского взвода крепости близко к тем помещениям, которые самовластно заняли для себя и для пленных.

Обер-лейтенант войск СС отказался явиться к генералу до тех пор, пока не устроит своих людей.

В этом не было ничего странного. При всех обстоятельствах эсэсовцы вели себя нагло по отношению к общевойсковикам, невзирая на звание. Во всяком случае, они были хорошо вооружены и при обороне крепости, несомненно, будут сражаться как смертники. По отношению друг к другу они были крайне дисциплинированны — слышны были только редкие команды, и видно было, как молча, мгновенно они исполнялись.

Все началось ночью. Люди Лебедева напали на часовых — перекололи. Забросали гранатами караульное помещение. Но генерал, командующий гарнизоном этой крепости, заранее приготовился к ее штурму и даже к бою внутри крепости.

В каждом проходе были установлены пулеметы с при-

крытием из мешков с песком. Они били кинжальным огнем.

На плоских кровлях, на деревянных платформах стояли автоматические зенитные пушки: склонив длинные узкие стволы, они кассетными очередями создали непроходимую стену огня.

И Лебедев все понял и сказал Боброву:

— Номер не удался! — И, горестно усмехнувшись, приказал в нескольких местах в стены монастыря, примыкавшие к каменным флигелям, заложить взрывчатку на целенаправленный взрыв, пробить проходы и уходить всем, пока темно.

Отобрав несколько человек по их добровольному согласию, заявил:

— А мы с вами останемся. Будем стекла бить. — Улыбнулся и пояснил: — На прожекторах. Чтобы дать своим уйти без подсветки. — Спросил: — Поняли?

Снял пилотку, помял в руках.

— Вы уж простите. Думал, получится. В плане все предусмотрел, даже вот, — кивнул на монастырскую стену, — чтобы по плану и смотаться, если сразу не возьмем. Губить же людей, чтобы просто так, в лоб, нет у меня права да и нужды. В прорыв вошли все силы. Слышите, наши близко... Так что мой фокус не удался. Виноват, товарищи! В пределах диверсионной вылазки могу. Но чтобы бой вести — это сфера общевойскового командования. — Сказал тихо: — Но штаны у них всех там сырые — гарантирую. А запуганный противник — уже неполноценный противник. Значит, стоило!

После целенаправленных взрывов в монастырской стене в пробоины поспешно вползли и скатились по крутой насыпи почти все, кто входил в состав группы, за исключением шестерки, которая осталась с ручными пулеметами под командованием Лебедева.

И, как он и предполагал, на углах монастырских башен вспыхнули леденящие ищущие полосы прожекторов. Рассредоточившись, шестерка расстреливала прожектора.

Потом отступали к флигелю, стены которого, примыкающие к монастырской стене, были пробиты лазами. Но добраться до флигеля смогли только трое. Двое пали под отсечным огнем зениток. Лебедев был оглушен ударной волной и упал словно замертво. Бобров, решив, что он мертв, шмыгнул куда-то в темноту.

Лебедев очнулся от яркого света, направленного ему в лицо. Он сидел, привязанный за ноги и за грудь к большому, почти тронному, мягкому резному креслу.

— Прошу! — сказал тощий седой генерал с рыцарским крестом под воротником и показал на маленький лакированный столик. — Коньяк! Сигареты.

Испытывая тошноту, головокружение, мучительную боль в затылке, преодолевая ее, Лебедев налил коньяку, стараясь, чтобы при этом руки его не дрожали. Выпил, выдохнул, покосился на сигареты, осведомился:

— Очевидно, дрянь? Эрзац?

— Ого, баварский акцент! Вы немец? — удивился генерал.

— Как видите, — невозмутимо сказал Лебедев и скосил глаза на свой мундир.

— Бросьте дурака валять, — проговорил генерал с полуулыбкой. — Постарайтесь быть молодцом. Итак?

— Позвольте узнать: давно в армии? — вежливо спросил Лебедев.

— В первую мировую командовал батальоном.

— Так какого черта идиота из себя строите?

Генерал встал, поднял голову Лебедева, сунул ему под подбородок пистолет, как рычаг, затем поднес пистолет к лицу Лебедева, повторил:

— Ну?!

Лебедев наклонился и с силой дунул в ствол пистолета, так, что свистнуло, и по-детски обрадованно усмехнулся.

— Вы храбрец! — строго сказал генерал, оглянулся на офицера, приказал: — Прошу!

Офицер взял стул. Сел, широко расставив длинные ноги, вынул парабеллум, прицелился.

— Возьмите «зауэр». А то напачкаете! Начинайте.

Офицер послушно засунул в черную лакированную кобуру парабеллум, вынул из заднего брючного кармана «зауэр», прищурился, прицелился и выстрелил в Лебедева. Оглянулся на генерала, тот кивнул:

— Благодарю вас.

И, обращаясь к Лебедеву, снова повторил:

— Итак?..

Лебедев посмотрел на столик.

— О, пожалуйста!

Генерал подошел к столику, налил рюмку, с полупоклоном передал Лебедеву.

Лебедев одним глотком выпил, поморщился.

— Все-таки коньяк у вас дрянь!

Генерал взял бутылку, показал на этикетку:

— Ошиблись! Французский!

— Испанский! — метнув быстрый взгляд, сказал Лебедев.

Лицо генерала обрело настороженное, напряженное выражение.

— Вот вы где побывали! Так будете говорить?

Выждал, приказал офицеру:

— Повторить!

Теперь левая нога Лебедева дрогнула, пробитая пулей.

Удерживая прерывистое дыхание, Лебедев оглядел стены, увидел на одной из них распятие. Повел на него глазами, облизывая пересохшие губы, скривил их в усмешке:

— Вы что? Как его, только с поправкой на современность?

Генерал тоже посмотрел на распятие, предупредил строго:

— Не кощунствуйте!

Но смутился, добавил сердясь:

— Мы поступаем крайне гуманно, но есть предел всему. — Приказал: — Опустите руку!

— Прошу! — передразнил генерала Лебедев.

И вместе с новым выстрелом пришло мгновенное беспамятство.

— Налейте ему! — сказал генерал.

Офицер подал рюмку. Но еще живой, другой рукой Лебедев выбил ее.

— Смотрите, сколько в нем энергии! — воскликнул генерал.

Офицер, прижав к рукаву Лебедева ствол, выстрелил. Но Лебедев выдержал и это. Все боли от ран слились в одну, и он как бы колыхался в этой боли.

Генерал, усевшись на диван в противоположном конце комнаты, курил, молчал. Лицо его не то покрылось брезгливыми морщинами, не то стало угрюмым, старчески озабоченным от бессонной усталости.

— Труп ваш будет сожжен в бункере, — говорил он монотонно и глухо. — Обольем бензином и сожжем. Остатки спустим в канализацию.



— В этом вы напрактиковались в лагерях. Уверен, все будет выполнено технически грамотно, — выдохнул Лебедев. — Ничего нового.

— Новое то, — сказал генерал, — что допрос ваш мы постараемся оставить в тех наших бумагах, которые не представляют ныне особой ценности. Но ваши будут иметь удовольствие с ними ознакомиться. Фронт прорван, не так ли? Вот этот мусор мы и оставим. — Попросил адъютанта: — Откройте, пожалуйста, окна, скверно пахнет от вашей пальбы. Благодарю! — Пожевав губами, подумав, генерал продолжал: — И конечно, в этом мусоре обнаружатся бумаги, касающиеся вас. Ваши показания! И те, кому вы так отлично служите, — генерал при этом чуть склонил голову, словно признавая заслуги Лебедева, произнес отрывисто: — убедятся в том, что вы изменник, со всеми вытекающими для ваших родственников последствиями.

— А у меня нет родственников, — сказал Лебедев.

— Жаль, — протяжно произнес генерал. — Одинокий человек умирает в одиночестве, презираемый своими соотечественниками. Что может быть более жалкого, постыдного и бессмысленного, чем такая смерть?! — Он задумался, как бы в замешательстве. — Ну что я могу вам предложить? В сущности, вряд ли ваши показания, даже честные, будут иметь для нас в данной ситуации значение. Кроме того, — генерал развел безнадежно руками, — нуждаетесь после экзекуции в длительном лечении. Конечно, вы полагаете, что даже если вы нам и дадите показания, мы вас... ну, вы сами понимаете... Но я после всего высоко ценю вас. Как особую личность. И готов сохранить жизнь. Вы человек, несомненно, мыслящий, военный и отлично знаете: мы лишены возможности в какой-либо полезной для нас мере воспользоваться вашими сведениями. Повторяю: ситуация, увы, не та. Только по долгу службы не приказываю — прошу. Не принуждайте нас совершить крайность, тем более что ваша честь ничем не будет отягчена: вы сообщите уже бесполезное для нас. Подумайте! Прошу... Ну как более опытный в жизни и старший по возрасту. Я военный не только по призванию, по наследственному долгу. По своим этическим взглядам я чужд тому, что привнесено в мою страну главенствующими в ней политиканами. Армия есть армия. Она моя святыня, мой повелитель и совесть...

— Гитлер капут! — усмехнулся Лебедев. — Уже заразились от своих же. На ходу перестраиваетесь!

— Грубо и глупо, — сказал генерал вставая. — Очень сожалею, но вынужден все повторить. Последовательно, с самого начала. — Повелительно взглянул на офицера. Тот уселся на стул, упористо расставил ноги, прицелился...

И вдруг за окнами послышался громкий странный скрипящий шорох, ритмичный стук, будто кто-то стучал пальцем в гудящую огромную фанерную перегородку. И затем раздался мерный, жесткий, словно механический, голос, твердо, четко, требовательно выговаривающий каждое слово:

— Генерал фон Лебке! Советское командование при немедленной безоговорочной капитуляции вашего гарнизона гарантирует вам жизнь и всему вашему личному составу! В противном случае открываем огонь, подвергаем бомбовому удару авиацией. Сигнал о принятии вами ультиматума — опущенный флаг с башни, на что дается десять минут. На выход сложившего оружие гарнизона крепости — пятнадцать минут.

Треск, скрипение, пауза, и затем тот же грозный голос:

— Если в течение десяти минут вами не будут отпущены захваченные советские военнослужащие — капитан Лебедев и другие, наш ультиматум отменяется. Время — мое! Шестнадцать часов сорок минут!

Включенный метроном стал гулко отсчитывать секунды.

Генерал переглянулся с офицером.

Лебедев, бледный, с синюшным лицом, сидел осклабившись.

В комнату вбежал офицер.

— Господин генерал! Солдаты хотят бросать оружие. Я приказал направить на них пулеметы.

Снова заскрипело за окнами. И размеренный голос произнес:

— Советское командование ждет! Сейчас будет дан пристрелочный залп — упредительный. Ультиматум не отменяется.

Голос заглох в реве рвущихся где-то невдалеке снарядов. От ударной волны с дребезгом посыпались стекла, сорвало занавеси.

Генерал сел на диван, разбросав ноги.

— Опустите флаг! — сказал он бесцветным голосом. — Гарнизон капитулирует. Я не палач своих солдат! — сорвался он на визг. — Тем более что это не солдаты. Сброд, дрянь, трусы, изменники... А этого — на носилки, и вон. Впрочем, вызовите врача — быстро перевязать. Чтобы явно было: помощь раненому оказана. И трупы тоже на носилки. Кто будет сопровождать, доложите: русские сражались храбро. Пленных нет. Кстати, любой опытный военный по характеру ранений определит: никто из них не был подвергнут казни.

— А этот? — спросил офицер и положил руку на кобуру. — По-видимому, он и есть капитан Лебедев.

Генерал на мгновение задумался.

— В сущности, кто он? Диверсант. И то, что он испытал, в границах милосердия. По нашим положениям вражеский разведчик заслуживает этого. Я военный и подчиняюсь законам военного времени, — успокоительно сказал он и приказал: — Несите.

— Но я исполнял только ваши приказания! — спохватился офицер.

Генерал посмотрел на него насмешливо:

— А я находился под давлением вашей службы — гестапо. Впрочем, у вас найдутся другие документы — советую на всякий случай. Но не ручаюсь, что буду брать что-либо на себя.

Подошел к окну, прислушался к мерному стуку метронома. Офицер мягко, тихо подошел сзади и выстрелил в седой висок генерала. Потом бросил рядом с упавшим свой пистолет и быстро вышел из комнаты, на ходу разрывая бумаги, которые он доставал из внутреннего нагрудного кармана своего мундира.

13

В санбат прибыл армейский хирург, полковник медицинской службы Иван Яковлевич Селезнев.

С яростным ожесточением он мыл руки, оттирая их щеткой так, словно пытался содрать с них кожу. Потом протянул руки медсестре, дал ополоснуть их спиртом и покорно ждал, пока высохнут, пока сестра натянет на них резиновые перчатки. Сквозь марлевую повязку он глухо говорил:

— Когда не было анестезирующих средств, оперируе-

мого привязывали ремнями к столу или к койке с высокими ножками и давали жевать специальную толстую подошвенную кожу, дабы не ломал зубы от сильного жима челюстей. С анестезией началась новая эпоха в хирургии.

Подняв высоко руки, словно сдаваясь кому-то в плен, он вошел в операционное отделение, склонился над столом, воскликнул радостно и приветливо:

— Майор Пугачев! Здравия желаю! Ну-с, чего вы тут над собой натворили?

Властными точными движениями исследуя раны, говорил беспечным тоном:

— Для армейского хирурга даже не по чину такая работа, ерундистика для начинающего. Да что вы ежитесь? Возможно, пальцы холодные? Или от щекотки?

— Оставьте мне ногу, — сипло произнес Пугачев. — Не дам отрезать. Не дам!

— Аполлон! — говорил восторженно Иван Яковлевич. — Вот это телосложение! Бог! Спортом занимались? — И быстро швырнул что-то окровавленное, сырое в эмалированный белый таз, воскликнул: — Ну что вы! Я туалет только навожу, а вы кряхтите, как маленький. Самая страшная и нестерпимая боль — это я вам честно доложу, — когда зуб рвут. Маршалы и те плачут. Больной зуб — это высшее наказание, страдание человечества. Извините, кажется, задел. Здесь чувствительно? И хорошо, что чувствительно! Просто замечательно! — И снова бросил что-то окровавленное.

— Я все стерплю. Только ногу, ногу мне оставьте! — прохрипел Пугачев.

— А на черта мне сдалась ваша нога! — вдруг грубо оборвал его Иван Яковлевич. — У меня своих две. Вот личико ваше — тут придется ради полной красоты пластическую, косметическую... Ради ваших девиц постараюсь. — Заявил с достоинством: — Сейчас хирургия все может! Желаете нос с горбинкой — пожалуйста!

— Рожа пускай останется калеченой, хрен с ней, с рожей, — хрипел Пугачев. — Нога! Вы мне ногу оставьте!

Иван Яковлевич указал глазами сестре, она быстро возложила на лицо Пугачева маску. Включила шланг.

Пугачев замотал головой, сбросил металлическую полумаску.

— Усыпить, чтобы ногу отхватить втихую? Не позволю! — Он приподнялся и сел.

— А вот я тебе сейчас дам по скуле! — Иван Яковлевич поднес к лицу Пугачева обрезиненный кулак. — Меня серьезные раненые ждут. Брошу и не буду с тобой канителиться. Ложись, говорят! — И вдруг подмигнул и улыбнулся.

Пугачев, ошеломленный, покорно лег и позволил, покоренный, возложить маску.

Выжидая, Иван Яковлевич заметил восхищенно:

— Каков, а! Хулиган! И энергии сколько! Минимум десять тонн взрывчатки в одном человеке.

Приподнял и опустил бережно безвольную, ослабевшую руку Пугачева. Лицо стало строгим, озабоченно-суровым. Приказал сестре:

— Подай скальпель, зажимы, тампон... Еще тампон...

Когда Пугачева вынесли в послеоперационную, Иван Яковлевич опять с таким же ожесточением мыл руки, повторяя все сызнова, вошел в операционную со вздетыми ввысь руками и опять, склонившись, удивился:

— Капитан Лебедев?! И вы пожаловали наконец-то. А я все думал: когда он навестит по личным надобностям? — Спросил осуждающе: — Что это у вас за симметрия такая — и в ручки и в ножки? Распинал вас кто, что ли? Но не от гвоздиков. Сквозное, малый калибр. Косточки сейчас проверим. Уверяю, человек — высшее творческое произведение природы. Почему? А вот совершенство конструкции. Всего в наличии 228 костей, а как гениально все продумано, слажено! Повезло вам, голубчик. Вот с лейтенантом Петуховым пришлось мне попотеть: наломал себе дров, и все сложные переломы. Но молодой, срастется. Я ему так и сказал. Ремонтно-восстановительная мощь организма. Теперь все. Лежите, но не залеживайтесь. Лечебная физкультура. Постепенно, помалу. И вполне футболист! — Склонился, спросил: — Может, прикажете усыпить?

— Нет, — сказал Лебедев. — Выдержу.

— Верю! — согласился Иван Яковлевич. — В сущности, вы правы. Зато потом ни рвоты, ни тошноты. На каком вашем тайном геройстве изволили пострадать? Да я же так, для разговора. Отвлекает... У меня тут один боец с весьма сложным ранением. Чрезвычайно интересный случай. Пробита грудная клетка и, представьте, чем? Колом от проволочного заграждения. Так

с колом он и приполз. Ну, я извлек. Потом повторно оперировал. Оказалось еще слепое ранение. А он, знаете, смущался, что я много им занимаюсь, говорит: «И так заживет, а тут другие вас дожидаются». Ну, я к Юрию Владимировичу. Так и так, по мне — герой. Здесь ему и вручили орден. Так он на нижнюю рубашку нацепил. И все на орден глаза косит. Психотерапевтический эффект от ордена был великолепный. Полагаю, что ордена именно в госпитале надо вручать — оздоровляет. Вам как, за это самое, очевидно, тоже пожалуют? — Осведомился самодовольно: — Что, здорово я вам зубы заговорил? Все! Как парикмахеры говорят: «Будьте любезны, заходите, не забывайте!»

И еще Лебедева не вынесли со стола, крикнул зычно:

— Давайте нового!

И вышел снова скоблить щеткой руки.

Только под утро он кончил оперировать. Обнаженные по локоть руки его налились толстыми синими венами, как у землекопа или каменщика после тяжелого длительного труда.

Усевшись у входа в палатку на вынесенный стул, раздвинув ослабевшие ноги, он курил вздыхая: ворот расстегнут, потные волосы слиплись, под мышками влажные темные пятна.

Приехал генерал Лядов.

Молча поздоровались.

Иван Яковлевич сказал сердито:

— Воюете, а мне вот за вами людей чинить! На ноги ставить! Приехали, верно, хвастать — сражение выиграли! — Мотнул головой на палатку: — С такими людьми да не выиграть! Тоже мне новость!

Лядов опустился рядом со стулом на землю, вытянул ноги, оперся на локоть, спросил:

— Что такой сердитый?

— А то! Если б стонали, выли, а то молча терпят. А у меня у самого от этого молчания брюхо к спине прилипает. Знаю — сверхболезненно. Но паясничаю, развлекаю! Ерничаю! Грублю! Как, по-вашему, легко это — на своей совести все волочить?

Лядов помолчал, вздохнул:

— Что касается меня, то я, откровенно, не смог бы.

— Вот! А я — командовать, зная, как это потом выглядит.

— Значит, каждому свое.

— Ну уж это извините! Считаю: тоже воюю! Знаете, был случай. Принесли немца. Тяжелое ранение. А у меня очередь тяжелых. Вышел, спросил их: как? Сказали: валяйте с него. Пусть знает: мы не они.

— Вы бы записки врача писали, — посоветовал Лядов, — как Вересаев.

— И пишу! Пишу, но только научные. Без беллетристики. Материал ценнейший и для будущего. Он кто, Вересаев, терапевт?

— Какого будущего? Новая война?

— Зачем? На нашем опыте хирурги могут потом почти воскрешать при самых тяжелейших травмах. Победить клиническую смерть — разве это не высшая цель? И победим!

Лядов сказал:

— Верховный в приказе объявил благодарность генерал-лейтенанту Белогривову, войска которого прорвали фронт противника на всю оперативную глубину и сейчас вместе с моей дивизией завершают окружение значительной группы врага. В Москве его дивизии — салют.

— А вам?

— Командующий армией пожал руку, выразил подружески признательность и глубокое уважение.

— Ну, от меня тоже. — Иван Яковлевич дотронулся до вялой руки Лядова, спросил: — Вы что, обижены?

— Ничуть! — встрепенулся Лядов. Встал. — Белогривов организовал прорыв в высшей степени мощно и неотвратимо. Но, конечно, то, что наша дивизия действиями своей разведоперации боем отвлекла на себя значительные подвижные силы противника и облегчила прорыв всего его фронта, — операцией, я бы сказал, изящной и точно продуманной, это приятно.

— Войдет в анналы?!

— Во всяком случае, для военного искусства представляет некоторый интерес — не для историков, а для курса тактики, весьма возможно.

— Вклад в науку — это всегда хорошо! — солидно заявил Иван Яковлевич. — Я вот тысячи оперировал, но из них есть десяточек, весьма поучительный, просто сокровище. Горжусь!

— Я тоже, — сказал Лядов.

— А чего вам еще? Герой, куда выше!

— Как Пугачев? — спросил Лядов. — Я ведь, собственно, к нему. Высшая награда!

— Высшая! — сердито сказал Иван Яковлевич. — Полстопы я ему пока отнял. Сэкономил. А может, следовало всю! Очнется, приду, а он такой: может и по морде, скажет — отдай обратно. Протезом разве вернешь?

— Значит, что ж, вчистую?

— Какой быстрый! — рассердился Иван Яковлевич. — Я еще с ним поканителюсь. Сохраню солидный кусок. Если, конечно, сепсиса не будет. А в крайнем случае в чем дело? Кутузову без одного глаза войсками доверяли командовать. А вы хромому доверить не захотите? Это уж извините! Я командарма дважды резал. Кое-чем он мне обязан. Скажу: давай гонорар! Назначай на полк хромого Пугачева! А после он еще подумает, через пару десятков лет, оставлять вас, таких, в кадрах или списывать на пенсион!

— Приказ уже есть — о повышении в звании, — сказал Лядов. — Если вы подтвердите возможность, может вступить в должность после излечения.

— Подтверждаю! — сказал Иван Яковлевич. — Устно и письменно, с приложением оттисков всех своих пальцев и печати.

— Значит, не заходить к нему?

— Дрыхнет. И пускай дрыхнет. А то опять начнет кидаться — за ногу. Не буду же бинты снимать, доказывать — кое-что солидно осталось. — Предложил: — Может, к Лебедеву зайдете? Он без анестезии, железный.

— У него там связистка, — сказал Лядов.

— Запрещено! — возмутился Иван Яковлевич. — Но пусть в порядке исключения.

— Но я вам еще одну привез, к Пугачеву.

— Ну уж это извините! У меня тут не детская больница. Папы, мамы, тети, дяди!

— Она с ним все время в бою была.

— А мне плевать — где, когда, кто! Заносят инфекцию. Вот я ему за это и отрежу всю конечность. Так ей и скажите. Или она, или конечность.

— Тут еще ротный Петухов?

— Эвакуировали в тыл. В армейский госпиталь, а может, уже во фронтовом.

— У него большие заслуги. Огонь вызвал по скоплению танков и на себя.

— Представили? Ну и хорошо.

Подошла Нелли Коровушкина, остановилась против

Ивана Яковлевича, скорбно, но твердо посмотрела ему в лицо.

— Это еще что за античное создание? — спросил Иван Яковлевич Лядова. — Ваше протеже? Физиономия ничего, как у скорбящей мадонны. Только чтобы у мадонны звание сержанта — это модерн!

— Я хочу видеть майора Пугачева.

— Ошиблись, голубушка, — сказал Иван Яковлевич, — нет уже майора. Подполковник под такой фамилией имеется, но не для вас. В запретной, недосягаемой зоне. Доступ запрещен.

— Он жив?

— А мы покойничков не держим. Каждая койка на счету.

— Он будет жить?

— Это даже неприлично, — упрекнул Иван Яковлевич. — Я над ним потел, маялся, а вы, извините, так неуважительно! Что, я время на него зря бы тратил? У меня своя профессиональная гордость! Взялся — значит, уверен. Только вот за физиономию его не ручаюсь. Может, и не тае.

Нелли наклонилась, быстро поцеловала Ивана Яковлевича:

— Спасибо. Вы такой замечательный!

Ошеломленный Иван Яковлевич растерянно спросил Лядова:

— Она что, всегда такая экспансивная? Может, что-нибудь успокаивающее дать?

— Пугачева! — улыбнулся Лядов.

— Тут дудки — никак.

Иван Яковлевич встал со стула. Предложил Нелли:

— А ну сядьте. Хоть я и старше вас по званию, но вежливость и королям рекомендуется. — Положил руку на ее плечо, сказал твердо и решительно: — Вы для меня не девица с этими ресницами вашими и всем прочим, а вредный и опасный нервно-возбудительный фактор для только что оперировавшегося. Его на данном этапе будет целость собственной стопы волновать, а если мне не изменяет способность к психологии, то состояние его физиономии может превалировать над стопой, как только появитесь вы. Поэтому прошу: пока все со стопой не уладится, ваш визит исключить. Письменное общение не запрещаю! Все!

Нелли постояла молча, потом понуро побрела к машине.

Иван Яковлевич вздохнул:

— Придется с его физиономией теперь основательно повозиться. Хотя эти пластические операции не люблю. Копотня! Вроде как лоскутное одеяло шить на ощупь. — Зевнул. — У вас больше ничего ко мне? Пойду завалюсь минуток на шестьдесят. — Помедлив, удерживая руку Лядова, сказал наставительно: — Юрий Владимирович, рекомендую решительно: в случае чего ни минуты не задерживаться. Чем раньше ко мне попадете на стол, тем мне будет легче. А то вы, генералы, при любых ранениях полагаете, что без вас бой не состоится, а потом прибываете в чем душа... Если свежак, у него и силенок побольше, и работать на нем спокойнее, приятнее. И то всякие причиндалы приходится включать, и кровь в вену, и сердце массировать, — пульс чуть, дыхание как у новорожденного. Все это хирурга отвлекает, беспокоит. Если о себе не думаете, то хоть о нас. Тоже ведь люди.

— Хорошо! Обещаю! — сказал с улыбкой Лядов и крепко пожал Ивану Яковлевичу руку.

Когда машина тронулась, Нелли сказала, обернувшись к Лядову:

— Знаете, я решила выйти замуж.

— Да? — произнес безразлично Лядов, погруженный в свои мысли.

— И не потому, что я жалею его сейчас, таким.

— Мотив для брака — жалость? Неосновательный, — буркнул Лядов. — Впрочем, как вам угодно.

Высадив Коровушкину в бывшем расположении узла связи, Лядов приказал шоферу ехать на КП. Саперы ремонтировали дорогу. Дорога шла мимо многополосных оборонительных укреплений, прорванных дивизией Лядова, лесом, расщепленным, поваленным огнем артиллерии. Дорога пересекала то пространство, где было поле боя, изъязвленное разрывами снарядов, до сих пор остро, едко пахнущее остывшим, пропитавшим землю пороховым газом, потом мимо возвышенностей, где располагались недавно опорные пункты противника. Проходила через железнодорожную станцию, где дорожники, звеня инструментами, восстанавливали рельсовые пути.

Мощные тягачи растаскивали завалы, и один из них волок на тросе обезглавленный, в копоти, в окалине наш танк.

Дорога шла мимо водонапорной башни с осевшей кровлей и затем снова лесом, мимо огромного, с зубчатыми стенами монастыря, с высокой граненой башней с остроконечным шпилем над узкой конической кровлей, покрытой черепицей, словно бурой чешуей.

С погашенными огнями шли длинные колонны грузовиков с боепитанием, подразделения танков, артиллерии, реактивных минометов с покатыми рамами, затянутыми брезентом.

Дорогу охраняли ночники-истребители. Они глухо, с посвистом мелькали в небесном пространстве, как призраки.

На рассвете Белогривов приехал на КП Лядова торжественный, счастливый. Двое бойцов вынесли из машины что-то длинное, бережно обернутое красным полотнищем.

Приказав развернуть, Белогривов произнес с волнением:

— Это тебе, Юрий Владимирович, от всей нашей дивизии в знак, ну, сам знаешь чего.

Солдаты развернули красное полотнище.

На полотнище лежал полосатый пограничный столб, сломанный у основания. У основания торчала серая от времени щепа. Краска на нем выцвела, один бок столба отсырел и был темен.

Белогривов опустился на колено, склонился, коснулся губами столба, сказал:

— Группа разведки уже вышла на государственную границу. Она его и доставила. Мы посоветовались, решили — тебе, твоей дивизии.

Лядов обнял Белогривова, сказал задыхаясь:

— Прости, Степан. Завидовал как солдат, понимаешь?

Белогривов затряс крупной седой головой, прижался рыхлой щекой к груди Лядова.

— Счастлив! Не тем, что довелось стать во главе главного удара, а вот этим нашим всеобщим. Дошли! Счистили с нашей земли! Навечно! И нет выше нам с тобой награды, чем это.

Он еще раз опустился на колено и нежно положил ладонь на пограничный столб.

14

Когда Петухова принесли в санбат, лишь армейский хирург Иван Яковлевич Селезнев не терял надежды сохранить ему жизнь после множественных ранений. Потом его отправили на самолете в тыл, во фронтовой госпиталь.

Только через полгода здесь состоялась трудная первая встреча Петухова с Соней. Пристально оглядев ее, он спросил враждебно:

— Выходит, ты налегке?

— То есть?

— Значит, ничего нет? — Петухов покосился на ее талию.

— Ах ты про это... — смутилась Соня.

— Может, просто не захотела себя затруднять или на аттестат рассчитывала?

— На аттестат, — сказала Соня. — Как все ППЖ — на аттестат.

— Вас понял, — сухо произнес Петухов.

— Раз понял, значит, точка, — твердо произнесла Соня и развязно осведомилась: — Значит, на поправку идешь? Организм в порядке?

— Отремонтировали, — ответил Петухов. — Питание тут подходящее.

— С весом у тебя как? Набираешь?

— В довоенной норме. А у тебя как?

— С весом?

— Нет, вообще.

— Дали звание старшины. По должности — оператор.

— А медаль за что?

— За личную отвагу, — бодро сказала Соня.

— Это по какой же линии?

— По той самой, о которой ты думаешь.

— Значит, нашла себе?

— Нашла, а как же!

— Вас понял, — тупо повторил Петухов.

— Сообразительный.

— Ну что у нас там в части нового? — с холодной вежливостью осведомился Петухов.

— Все новое, вплоть до обмундирования.

— Навестила по указанию политотдела или личная инициатива?

— В политотделе командировку выписали.

— Ну, можешь доложить: нахожусь в полном порядке и соответствии.

— Так и доложу.

— Вспоминают меня как? Со смехом, с шуточками? — сощурился Петухов.

— Не понимаю, почему с шуточками?

— Ну, скетч, который ты со мной с КП разыграла, при всех вспоминают? Сплошной юмор.

— Может, для некоторых и так. А что, тебе смешно вспоминать?

— Смешно!

— Ну, тогда рада. «Смех содействует здоровью» — так, кажется, говорится.

— Кем?

— Не знаю. — Соня поглядела на часы, спохватилась: — Мне пора!

— Валяй! — милостиво разрешил Петухов и, вяло пошевелив рукой, произнес равнодушно: — Ну, значит, пока!

Соня шла по палате не оглядываясь. Лицо ее было бледно, сухо, глаза полуприкрыты. Но шагала она четко, громко ступая на каблуки. И вдруг она услышала за спиной тяжелое, словно каменное, падение, будто рухнула штукатурка с потолка или упала тумба с гипсовым бюстом.

Петухов лежал на полу около своей койки. Лежал в толстых гипсовых окаменевших бинтах и, протягивая тощие, тонкие руки, твердил:

— Обожди, обожди, я ведь только хотел тебе сказать — калека я. Значит, ни к чему тебе. Врачи говорят, снова надо кости ломать и заново складывать, а может, и зря. Не получится. Вот! Все поэтому... А так я все твои письма губами истер. Перечитывать стало даже невозможно.

— Глупый ты, глупый! — склонилась над ним Соня.

— А ты?

— И я тоже. — И тут же поспешно запротестовала: — И еще хуже, чем глупая. Просто дура!

— Товарищ старшина, — заявила Соне дежурная сестра. — Вам следует немедленно удалиться.

— Еще чего! — вызывающе сказала Соня и гордо пояснила: — У меня к вам направление. Аппендицит желаю резать.

— Давайте ваше направление! — сказала дежурная.

— Вот, пожалуйста.

— Но тут написано: только подозрение на аппендицит. Диагноз — общее истощение организма.

— По подозрению и режьте.

— Я вызову дежурного врача.

— Хоть самого главного!

Соню оставили в госпитале, но вовсе не по поводу аппендицита. У нее было обнаружено тяжелое заболевание: она, пренебрегая правилами, слишком часто вызывалась быть донором, как бы в отплату тем, кто давал свою кровь Петухову, почти истекшему кровью, когда он, израненный осколками, лежал под обломками стропил водонапорной башни. Соня не сказала Петухову, что была контужена с временной потерей слуха и из связи перешла на медслужбу в санбат.

Вытаскивая из-под огня раненых, каждый раз, чтобы не было так страшно, она убеждала себя, будто вон там тот лежащий в полосе боя под обстрелом раненый солдат — это ее Гриша.

У нее была раздроблена осколком коленная чашечка, при ходьбе нога моталась, и она припадала на нее.

То, что лежала до этого в госпитале, она скрыла от Петухова, чтобы он не волновался. Перемену номера почты объяснила многозначительно тем, что будто попала в особую часть.

Она была так уверена в Петухове, что не сочла даже нужным докладывать ему о своей хромоте.

Потом он говорил ей с упоением:

— Ну и что! Ты как уточка по земле: шлеп, шлеп, шлеп, шлеп. У меня даже все внутри заходится, как услышу: шлеп-шлеп-шлеп-шлеп... Даже обмираю.

— Да ведь некрасиво.

— У Венеры руки отломаны, а на нее все смотрят, восхищаются. Вот, скажем, балерина, ходит по сцене на цыпочках — красиво, а если бы все по улице так — глупость. У каждой красоты свое умное содержание. Я за что эту твою левую ногу больше другой люблю? Она же наша, фронтовая, все выстрадала, в беленьких шрамиках, прозрачненьких, словно из пластмассы. И точечки по бокам от швов.

Повторил:

— И поэтому я эту твою ногу очень сильно люблю и лучше, чем даже свою, знаю.

Соня радостно, тихо смеялась, но при ходьбе, когда шла рядом с Петуховым, пыталась идти ровно, не качаясь, хотя при этом мучительно ныло колено и судорогой сводило икру.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

1

Был день на солнечной стороне планеты.

Был день. Жаркий, горячий, в изобилии света.

Минул тот день, когда к подножию Мавзолея Ленина воины советского народа швырнули на камни Красной площади знамена разгромленной фашистской армии.

И они лежали там долго, разноцветными тряпичными грудами, и дождь мочил их. Дождь первой послевоенной весны.

Был полдень, жаркий, горячий.

На окраине старинного среднеазиатского города, в низких одноэтажных саманных домишках, изрезанного арыками, цветущего садами, над которыми возвышались обломки древнего храма, его башни, облицованные лазурными керамическими плитками цвета неба, сплетающими дивный, изящный узор, подобный мозаике из драгоценного камня; на этой окраине, куда примыкала жгучая песчаная рыжая пустыня, взъерошенная саксаулом, в застывших волнах барханов, стоял огромный серый завод, подобный гигантскому океанскому судну, приставшему внезапно к берегу пустыни.

Сюда в сентябре сорок первого, как на необитаемый остров, стаскивали из железнодорожных вагонов оборудование, станки того завода, на подступах к которому шел в это время бой. Завод спешно демонтировали под орудийным огнем, под бомбежками, но часть рабочих оставалась у станков, и возле них нетерпеливо переминались экипажи поврежденных танков, которые тут же ремонти-

ровали, пока сам завод разбирали на части и грузили на платформы.

У завода заживо ампутировали участки, пролеты, цехи, и когда саперы с ломами и домкратами и минеры со взрывчаткой вошли в силовой цех, остановилось электротурбинное сердце завода. И он погас, холодея, и замер.

Выгружались в пустыне. Рабочие сразу становились к станкам. Город отдал им весь свой свет, ибо электростанция его была слаба, и ее хватало только на эти станки.

И невдалеке от станков, работающих то под палящим солнцем, то во мраке южной ночи, дехкане, подоткнув полы халатов, кетменями копали котлованы под фундаменты будущего завода — вот так же некогда методом народной стройки они возводили в этих местах знаменитый канал, давший плодородие иссохшей земле их.

За несколько месяцев здесь прочно и навечно встал на свои бетонные основания огромный завод и вытянул высоко в небо изваянные из камня трубы.

Его построили и стали на нем работать люди многих советских национальностей, изгнанные сюда войной, и у каждого из них кто-то сражался или пал в бою. Древний этот город стал для них столь же родным, как люди его, как этот завод, возведенный руками всех. И так же, как до этого, еще не зная друг друга в лицо, они понимали, что все созданное в стране сотворено их братством, сплоченностью, которая ныне еще больше усилилась кровью воинов и сблизила их в семью, у которой одно общее горе и одно общее счастье — в победе.

То, что в разгар всех бедствий войны страна возводила новые заводы, перемещала с запада на восток такие гигантские материальные величины, которых было б вполне достаточно, чтобы основать где-нибудь на новом месте новое государство, равное по своей индустриальной мощи любому среднему европейскому, — уже это одно было и неслыханным подвигом, и неведомой скрытой мощью страны, которая оказалась на это дееспособна, опираясь на народ, свершающий трудом своим, героизмом такое, чему не было равного во всей человеческой истории.

И тут нельзя отдать предпочтение ратной героике перед героикой такого труда народа.

И то, что было заложено годами, осознание общей цели

жизни в душах, сердцах, мыслях, народное чувство многонационального единства — у тех, кто был изгнан сюда войной, — изъяло всякое ощущение себя изгнанниками. И из всего высшего духовного, чего достигла страна, к чему она стремилась в человекостроительстве, это было ее наивысшим, жизненно главным.

И это воплотилось в жизнь коллектива завода. Он был сам как бы живым воплощением единства во множестве людей социалистических наций. Приказы по заводу вывешивались, отпечатанные на многих языках, и на производственных совещаниях присутствовали переводчики, и в цехах был слышен разноязыкий говор. Большинство новоприбывших после работы уходили в дома местных жителей, где получили приют и где хозяева стали тоже заводскими людьми, и там у них был тот же общий разговор о заводских делах и о том, что на фронте.

У каждого народа свои обычаи, свои вкусы, привычки, но в смешении всего этого создавалось нечто новое. Те, кто носил кепки, признали удобство тюбетеек; кто ходил в тюбетейках, сочли более целесообразным надевать кепки, защищающие козырьками глаза от жара мартеновской печи. Борщ соперничал с лагманом, шашлык с котлетами. Халат не годился для работы в цехах. Но если он на вате, — значит, пальто. Но это так, мелочи.

Как в слиянии родников возникает мощное полноводье реки, так и здесь из слияния душ людей возникала их духовная мощь, рождая новое в человеке, обозначая его новыми чертами, всеобщими для всех.

Саид Нугманов служил бронебойщиком в роте Петухова. Он ушел на фронт сразу после школы, как и Петухов.

Невысокий, статный, темноглазый, добрый, улыбчивый, он, получив впервые противотанковое ружье, сказал опасливо:

— Тяжелое, длинное, как все равно лом железный.

— Вот, правильно, — согласился Петухов. — Теперь бей им дыры на фашистских танках.

— Трактор видел, танк — нет.

— Ладно, покажу, как он выглядит, — пообещал Петухов.

И он пошел за второго номера с Нугмановым в засаду. И когда появился танк, Нугманов, припав к прицелу, дол-

го и бесстрашно ожидал, потом выстрелил — раздался звон брони. Петухов подавал ему патроны, поощрительно говорил: «Молодец, не трусишь».

Потом Нугманов сказал ему обиженно:

— Я тебе не говорил, что ты не трусишь. Зачем ты мне говоришь, что я не трушу?

— Извиняюсь! — сказал Петухов. — Это я просто от радости. Сильно гвоздили!

Петухову нравилось, как Нугманов не только вежливо, но и услужливо держался с солдатами старших возрастов, несмотря на то, что сам получил уже звание сержанта.

— Аксакалы! — объяснил Нугманов эту свою услужливость. — Такой у нас обычай: стариков уважать надо.

— Для воспитания обычай правильный, — согласился Петухов.

Один из пополненцев освобожденной западной области обозвал Нугманова «азиатом» за то, что тот, очевидно, стесняясь девушки-санинструкторши, не дал ей перевязать свою рану и, когда она стала настаивать, сказал высокомерно и презрительно: «Уходи, женщина!» Петухов сначала вызвал пополненца и долго внушал ему, что такое обращение к товарищу могло к нему прилипнуть только от фашистов. Потом спросил Нугманова:

— Что ж это ты, Саид, санинструкторшу обидел?

Нугманов сказал хмуро:

— Женщина есть женщина. Мужчина получил рану и только от мужчины примет помощь.

— А если б дома — мать?

— Я бы ей сказал: позови мужа!

— Что же, у тебя в школе учительницы не было?

— Была.

— Ну и как?

— Хорошая, — улыбнулся Нугманов. — Замечательная.

— Вот, видал! Тебя учила женщина. И, значит, то, чему она тебя выучила, это в тебе от женщины, как и вообще все мы от них. Не будь их, нас не было бы. Если по существу, они главные на земле. А не мы вовсе. И если конкретно: чем ты, например, воюешь? Женщины оружие тебе сделали. И все они делают, пока нас нет. Одни, сами. Прикинь умом, и получится — не они при нас, а мы при них служащие, только сейчас военнослужащими называемся.

Нугманов подумал, помолчал, сказал грустно, тихо:

— Я свою Саиду очень люблю. Но, понимаешь, если каждый на нее будет смотреть, она каждому может нравиться.

— Ну и пусть нравится. Значит, ты лучше всех, раз она не кого-нибудь, а тебя любит. Значит, все в норме!

После госпиталя и демобилизации Петуховых у Сони обнаружилась та же болезнь, что и у ее матери. Петухов взял по орденским литерам билеты и уехал вместе с Соней к Саиду Нугманову, который давно звал его к себе погостить.

Петухов полагал, что он вылечит там Соню на одном солнце и винограде.

Здесь Петухов поступил на завод в мартеновский цех подручным и одновременно на заочное отделение института.

2

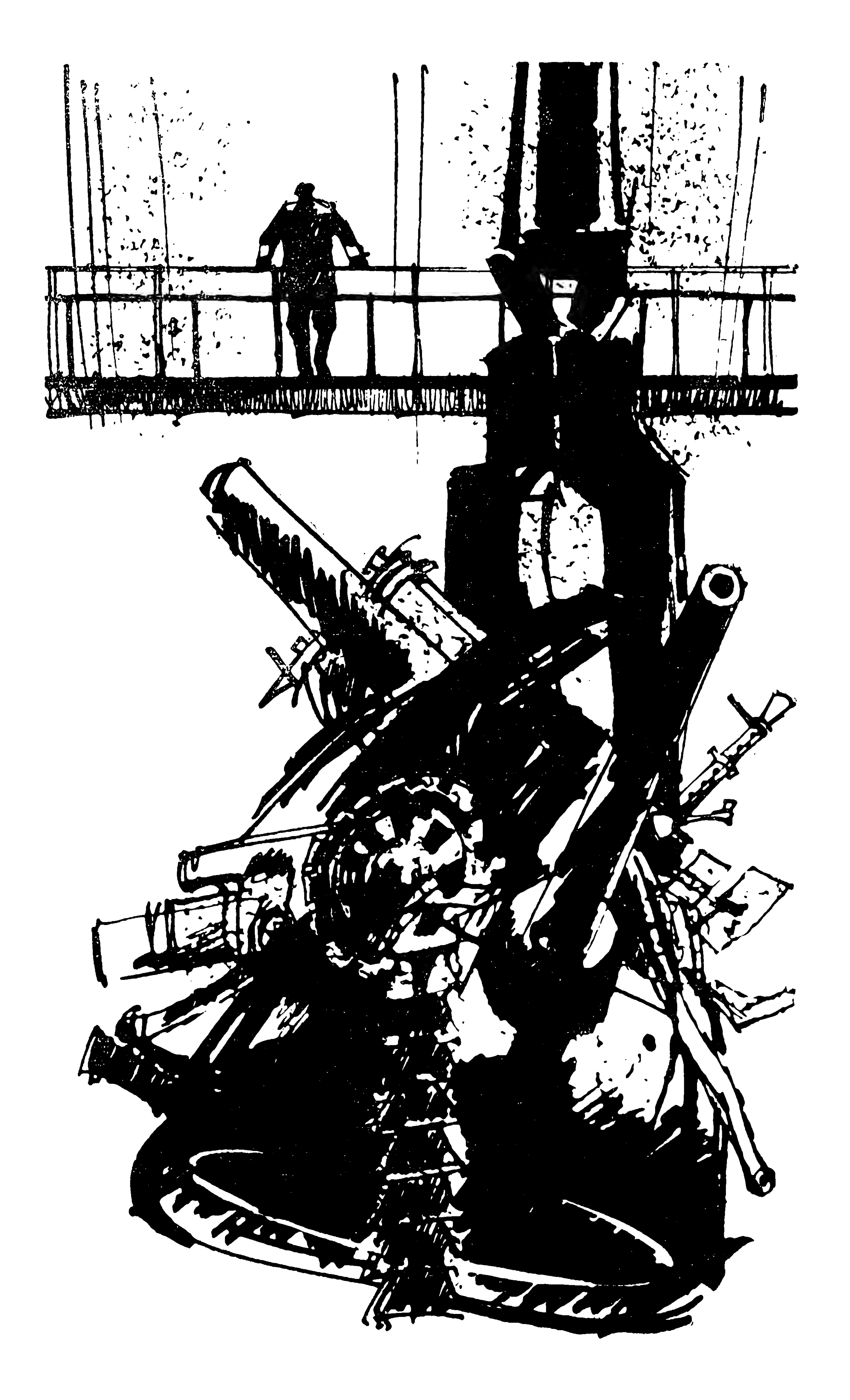
Итак, был полдень. Обеденный перерыв на заводе.

Петухов стоял на железном виадуке, пересекающем складской двор мартеновского цеха, и смотрел вниз, опершись грудью на перила. Два мостовых крана разгружали железнодорожные платформы, заваленные скрапом для переплава. Один кран был оборудован висящим на цепях электромагнитом, подобным гигантской океанской черепахе. К спускающемуся огромному диску электромагнита плотно прилипали целыми гроздьями крупные обломки металла. Другой кран с крючьями на тросах был приспособлен к подъему крупногабаритных тяжестей.

Обычно тут, на виадуке, Петухов ожидал Соню, пока она выйдет из конструкторского бюро завода, чтобы идти вместе в заводскую столовую.

Саид Нугманов был уже старшим сталеваром, и именно к нему поступил подручным Петухов. Бригадиром над ними стоял Гнат Бобко, бывший командир танкового взвода, донбассовец, оставшийся здесь после длительного лечения в госпитале. Отец Петухова, когда был жив, работал печником в мартеновском цехе, сын часто приходил к нему, и в памяти его отчетливо отпечатались все повадки, приемы сталеваров. И скоро Петухов мог уже самостоятельно работать горновым.

Соня подружилась с Саидой, и обе они поступили в



школу прикладного искусства, которой руководил ленинградский профессор, доктор искусствоведческих наук, утверждавший, что открыл для себя целый мир прекрасного в творчестве народа, увековечившего свой художественный гений в поэзии орнамента, придав камню гибкость и изящество кружев.

Профессор носил в своем портфеле завернутые в клеенку куски мяса и, где бы ни завидел кошек, подкармливал их этим мясом. Во время блокады он убил своего любимого кота, ободрал, сварил и, давая жене эти мясные порции, уверял ее, что получил кролика за работы по маскировке зданий, и этим спас жену от смертельной дистрофии.

Саид и Саида обращались к Григорию и Соне со словами «брат», «сестра», дети называли их не иначе как «уважаемые родственники», и всегда Нугмановы усаживали Петуховых на самое почетное место на ковре, и даже потом купили для них два стула и стол на базаре, ибо в доме не было мебели. Только в цехе Саид обращался к Петухову как старший к младшему, как сталевар к своему подручному. Если Григорий и Саид предавались фронтовым воспоминаниям, Саида бледнела, прикладывала ладони к ушам, умоляла:

— Не говори, Саид, мне страшно.

Саид самодовольно улыбался, говорил Петухову вполголоса:

— Любит, потому ей и страшно за меня.

В цехах за работой трудно было различить, кто есть кто, люди различались скорее по специальностям. Те, кто работал в горячих цехах, были смуглы, плечисты, скупы на излишние разговоры и походили на расчеты дальнобойных тяжелых орудий своей солидностью и особым достоинством. Шлифовальщики и лекальщики сутулились, ходили в очках. Сборщики отличались нервной подвижностью, потому что им приходилось итожить работу всех и доводить детали за тех, кто оказывался не на высоте квалификации.

Словом, на каждого профессия накладывала общий для этой профессии отпечаток. И только после работы по лицам, по одежде можно было, не ошибаясь, сказать, кто есть кто, да и то это скорее относилось к новичкам.

Если такое существо, как человек, сформировал труд, то понятно, почему в общем труде люди обретали всеоб-

щее в своем рабочем облике, во взглядах и миропонимании.

Такой завод с такими же людьми мог быть и на севере страны, и вообще в любом ее районе, но, естественно, преобладали бы местные, только и всего.

И если существует у каждого тоска по родным местам, то на заводе ее нельзя испытать, ибо каждый завод подобен другому, как и заводские люди на нем.

Петухов стоял на виадуке и смотрел вниз, вначале бессмысленно, томимый только ожиданием Сони. Но вдруг он увидел, как на крючьях крана повисла башня нашего танка с облезлой надписью на ней, а с диска электромагнита свесились звенья плоских гусениц с немецкой самоходки, куски ее брони, и к ней прилип разорванный ствол нашей противотанковой пушки. Все это с грохотом обрушилось в железные корыта цеховых вагонеток. И затем снова над платформами повис диск электромагнита, крючья мостового крана, выхватывая с них и советское и немецкое разбитое, разрезанное автогеном, некогда грозное смертоносное оружие, которое в мартеновских печах, сплавленное вместе, выльется потом белой сверкающей струей стали и обратится в те изделия, которые теперь обязан давать завод стране по номенклатуре мирного времени.

И все это было скрапом, железным ломом, металлическим хламом, оставшимся после войны. Утильсырьем для мартенов. Утильсырьем! А ведь для того, чтобы одолеть хотя бы одну вот эту немецкую самоходку, понадобилось столько жертв! А танк Соловьева с надписью: «Папе от Леночки», он был и святыней всей танковой бригады. И когда Соловьев таранным ударом сшиб паровоз бронепоезда, скольких он спас от орудийного и пулеметного огня бронепоезда! Или вон тот согнутый ствол противотанкового ружья, прилипший к плоскому пузу электромагнита, как все равно кусок водопроводной трубы. Сколько нужно было мужества, доблести, чтобы бить из него по приближающемуся танку, несущемуся, как скала, по склону, бить по нему, когда уже видишь совсем близко траки его гусениц, зеркально стертые о грунт и зеркально сверкающие своими бликами в глаза тебе.

Каждый раз повергнуть оружие врага было счастьем, потерять свое — горем. Потому что повергали ценой жизней и теряли свое вместе с жизнями.

Никогда с такой ясностью не представали взору памяти

те, кто остался на поле битвы, как сейчас, когда Петухов смотрел на этот вот металл, безразлично сваленный в мертвые, исхламленные кучи металлолома. Он испытывал ярость, обиду, был оскорблен тем, что наше бывшее оружие сейчас свалено в одну кучу. Польется новая сталь, и из чего будут отлиты новые мирные изделия, будет неведомо людям. Он впился руками в железные ржавые перила виадука так, что ржавчина под ладонями скрипела, шелушилась. Петухов ощутил внезапную боль в рубцах своих недавних и давних ранений, и пот слабости выступил на его лбу.

Подошла Соня, взглянула торопливо, встревоженно спросила:

— Ты что? Тебе плохо?

— Смотри, — Петухов мотнул головой на краны. — Видела как? Наше и фашистское сваливают в общий котел для варки, чтобы из него потом... — Не зная, что бы сказать пообиднее, бросил: — Кастрюли делать.

— Ну и что? Правильно! — сказала Соня. — Кастрюли достать нельзя, все домохозяйки мучаются, на базаре втридорога.

— Ты что? — яростно спросил Петухов. — Не понимаешь?

— Гриша! Но мы и для этого тоже воевали, чтобы людям жить лучше и легче.

— От кастрюль?

— От кастрюль тоже, без кастрюли обед не приготовишь.

— А тошнить не будет? Из какого металла, нашего или ихнего, они сошлепаны?

— В немецкой каске из концентрата кашу варил? Ели и похваливали. И не тошнило.

— Но не в своей же!

— И в своей сварили б. Но не положено свое армейское имущество портить.

— Хороша! — сказал Петухов насмешливо.

— Ты б лучше так подумал, — посоветовала Соня, — чем больше соберем металла с полей боя, тем больше пойдет в переплав. А потом, — она пожала плечами, — пройдет несколько лет, и не поврежденное наше оружие в переплав пустят — устареет, и все. Это же нормально!.. Были танки — станут тракторы или ножи, вилки, чайники, швейные машины... Да мало ли что! Вот кроватей нет. Люди на топчанах спят, это что, нормально? И сам ты

лезвие от безопаски все в стакане точишь — это что, правильно? Станки у нас уже устаревшие, надо новые, а из чего? Мы вот в конструкторском создали проект. Металла — дефицит. Канализации в городе нет. Водопровод только для промышленных нужд. А люди? Трубы из чего, из глины делать? Такие, как вот в раскопках, видели? Ну уж нет!

Дернула Петухова за рукав:

— Идем, есть хочу. — Усмехнулась: — Котлы в кухне немецкие. Нашли в металлоломе и приспособили. Если ты такой принципиальный, не ешь из них, ходи голодный. Но знай: тощий ты мне только на фронте нравился. А раз супруг, должен выглядеть солидно. — Нежно провела рукой по его щеке, произнесла тихо: — Я тебя понимаю, Гриша. Но нельзя только войной жить. Ты же для жизни воевал. Так? Ну и пошли.

Петухов шел, опустив голову, а за спиной его раздавались лязг, скрежет, грохот, вопли падающего в вагонетки мартеновского цеха металла.

3

Вообще-то на фронте Петухов привык к разноплеменному братству людей и лишь для удобства памяти запомнил, кто из бойцов какой национальности, и, если трудно выговаривалась фамилия, извиняясь, обращался только по имени. Характер каждого выявлялся в бою и в бою приобретал то всеобщее, что присуще советскому воину, какой бы он национальности ни был, и только на отдыхе по особенностям в облике, речи, по мечтам о доме можно было определить, где у кого его личная родина.

Но, поднимая в атаку, командир призывал:

— Вперед! За Советскую Родину!

И всем было ясно, что именно за всеобщую.

Всеобщность в армии особо ощутима каждым, ибо каждый за каждого идет на смерть. И если в начале войны бойцы держались еще землячества и выбирали товарищей, побуждаемые землячеством, то, обвоевавшись, сближались по характерам, по своим солдатским профессиям, по признательности за выручку в бою и еще по своим мирным профессиям, по общему для них интересу.

Это новое качество дружбы солдат Петухов считал делом само собой разумеющимся. И его дружба с командиром первого взвода Атыком Кегамовым возникла и окрепла на

почве того, что Атык Кегамов так же, как и Григорий Петухов, одинаково тревожился за людей, посылаемых ими в бой: все ли точно рассчитали они в организации боя, ибо любой просчет означал пожизненную вину за павшего. И, назначая на рискованную операцию группу, возглавляли ее сами, считая это скорей своим слабодушием — чтобы не переживать за других, — чем доблестным достоинством.

И Саида Нугманова Петухов приметил как смелого бойца, выдвинул бронебойщиком и полюбил за его душевную воспитанность, мягкость, с какой тот обозвавшего его «азиатом» пополненца из освобожденной западной области потом подружил с собой, взял вторым номером, сказав Петухову:

— Я же член партии! Он при Советской власти сколько жил? Пустяки. — Улыбнулся: — Делюсь опытом: мой отец по обету у муллы пять лет даром работал, его отец и сам он на помещика батрачили. Он и сейчас в бога верит, а я имею точные сведения — бога нет, а его служащие — жулики, как тот наш мулла. Давал отцу священное снадобье. Отец за исцеление обет дал. Оказалось, в аптеке мулла лекарство для него брал.

И на заводе Петухов не замечал, что тут люди из разных краев страны, потому что привык к этому на фронте, только и разница, что все в гражданском, а не в форменном обмундировании и от этого столь различен их внешний облик.

В цехе, во время работы, их лица обретали всеобщее выражение трудовой озабоченности, и чем углубленней человек был занят своим делом, тем больше он походил на других, столь же ревностных тружеников. Совсем как во время боя, когда, глядя на лица солдат, Петухов не всегда различал их, объятых общим выражением боевой ярости, ненависти к врагу.

Все годы войны завод выпускал оружие, боевую технику. Каждый рабочий приспособился к той операции, на которую он был поставлен, работая по десять и более часов, когда это было нужно фронту.

Оружие совершенствовалось, но для рабочих производство его почти ничем не разнообразилось. Это был беспрерывный труд, в сущности, по созданию одной и той же продукции, одних и тех же деталей, расчлененных на одни и те же операции.

Война кончалась, и нужно было переходить на мирное

производство. Но оказалось, что значительная часть рабочих, особенно станочников, так привыкла к массовому потоку одних и тех же типовых деталей, что новый характер продукции им сразу не давался. Нужно было перестраиваться и металлургам, и технологам, и руководителям, начиная с начальников цехов, кончая бригадирами.

Кроме того, одно дело, когда люди работали, сознавая, что идет война и они дают оружие, другое — когда война кончилась и надо делать сельхозмашины, метизы, гвозди, скобы, арматуру для строек, всякий ширпотреб. Эвакуированных тянуло домой. Чтобы остались, надо дать хорошее жилье, оборудовать его.

И возникла проблема — кровати!

Да, кровати. О них никто не думал. Спали на топчанах, в гамаках, на войлочных подстилках. Нужны кровати! И не только эвакуированным — даже из кишлаков пришли заказы.

Завод получил огромный заказ на кровати.

Конструкторы, которые создавали новое совершенное оружие, смущенно обсуждали наиболее рациональную конструкцию при максимальной экономии металла. Спустили в цех чертежи. А кровати делали так, словно не на заводе, а в кустарной мастерской, — небрежно, плохо.

Петухов стал парторгом в цехе, которому дали задание производить кровати.

Собственно, это был не цех, а складское помещение, наспех приспособленное под цех. Списанное, изношенное оборудование, уже было сданное в металлолом, изработанный инструмент, земляной, плохо утрамбованный пол, ни одного окна, днем приходилось включать свет.

Но рабочие не только от нищеты, ветхости, унылых сумерек цеха приходили в уныние. Они в этом цехе, который должен был производить кровати, испытывали нечто похожее на то, что испытал сам Петухов, когда смотрел с вершины виадука, как краны стаскивают с железнодорожных платформ бывшее грозное оружие, будто хлам, на переплав, чтобы из него, потом переваренного в чреве мартеновских печей, производились изделия вплоть до ширпотребовских.

Эти рабочие все годы войны являли подвиг самоотверженности, по десять-двенадцать часов не выходя из цеха, создавая оружие, без которого не было бы победы.

Маститые орденоносцы, знаменитые скоростники. Были и такие, кто работал у станков, стоя на ящиках, — школь-

ники, не окончившие школу. А ныне мастера-высокоразрядники. А их — к кроватям.

Они работали во фронтовых бригадах, взяв на себя обязательство выполнять свою норму и за тех, кто ушел на фронт.

Когда сдавали новые партии оружия, на заводском торжественном митинге выступали прибывшие с фронта воины и от имени армии благодарили их за самоотверженный труд — подвиг, равный ратному подвигу. А теперь — нате вам! Железные кровати!

Парторг завода, лысый, сутулый, который после войны продолжал привычно казарменно жить у себя в кабинете за матерчатой занавеской, сказал Петухову:

— Армия тебя демобилизовала, но не партия. Для всех после войны будет полегче, посвободнее в смысле дисциплины, но не для нас, коммунистов. Законы военного времени кончились. Входят в полную силу законы жизни, по которым мы Советскую власть строим. Все для людей! Вот высший наш закон, им руководствуйся, его и исполняй полностью.

Спросил, сощурясь:

— Ротой командовал? Так это слово «командовать» отставить! Понятно? Убедил — твое. Не убедил — значит партийно ты не обученный. По орденам — герой. Но у нас тут тоже свой фронт был. Получат похоронку, придут в цех и сутками не выходят, у станков падали. Полежат в сторонке или в медпункте — и снова за станок. Так что со смертельной душевной раной в строю оставались... Осторожно, бережно к людям подходи. Тут за многими есть такое человеческое, по-особому значительное, никакими мундирами и знаками не отмеченное, но для всего коллектива они как звезды светят... Для тебя, может, после фронта все как сплошной день, и не заметишь, кто нам и чем светил. Осмотрясь на людей, по лучшим курс и держи, тогда тебя все поймут, поддержат.

Петухов горестно пожаловался Соне:

— Сняли с мартеновского — на кровати, парторгом поставили.

Соня улыбнулась его словам, но потом спросила задумчиво:

— Помнишь? Входим в освобожденный населенный пункт, и всегда что страшно? Обвалившиеся после бомбежки стены, а с них свисают кровати, железные, в окалине, искореженные. Очень жутко было видеть, особенно

если детские, с обгоревшими сетками. И мы еще видели целую ограду из таких обгорелых железных кроватей, какая-то сволочь из них забор на своем огороде сделала.

Петухов сказал угрюмо:

— Однажды, когда в каком-то населенном пункте дрались, Бураков под танк со связкой гранат бросился. Мы его потом кое-как собрали, сложили останки в ванну и в ней его похоронили. Отступали, гроб некогда сколотить было, да и некому — отбивались.

Помолчали оба. Он и она.

Соня вдруг заявила решительно:

— И ванны тоже нужны! Но только кровати сейчас нужнее. Были в общежитии — на нарах спят, а в кишлаках — на кошме.

— Ну, это у них обычай.

— Обычай. А отчего обычай? Раньше кочевали, на кошме удобней, а потом стали спать на ней от бедности. На кроватях и лучше, и культурнее. Оружие на войне у всех было одинаковое, надо, чтобы после войны у всех все было как у всех. Нугмановы нам свою кровать отдали, соврали, что им на кошме привычнее. А это неправда, другой достать не могли.

— Ну, раз такое, на кровать больше не лягу, тоже будем на кошме, — объявил Петухов.

— Нет уж! — сказала Соня. — Теперь ты виноват. Не будет всем кроватей, значит, ты не справился. — Помолчала. — Вот домашняя хозяйка — всегда мне казалось в этом что-то стыдное. А как стала женой, побывала у семейных, чтобы поучиться. И знаешь, Гриша? Как всем им трудно! Кастрюльки латаные, и то не у всех, чай пьют из кастрюль этих же, чайников нет. Все изношенное, а одежду зашить — иголка на базаре столько же стоит, как баранья нога. У кого есть швейная машинка, на нее полулицы в очередь записываются. Даже ночью в саду при лампе на ней шьют. Всего всем не хватает. Это мы на фронте на всем готовом жили. Не знали, как тут мучаются женщины. Железа на ведра не давали, носили воду в деревянных. А это же двойная тяжесть, когда деревянное ведро, отсырелое. Оно почти столько же весит, как полное. Тут дерева мало. Лепили из глины корыта, сушили, и детей в них купали, и стирали в них. Как робинзоны, придумывали всякое, чтобы обойтись, справиться. А на заводе они же по самой последней технике самое совершенное оружие делали. Для завода все — как для фронта. Те-

перь надо, чтобы завод им послужил, для семей их, для них, как они ему сами для фронта.

Напомнила:

— Когда Конюхов с нами прощался, он что сказал? «Коммунист — всегда коммунист. В армии, дома, на работе. Партбилет, он не только в кармане — в сердце. Если за людей сердце болит, значит, тебе партия велит, чтобы такого не было».

Усмехнулась:

— Конечно, куда проще! Нет — ну и самому ничего не иметь. Нет кроватей — давай кошму. Это не по-партийному. Если хочешь знать, только черепаха так: чуть что — лапы, голову под панцирь и лежит камнем. Такая у нее специальность — только черепахой быть.

— А я что? Я тоже вот на совещании выступил, — оправдывался Петухов, — выступил резко принципиально. Указал: окна в цехах грязные, годами запыленные, от этого перерасход электроэнергии. Надо сменить сальники вентилей, не будет перерасхода пара, сжатого воздуха, воды, газа. Записали в решение.

— Выступил ты правильно, — задумчиво согласилась Соня, — но почему окна грязные? Уборщиков на заводе не было. Каждый после работы свой участок прибирал — это после ненормированного рабочего дня. И ремонтников тоже не было, каждый совмещал в себе и станочника и ремонтника. Каждая единица непосредственно на производстве. Слесарей-водопроводчиков и тех к станкам поставили или на сборку.

Помнишь, рассказывали, откуда они заранее знали, что готовится большое сражение по всему фронту? Если на каждое свободное место в цеху ставят топчан — значит, без выхода домой работа. Значит, жить на заводе, пока весь заказ на наступление не выполнят. И не ныли, а радовались, что столько фронту всего требуется, значит, быстрее войне конец... И когда салют, и сводка Информбюро — это для них как все равно и для нас: приказ Родины выполнен.

— Да что ты меня воспитываешь?! — возмутился Петухов.

— А я не для тебя говорю, для себя, — сказала Соня. — У нас вот в конструкторском конфликт, и борьба, и всякие неприятности. Спустили приказ на сельскохозяйственные машины. А чертежи на них прислали довоенные. Давайте быстрее и побольше. Мы с чертежей копируем — и

в цеха. Главный инженер, начальники цехов, технологи все переналаживают как бы заново, все линии после производства вооружения, а получается — для чего? Чтобы старые машины производить. Военную технику совершенствовали на ходу, а как сельскохозяйственную — сразу задним ходом к довоенному времени. Что, это правильно?

— А директор что?

— Про него говорят, что он дистанционно управляемая личность. Привык за войну, чтобы им только сверху командовали, а не сама жизнь приказывала. Что ни скажет, конвоем цитат из приказа обставит — и все! Как твой старшина Седелкин: «Положено — не положено». Так всю войну и прокомандовал.

— Седелкин у меня вождь был, все ротное хозяйство всегда на высоте: продуктопитание, боепитание, всякая отчетность, субординация и прочее, — заступился за старшину Петухов.

— Директор генеральское звание здесь без фронта получил. Но не то от звания командует, не то от характера. Наш главный конструктор — Герой Социалистического Труда! Но тут держался с директором, как все равно рядовой перед генералом. С нами говорил яростно, как тигр: нельзя, мол, устаревшие сельскохозяйственные машины производить, а пришел от директора, словно овца покорная, — согласился, дал указание копировать узлы для цехов с довоенных чертежей.

— Ну и правильно приказал директор! — резко сказал Петухов. Произнес грустно, озабоченно: — Пока вы будете тут канителиться, изобретать новые машины, люди вручную сеют, хлеб, как траву, косят. — Сказал строго: — Мы на бюро обсуждали: чтобы на мирную продукцию перестроиться, людей переучивать надо. Вот первое время на старом пусть для нового переучиваются.

— Значит, и ты будешь кровати делать, как все равно в базарной ремонтной мастерской — тяп-ляп! — воскликнула Соня.

— Ну это мы еще посмотрим! — угрожающе заявил Петухов.

4

Начальник нового, кроватного цеха рижанин Рудольф Карлович Гитманис положил перед Петуховым пачку бумаг, тяжко сел, сказал хмуро:

— Заявления об уходе. — Провел ладонью по коротко стриженной голове, несколько удлиненной к затылку, исполосованному белыми шрамами, пояснил: — Мотивы уважительные. Война кончилась. Эвакуированные желают домой. Второе: тех, кто производил мощное автоматическое вооружение, сооружение кроватей не увлекает. Третье: во время войны проблема быта была снята самой войной. Сейчас эта проблема острейшая.

— А по заводу?

— То же самое, — вздохнул Рудольф Карлович, погладил затылок. — Прибыл сюда как механик кондитерского производства. Поставили на сборку зениток. Стал специалистом в области машиностроения. — Развел сокрушенно руками: — Теперь поставили на кровати. — Оживился: — Но что такое кровать? Одни думают — это койка. Бывают двуспальные, полутораспальные, односпальные. Пружинные, комбинированные — пружины плюс железные полосы, с сетками, с накладными матрацами. Типов множество. Выписал все в блокнот. Нашел дореволюционные рекламы в старых журналах в городской библиотеке. — Заявил иронически: — Конструкторское бюро предложило нам койку! Экономичную, складную, остроумную по простоте технического оформления. Но это не мебель! — воскликнул он возмущенно. — Это прибор для спанья. Не для оседлой жизни. Не украшение в доме. Не прочное, уважаемое ложе—времянка!— с гневом заявил он. Склонился к Петухову, сказал внушительно: — Я участник гражданской войны. Латышские стрелки — слышали? Пулеметчик! Потом механик, создал ряд машин для производства кондитерских изделий. Затем... ну, я вам уже сказал. Но если... — он привстал. — Если койки, а не кровати!.. Извините! В Риге тоже нужны люди. У меня там комната, прописка. И моя супруга, как восточная женщина, не будет возражать против воли мужа. Куплю здесь ей шубу и уеду в Ригу, домой.

— Это что — ультиматум? — спросил Петухов.

— Не вам, а тем, кто навязывает нам складные койки под названием «раскладушка», годные лишь как больничные носилки.

— Вы сядьте, — попросил Петухов. Закурил, задумался, стал перебирать заявления об уходе с работы, потом сказал: — Рудольф Карлович! Люди живут плохо, тесно, жилья не хватает. Зачем же вперед наших возможно-

стей заскакивать? И рабочих тоже нехватка. Вот если бы максимально механизировать процесс производства, тогда мы сможем с минимумом людей обойтись. И накидаем этих раскладушек в оптимальном количестве. Дешево, удобно, места не занимают. — Сказал жалобно: — Ну пожалуйста, хоть как временное тактическое отступление перед стратегическим наступлением.

Рудольф Карлович сказал твердо:

— Ваша жена мне более симпатична, чем вы. Она принципиальный человек. И воюет за то, чтобы завод давал новую, усовершенствованную технику, а не возвращался к устаревшим образцам.

— Моя жена мне тоже нравится, — улыбнулся Петухов добродушно и вызвал своей этой улыбкой ответную на лице Гитманиса, до этого твердом, решительном, непреклонном. — Значит, договорились! — воспользовался он этой улыбкой Рудольфа Карловича, встал и стал горячо жать его руку, и тот вынужден был вежливо отвечать на это пожатие.

5

Начальник конструкторского бюро завода Игнатий Степанович Клочков был изнурен единственной своей страстью — знать возможно больше в той отрасли, которой отдал свою жизнь. Он бесцеремонно тотчас же забывал ненужное ему, а нужное прочно собирал и хранил в своей памяти, и для вспоминания нужного достаточно было ему доли мгновенья. Но лица людей, имена, фамилии не запоминал. Прищелкивая пальцами, морщась, говорил секретарше:

— Попросите ко мне, пожалуйста, ну, этого, знаете, который когда-то штамповку шестеренок предложил, из первого механического. Ну, он еще остроумно выразился: у вас не конструкторское бюро, а кладбище надежд...

— Игнатий Степанович! — упрекнула секретарша. — Но вы же Морозова к нам в бюро зачислили!

— Давно?

— Да уже несколько месяцев.

— Отлично! — сказал Клочков. — Так пусть зайдет.

Клочков был беспартийным, но на совещания в парткоме, когда стояли технические вопросы, его приглашали

обязательно. Он один позволял себе разговаривать с генерал-майором, директором завода, с бесцеремонностью, которую тот принимал за наивность человека «не от мира сего».

— Знаете, — сказал как-то Клочков, подперев подбородок рукой и задумчиво глядя на директора, — испытание властью за время войны вы выдержали без особых потерь. И человек вы умный, хотя и ничем особо не одаренный. Тем более от вас следует ожидать большей объективности. — Задумался, заявил вдруг обрадованно: — Представьте! В свободное время я стал как-то читать сочинения Ленина. Поразительно! В самые тяжелые времена жизни республики он просто категорически настаивал на том, что от вас, коммунистов, следует ждать большего внимания к задачам завтрашнего, а не вчерашнего дня. Я хоть и беспартийный, но этот упрек принимаю лично на свой счет.

— Это хорошо, что вы Владимира Ильича почитываете, — снисходительно одобрил директор. — Пора бы вам уже и подумать...

Директор, очевидно, собирался вновь, пользуясь случаем, спросить, почему Клочков все-таки не подает заявления о вступлении в ряды коммунистов, но тот перебил его:

— Именно, вы правы. Неотложно надо думать и решать, будем мы воспроизводить старые образцы сельскохозяйственных машин или создавать и производить новые.

Директор хитро улыбнулся.

— Что касается ваших раскладушек, приказом запустил в производство, хотя тоже не гениальная техническая новинка. Но, как говорится, по одежке протягивай ножки. Ширпотреб! Тоже с нас требуют. То были пушечки, а нынче кроватки, мясорубки, кастрюльки и всякая прочая хурда-мурда.

— С точки зрения технолога, между производством вооружения и сельскохозяйственных машин нет принципиального различия, — сказал Клочков. — Производить устаревшие сельскохозяйственные машины столь же недозволительно, как и устаревшие образцы оружия.

— Пожалуйста! — сказал директор. — Фантазируйте, сочиняйте, конструируйте, но пока у вас нет ни чертежей, ни наметок, а завод обязан дать машины — и даем. — Заявил твердо и решительно: — Сейчас фронт —

сельское хозяйство. Нужно не только свой народ накормить, но и народы тех стран, которые стали братскими нам. Так что вы меня, пожалуйста, Лениным по затылку не бейте. Если хотите знать, Владимир Ильич исходил всегда из конкретных исторических обстоятельств и в экономической и в технической политике.

— Позвольте! — встрепенулся Клочков. — Ленин гениальный ученый, и, как великий ученый, он всегда точно видел и предугадывал завтра. Это меня и восхитило и поразило своей глубиной и обширностью аргументации даже в свете естественных наук.

— Запоздали вы со своим этим «открытием», уважаемый Игнатий Степанович!

— Конечно, я несколько односторонен в своих познаниях, — с достоинством признал Клочков, — но восхищен искренне. — Нахмурился, спросил: — У вас будет какое-либо совещание в ближайшее время?

— Намечается, — вздохнул директор.

— Хочу предупредить — собираюсь очень резко осудить вас публично.

— Пожалуйста, — согласился директор, добродушно улыбаясь, но глаза его по-бойцовски угрожающе сузились. Добавил не то насмешливо, не то поощрительно: — Аудитория любит слушать о всяких воздушных замках, создаваемых вне пространства и времени. — Похвастал ехидно: — Сам я любитель научной фантастики...

6

Даже те, кого когда-то обидел директор завода, генерал-майор Алексей Сидорович Глухов, не смогли бы в раздражении сказать, что он с небольшими способностями достиг многого только благодаря сильной воле. Он действительно по праву считался руководителем большого масштаба, но достиг этого высокого положения не потому, что стремился возвыситься во всякого рода званиях. Это был человек в высшей степени самоотверженный, одержимый делом, которое ему поручали. Беспощадный прежде всего к самому себе, он, если совершал промах, докладывал о себе как о виновнике, с лютой суровостью, но безбоязненно к следуемому за это взысканию. Ему поручали всегда самые трудные, тяжелые объекты. Он планировал свое рабочее время не по часовой

стрелке и даже не по минутной, а по секундной. Работал, как тогда водилось, и ночами. Но даже в короткое время для сна не мог угомониться, громко храпел, ворочался, издавал чмокающие звуки губами, что-то бормотал и вдруг вскакивал, хватался за телефонную трубку, и отдавал приказание нормальным, бодрым, свежим голосом, и снова валился на койку, продолжая столь же беспокойно предаваться короткому сну.

О нем говорили: мужичок хваткий!

Это означало, к какому бы высокому лицу ни обращался бестрепетно, настойчиво и даже с грубостью, он добивался своего, получив ультиматум: «Ну, смотри, дадим. Но не справишься — партбилет на стол!»

Он поставил завод на пустынной окраине города, расселил эвакуированных, обзавелся подсобным хозяйством, чтобы кормить сытно людей, развел карпов в отстойнике технической воды. Он в равной мере с производственными нуждами отдавал свои силы, сноровку для того, чтобы наладить сносные условия жизни людям. Затем объявил:

— Все!

И целиком предался заводу.

Он любил людей, восхищался теми, которые, как и он, самоотверженно и одержимо отдавали себя труду, и не то что не любил, а просто не понимал таких, какие на подобное самозабвение оказывались неспособными. Комсомольцем ушел он на строительство Магнитки и с тех пор до самой войны возводил предприятия союзного значения, начиная с нулевого цикла и уходя только после сдачи государственной комиссии.

Многие наркомы знали его лично. Обращались к нему на «ты», как и он к ним. Но он считал, что имеет перед ними преимущество: они зависят от него, а он зависит только от себя самого — справится или не справится?

Долгие годы он кочевал с одного строительства на другое, как говорили чуть иронически, «с постоянной свитой». Но слово «свита» было неправильным по отношению к тем, с кем он за многие годы сработался, доверял как самому себе, знал, что они хоть и считаются с некоторыми крайностями его характера, но всегда в глаза скажут, в чем они с ним согласны, а в чем нет.

И когда соглашался с несоглашающимися из его «свиты», то произносил с той же угрожающей интонацией, с какой говорил ему самому нарком:

— Ну смотри тогда. Не справишься — партбилет положишь!

Только вот против главного конструктора Клочкова он был безоружен. Нет у того партбилета, и вообще спорить с ним трудно.

Как-то Клочков сказал ему задумчиво и рассеянно:

— Когда вы сидите во главе президиума на собрании, у вас такое выражение лица, словно вы не слушаете ораторов, а только принимаете от них рапорт.

— Ну и правильно! — отрубил Глухов. — Доложи, что плохо, без комментариев. Много рабочего времени на слова расходуем, непроизводительно. Время ораторов кончилось — давай дело говори, коротко и ясно.

Клочков бесцеремонно потянулся в кресле, вызывающе зевнул.

— После вас никакого воодушевления не испытываешь, а вот наш парторг ЦК человек увлекательный, зажигает.

— То есть как это от меня нет воодушевления? — возмутился Глухов. — А кто вас на Героя представил? Я.

Действительно, когда сверху сообщили, что завод может представить кого-нибудь достойного на Героя и есть положительное мнение о нем, Глухове, он заявил:

— Нет уж! Если так — давайте Клочкову. У него эмоции и всякое такое творческое переживание. Мне его стимулировать надо на изделие Д-7-68. Не выдам изделия — мне же вы башку и оторвете. Категорически прошу его кандидатуру поддержать!

И поддержали.

После опубликования указа Клочков пришел к Глухову ошеломленный, растерянный, спросил подавленно:

— За что же это, Алексей Сидорович? За что?

— А я почем знаю? — буркнул Глухов, не отрывая глаз от бумаг. Добавил ехидно: — Значит, верят! Ждут безотлагательно Д-7-68. Выходит, в порядке аванса! — Поднял глаза, заявил свирепо: — А не справитесь в срок, не вам, а мне по шее! Такая вот у нас техника. Руководитель за все и за всех в ответе.

Законы военного времени дали огромную и широко простирающуюся власть директору оборонного завода. Но не будь даже таких законов, самое время войны повелительно и необходимо на каждого за что-либо ответственного возложило высшую ответственность и право

ею пользоваться, как и любому командиру на фронте. Ибо вся страна стала фронтом. И, как на фронте, приказ директора был равен директиве военачальника. И все понимали, что иначе быть не может, ибо цех был как бы продолжением позиций, на которых шли бои.

Война кончилась, нужно было с ходу переключаться на производство мирной продукции. Но трудность заключалась не только в перестройке всей технологической схемы производства. Не только в том, что значительная часть эвакуированных уезжала обратно на свои прежние заводы. Не только в том, что остающимся нужно было наладить быт не временной, а постоянной жизни по нормам довоенного времени. И даже не в том, что надо переучивать рабочих многих специальностей на новый тип изделий. Конечно, правы те, кто требует, чтобы конструкторское бюро, лучшие его силы были направлены на создание новых, совершенных образцов сельскохозяйственных машин. Конечно, нехорошо после войны выпускать довоенные образцы. Кто этого не понимает? И то, что Клочков сейчас с воодушевлением возглавил работу над новой широкозахватной сеялкой, которая будет с точностью автомата высаживать на должную глубину каждое зернышко и на должной дистанции бережно для корней и экономично отсыпать строго определенную дозу удобрений, — это замечательно, нужно. Народ должен быть сытым. Победа должна быть во всем. Но...

Глухов, как и другие в стране люди, сквозь розовую зарю победы над гитлеровской Германией ощущал и другое, опасное, угрожающее. Он также знал, что скрап для мартенов, поступающий сейчас на завод, — это не только останки оружия, искалеченного, поврежденного в бою, но и наше, нестреляное, не поврежденное в боях, но отданное в металлолом оружие уже успевших устареть систем, и оно будет устаревать дальше.

В министерстве Глухов был на закрытом информационном совещании, на котором выступил в новеньком заграничном модном костюмчике человек не из их ведомства, по фамилии Лебедев. В осторожных словах, как бы боясь сказать лишнее: «Извиняюсь за то, что в инженерном деле не осведомлен достаточно», — сообщил он о новых образцах оружия, которое сейчас или находится в стадии испытания, или уже поступило на вооружение бывших союзных армий. Давая технические и боевые характеристики такого оружия, он обнаружил, вопреки

своему предварительному заявлению, большие инженерные познания, и весьма тонкие. Отвечал на вопросы кратко.

— Ряд незавершенных перспективных проектов военных конструкторов фашистской Германии сейчас в стадии завершения на Западе. Мы располагаем прогнозирующими данными, так как кое-какие материалы захватили при наступлении. Некоторые наши образцы стали также предметом для использования зарубежными конструкторами. Союзники сдерживали возможности производства наиболее интересных и перспективных своих систем во время войны, рассчитывая лишь после войны приступить к серийному производству. Как вы знаете, в связи с ядерным оружием западная пропаганда утверждает, что любое обычное оружие устарело и неэффективно. Лично я полагаю, — сказал этот Лебедев, — я лично, — повторил он, как бы подчеркивая свое право на особое мнение, — здесь не исключен момент и дезинформации. Из вышесказанного следует, что значительные средства бюджета на Западе идут на совершенствование обычного вооружения, на усиление его мощи, подвижности, дальнобойности, на создание новых оригинальных систем. Хотя, — он потупился, словно пряча хитринку в глазах, — не менее, а более оригинальные системы у нас уже созданы, но в серийное производство не запущены. — Улыбнулся: — Как вы сами понимаете, после полной и безоговорочной капитуляции противника — ни к чему!

Затем была заслушана информация о международной обстановке, потом министр поблагодарил докладчиков, а сам сказал всего несколько слов:

— Директивы по производству новой, мирной продукции вами получены. План ее производства должен быть выполнен столь же неукоснительно, как и прежде по вооружению. — Огляделся, сощурясь, произнес твердо: — Все!

Директора долго не расходились из кабинета министра. Многие годы они работали с ним, также бывшим директором завода, таким же, как и они, опытным и маститым оружейником. Было известно, что, когда он был еще директором, его обвинили в злостном срыве заказа по производству нового авиационного пулемета... и Сталин бросил пренебрежительно реплику:

— Интересно, чем и где вы будете теперь оправдываться?

— Пулеметом на полигоне!

— Когда?

— Хоть завтра!

Сталин приехал на полигон. Пулемет, прежде чем вынести на стенд, продували пылью с песком. Затем, закутанный в соломенный мат, несколько раз сбросили с вышки и только после этого поставили на огневую позицию. Очередью его были срезаны не только мишени, но и столбы, на которых они стояли.

Сталин, не прощаясь, уехал. На следующий день пришел приказ о назначении директора завода замнаркома.

Он был из династии ижевских рабочих-оружейников, повадки маститого мастерового не покидали его. Если и говорил, только кратко, о деле, и побеждал часто своей упорной молчаливостью, когда ему угрожало всякое. Молчал упорно при разносах, выждав, говорил: «Теперь конкретно по линии механики ваши предложения», — и молча ждал, пока минует буря угроз, предупреждений, и снова повторял: «Так, значит, конкретно что?»

Он обладал той духовной выносливостью, самообладанием, без которых нельзя быть ни хорошим солдатом, ни полководцем, ни наркомом...

— Вы что, конструктор? — спрашивали Лебедева после совещания.

— Нет.

— Значит, вооруженец?

— Нет.

— Военный атташе?

— Нет.

— И не в нашем министерстве?

— Нет.

Попросив разрешения у министра, Лебедев подошел к телефону, набрал номер и сказал заискивающе:

— Оленька! Я уже! Через двадцать минут дома! — И быстро, кивком попрощавшись со всеми, ушел.

Пожалуй, если б Петуховы встретили Ольгу Кошелеву на улице, они не узнали б ее. И не потому, что она пополнела, отпустила волосы и соорудила из них пышную прическу. Дело в том, что у нее были оба одинаково красивых глаза, серые, в золотистых крапинках. Но если бы

Петуховы подошли к ней с левой стороны, она бы не обратила на них внимания, не заметила их. И не потому, что не узнала, а потому, что левый глаз был стеклянным протезом.

Но, когда Лебедев уезжал в длительные командировки, она носила на глазу черную повязку. Вот с такой повязкой Петуховы сразу бы узнали в этой даме Ольгу Кошелеву.

7

— Я не только умный, я хитрый, — иногда шутя говорил о себе Глухов самым близким и доверенным.

Действительно, после закрытого совещания у министра он на бюро обкома партии великодушно предложил поручить его заводу ремонт и восстановление изношенной, пришедшей в негодность сельскохозяйственной техники, а также оборудования МТС, пообещав даже снабдить МТС кое-какими станками со своего завода. Но тут же, когда его предложение с воодушевлением было принято, попросил озабоченно:

— Только вы уж, пожалуйста, по своей линии зайдите наверх, чтобы это дело мне в план включили. — Похвастал: — Дадите хлам — вернем машины как новенькие.

У себя на заводе на производственном совещании он говорил притворно несчастным голосом:

— Товарищи, не я прошу. Земля требует! Хлеб! Люди! Надо! Помочь надо в ремонте сельхозмашин. Через силу, а надо. Министру не докладывал. Как скажете, так и будет.

Все уже давно привыкли к повелительному, приказному тону Глухова и были удивлены тем, что он просит, а не приказывает.

Обычно он всегда вставал, когда отдавал приказание «по-генеральски»: кратко, резко, рубя фразу. И сам он получал распоряжения, непререкаемые, как боевые приказы.

Он превосходил здесь всех опытом, организационной хваткой, волевым характером, а его самообладание было под стать храбрости. Всем этим он подчинял себе и привык подчинять. Его считали Личностью! И он считал себя Личностью. Но с ходом времени на заводе выявились тоже личности, менее охотно подчинявшиеся его

ультимативно звучащим приказаниям, и по ходу дела они вносили от себя в эти приказы нечто такое, против чего трудно было возражать, и для соблюдения своего авторитета лучше было делать вид, будто это новое исходило частично из самого содержания его, глуховского, приказа, хотя это было далеко не всегда так.

Подобно тому как в армии в начальный период войны подчас многое решала самоуверенная воля имеющего за плечами опыт гражданской войны командира и только затем, в ходе сражений, обретя современный опыт войны, стали созревать командиры, смело, уверенно применявшие новые способы ведения боя, выраставшие в полководцев нового типа, в которых отчетливо обозначались черты, необходимые для командиров и армии будущей, так же и в промышленности за годы войны обретали зрелость, черты дерзкого новаторства, инженерного научного мышления производственники, получившие образование, не покидая производства, способные быть и организаторами людей, и творцами новой техники.

То, что Глухов умен и хитер, в данной ситуации выразилось в том, что он заметил, ощутил, как все больше выявляют себя люди, не покорствуя сложившейся технологии, дерзко вторгаясь в установленное и храбро решаясь на то, что в условиях военного времени грозило при неудаче весьма тяжелыми последствиями. Но как на фронте героизм одного вызывал на героизм всех, так и здесь, на заводе, производственная храбрость одного увлекала других. Среди инженерно-технического состава, как и среди рабочих, выделились личности незаурядные, авторитетные, к словам и мыслям которых не только прислушивались, но даже, бывало, вопреки сомнениям директора, поддерживали их начинания и самоотверженно достигали высоких результатов. И Глухов вынужден был, как бы по своей инициативе, поддерживать таких людей, повышать в должности, поощрять, иногда даже рискуя своей должностью в случае неудачи. Но он предпочитал потерять свою должность, чем потерять такими трудными рабочими годами добытый свой авторитет, который он и поддерживал этой своей дальновидностью, хотя, в сущности, знал: придет время — и кто-нибудь из этих новых сменит его на посту директора.

Он постигал все это своим жизненно мудрым умом и, будучи умным, не сопротивлялся этому процессу, а содействовал ему. И именно это-то он и считал своей хит-

ростью, ибо отчетливо понимал: если б не содействовал смело выдвижению, вплотную к своей должности, наиболее одаренных, то рано или чуть позже, лишившись их поддержки, он оказался бы один и, значит, списанным, подобно тем еще боепригодным орудийным системам, которые сданы на переплав на завод не потому, что они негодны, а потому, что не соответствуют современным перспективным требованиям, предъявляемым как к оружию, так и к человеку.

Поэтому-то Глухов и перестраивал свою систему личного управления на нечто другое, пока ему еще неведомое, но необходимость которого он чутко и небезболезненно ощущал. Он шел осторожно, как бы озираясь, ища для себя новый путь и способ руководства коллективом.

Конечно, это был не новый способ — призвать к энтузиазму, к сознательности, чтобы помочь сельскому хозяйству отремонтировать сельскохозяйственные машины, оборудование МТС. Но новым было для Глухова то, что он просил коллектив, а не приказал ему, опираясь на решение обкома партии. Хотя мог приказать. Отдать приказ — и точка!

Ведь никто еще сразу после войны не отучился мгновенно подчиняться приказу. И все-таки Глухов опасался из-за того, что просил, а не отдал приказ, сам привыкший повиноваться приказам. Конечно, он несколько схитрил на бюро обкома. Во-первых, он сбудет в МТС устаревшие и довольно-таки изношенные станки. Во-вторых, если ему в план включат ремонт сельхозтехники, он выиграет время на то, чтобы конструкторы «поколдовали» над ее модернизацией, и, значит, не будет выпускать устаревшие образцы. В-третьих, пока будут вестись ремонтные работы, он переоборудует и переналадит основные цехи. В-четвертых — а это для него было сокровенным, мечтательно жадным, — если списывают устаревшую боевую технику в армии, то кто-то же должен производить новую.

Не случайно он спросил этого Лебедева после информационного совещания у министра, слышал ли тот о боевой системе Д-7-68.

Лебедев ответил:

— Знаю. — И заметил как бы между прочим: — За рубежом в этом направлении тоже ищут решения.

Глухов попросил жалобно:

— Если по этой линии есть информация, будьте любезны — через нашу секретную часть. — Приложил руку к груди: — Буду чрезвычайно признателен.

Однако спустя некоторое время в секретную часть завода стала поступать техническая информация по зарубежным источникам, в сущности, ничего нового не дающая. Но Глухов каждый раз знакомил с этой информацией главного конструктора Клочкова, спрашивал:

— Ну как?

Клочков быстро пробегал глазами, произносил небрежно:

— Саморекламная ерунда.

— Доллаpишки-то они умеют считать, — сказал както Глухов. — Раз тратят — значит, дело стоящее! — Дразня, заметил: — Всяких гениев они со всей Европы к себе закупили, теперь где уж нам уж! — И, пытливо глядя в глаза Клочкову, помедлив, произнес: — Слава к вам с Д-7-68 и ногами и руками в дверь ломится, а вот открыть ленитесь. — Сказал задумчиво: — Я понимаю — сеялка. Как говорил кто-то: «Сейте разумное, доброе, вечное, и спасибо вам скажет народ». Верно — спасибо вам, Игнатий Степанович! Машина, уверен, будет замечательная. — Сказал скорбно: — Я понимаю, Д-7-68 фактически устарела. — Кивнул головой на информационные справки: — Разве угонишься! Нет Д-7-69 или, скажем, Д-7-70 усовершенствованных. На старых образцах пускай допризывники учатся. Только, извините, где логика? За то, что я хотел устаревшую сельхозтехнику выпускать, все на меня кинулись, ополчились. А вот вы в неприкасаемых! Не желаю, и все. А может, кишка тонка? Сеялка, хоть и усовершенствованная, куда проще. — Спросил ехидно: — А чего звездочку Героя не носите? Она не тускнеет от носки. Чистое золото! — Закряхтел притворно: — Это мы только тускнеем от возраста, от благополучия и наступающего благоденствия, — Усмехнулся: — Теперь ведь что! Перекуем мечи на орала! Только на их кузницах другое. Куют, но не орала. А как это? «Эффективное оружие массового уничтожения». Пых! И испарился при чрезвычайно высокой температуре. Только разве что гигиенично — никаких остатков.

Клочков рассердился:

— Вы что же, человечество за сборище идиотов считаете?

— Человечество я уважаю! — сказал Глухов. — Но пока он есть, я лично себе голубиные крылышки прилаживать не собираюсь.

— Кто это «он»? — резко спросил Клочков.

— Империализм, дорогуша! — сладко улыбаясь, объявил Глухов. — И он свои фортеля еще выкинет. Война знаете что? Высокоорганизованная форма насилия. А он никогда смирным не был и не будет. Чуть где у кого слабинка — хап за глотку и скушает. И сейчас у него на нас аппетит не прошел. Уж очень, знаете ли, мы ему малосимпатичны. Но тут ничего не скажешь — обоюдно. — Заявил решительно: — Так что от своей специальности я не отрекаюсь: был оружейником и останусь им. Надо орудия труда производить? Надо! Но караулить плоды труда народа тоже кому-то положено. Они свои зубы на полку не кладут, и я тоже не собираюсь...

8

Глухов, ссылаясь на трудности перестройки завода на новую продукцию, на уход с предприятия значительной части эвакуированных, вымолил в министерстве дополнительные средства и использовал их на механизацию внутрицехового транспорта, погрузочно-разгрузочных работ. Освободившихся грузчиков, разнорабочих, занятых на доставке из цеха в цех заготовок, литья, поковок, штамповок, зачислил на вечерние курсы переквалификации, днем использовал их как подсобников на переоснастке цехов.

Для ремонта сельскохозяйственных машин отвел площади внутри заводского двора, установив армейские прожектора для освещения ночной смене. Он совершил длительное путешествие по колхозам и там в порядке братской солидарности выпросил дополнительные закупки для своего орса, наладил усиленное питание рабочих, и, кроме того, каждому выдавались ежедневно сверхнормативные пайки, заранее расфасованные работниками орса.

Весь завод он украсил транспарантами с красочными изображениями разного рода сельскохозяйственных машин. И даже в своем кабинете убрал красивые металлические миниатюрные модели оружия, которые недавно производил завод, и заменил их на миниатюрные модели сельскохозяйственных машин, как украшение и рекламу нынешнего производства.

Кроме того, в кабинете стояла на видном месте раскладушка. Тоже как свидетельство нового направления производства.

На заводском полигоне, где прежде испытывалось оружие, теперь проходили ходовые испытания сельхозмашины перед сдачей заказчику. Как и во время войны, Глухов планировал свою работу не по часам, не по минутам, а по секундам. И на стене у него был вывешен график изготовления множества новых наименований деталей, на обработку которых потребно строго определенное время. И, сверяя его со своим строго расписанным, он жил этим временем, и оно было его жизнью, делом и смыслом всей его жизни.

И, очевидно, он не лицемерил, когда убежденно говорил на директорских совещаниях:

— Для нас нет никакой поблажки после войны. Раньше делали оружие, а теперь орудия труда. Без хорошего оружия не было бы победы. А без сельхозтехники, тоже качественной, во всем комплексе победа тоже не получится, которую народ заслужил по всем статьям жизни. И если мы, оружейники, качественную мирную технику не дадим, так тогда мы не оружейники, а только своей специальностью прикрывались, чтобы на фронт не идти. А сейчас хлеб — фронт. Значит, кто мы теперь? Как всегда, фронтовики!

Однако свои любимые цеха — первый и второй механический, где у него была собрана рабочая элита, самые даровитые мастеровые, — он усилил новыми станками, приспособлениями, создал две новые конвейерные линии, но не пускал их на полную мощность, так же как и самоновейшие станки — под полную нагрузку, говорил: «Вот наладим серийное производство новых машин, тогда и включим все наши возможности на всю катушку!» Но хотя это было экономически и невыгодно, он настоял на том, чтобы сохранить точность обработки деталей по тем нормативам, которые были назначены для производства оружия. Допуски для сельскохозяйственных машин были значительно ниже, но Глухов категорически заявил:

— Снижать класс и людей разучивать не позволю, пока я тут главнокомандующий.

Возможно, Глухов не знал изречения Карла Маркса о том, что «бывают в жизни моменты, которые являются как бы пограничной чертой для истекшего периода вре-

мени, но которые вместе с тем с определенностью указывают на новое направление жизни». Но он чувствовал и сознавал, что такой рубеж наступил и для него самого. В годы войны все было повелительно подчинено единой и всеобщей цели — победе. И каждый подчинял себя этой всеобщей повелительной цели. И все в человеке подчинялось ей во имя ее самой. Она была всевысшим, главным законом жизни. Из этого закона исходили приказы, Глухов подчинялся этим приказам, и сам приказывал, и требовал неукоснительного им подчинения и исполнения их.

Вся страна стала единым фронтом, повинующимся единой цели — победе!

А вот теперь надо налаживать жизнь для всех людей по тем законам жизни, которые составляют сущность того, во имя чего была совершена Великая Октябрьская социалистическая революция, первая в мире, — во имя людей, во имя их наилучшей жизни, во имя того, чтобы человек стал лучше и жилось ему лучше.

Конечно, и в годы войны он помогал тем, кого постигло горе потери близких, кто нуждался в помощи, но именно помогал, помогал с расчетом на то, чтобы не терять лучших производственников. Помогал сам лично, приказывал орсу, поликлинике, жилотделу, интернатскому начальству, комендантам общежитий, завкому. Он сам, лично!

И его считали отзывчивым.

Но ему самому доставляло удовольствие мгновенно решать те вопросы, с которыми, волнуясь, стесняясь, приходили его люди. Молча выслушав сбивчивые, смущенно изложенные просьбы, он брал телефонную трубку и приказывал: «Сделать!» Спрашивал потом:

— Ты слышал? Значит, все!

И человек уходил взволнованный, благодарный.

А вот ныне к нему мало кто приходил с личными просьбами. И дело не в том, что нужды в них стало меньше, пожалуй, даже больше. Но завод переключился на производство той продукции, назначение которой могло облегчить жизнь всем, помог накормить изголодавшийся народ. Люди завода понимали, что это сейчас всеобщая нужда и они все за нее в ответе. Все!

Завод перестраивался, не хватало людей, и тех надо было переучивать на новую продукцию. Ремонтировать изношенные сельхозмашины — это не то что организо-

вать серийное производство. Вся четко налаженная поточная система рассыпалась в этих ремонтных работах, которые не поставишь на поток, не вгонишь в четкий график, не уложишь в строго последовательную пооперационную схему. А тут захлестывает «самостоятельность»: предложили наваривать изношенные детали, создать комплексные бригады по узлам, послать в МТС бригады слесарей. Что ни совещание — полемика. Например, приглашают в завком, выносят решение — обязать директора выделить средства и оборудование в заводской техникум.

Его обязывают! Кто? Завком!

На бюро парткома упрекнули за то, что до сих пор не рассмотрел проекты новых машин, предлагаемые конструкторским бюро.

— Сначала пусть согласуют с министерством! — буркнул Глухов. — Как вам известно, я не специалист по сельскому хозяйству. Оружейник!

— В таком случае ставьте вопрос о заместителе по производству сельскохозяйственных машин.

Даже в обкоме первый секретарь, который обычно обращался к Глухову по военному званию, сказал:

— Алексей Сидорович! Может, вас на бюро послушать? Собрали б хозяйственников, посоветовались бы. Трудности у нас у всех общие. — Помялся. — И вообще надо больше советоваться. Знакомились с протоколами директорских совещаний — как штабные документы. «Приказ отдал таким-то... Принять к исполнению таким-то...» Но бывают и разные мнения. Следует прислушиваться, давать возможность высказаться.

— У меня деловые совещания, а не дискуссионный клуб! — сердито заметил Глухов.

— Так можно не только мимо стóящих предложений проскочить, но и перспективных людей не заметить, ориентировку в кадрах потерять, — сказал секретарь обкома.

— Это что? В порядке предупреждения?

И Глухов поднялся со стула, выпрямился, побагровел.

— Я и к себе это отношу, — мягко сказал секретарь обкома. — По понятным обстоятельствам запустили работу по ряду отраслей. Надо энергичных, инициативных людей на них выдвигать, а главное наше внимание было к тем, кто на оборону работал...

Глухов за последнее время похудел, прямо-таки ото-

щал, стал раздражительным, мнительным и вздрагивал при каждом звонке телефона ВЧ, чего раньше с ним никогда не было. Но когда министр, чувствовалось по голосу, улыбаясь, сказал: «А раскладушки ваши стали популярны, большой спрос», — Глухов так обрадовался, как в годы войны радовался, получая благодарность от самого Верховного...

Автоматизированную сеялку Клочкова после испытаний и ознакомления с экономическими расчетами по ее производству забраковала государственная комиссия: дорого, сложно, ненадежно в эксплуатации, кроме того, для управления ею и отладки нужен высококвалифицированный механик.

Это огорчило и Глухова и Клочкова. Правда, после завершения ремонта сельхозтехники завод приступил к производству двух новых типов сельскохозяйственных машин, хотя еще и далеких от совершенства, но все-таки несколько отличных от довоенных. План на них заводу спустили посильный.

По поводу чего Глухов изрек:

— Директор о чем мечтает: получить план поменьше, капиталовложения и фонд зарплаты побольше. Инстанция — дать план побольше, капиталовложения и фонд зарплаты поменьше. Как же тут не изворачиваться! А все равно поставят тебя по команде «смирно» — выполняй с присыпкой.

9

Петухов не захотел быть освобожденным парторгом, попросился подручным рабочим к трубогибочной машине для изготовления рам раскладушек. Старшим над ним был Петрусь Липко, двадцатилетний паренек из Витебска, уже имеющий пять лет производственного стажа.

Вообще-то в цехе всего четыре человека среднего возраста, включая самого Петухова, остальные — молодежь или пожилые и много женщин. Если можно так сказать, Петухов «вырос» на фронте, там сложился его характер, взгляды, уважение к людям, вера во всесилие людей, одержимых общей целью.

Пора юношества была у него укорочена войной. Ведь

мерой жизнеопытности на фронте считался не возраст человека, а его боевой опыт.

Поэтому, хотя Петрусь Липко и был моложе на год, он казался Петухову значительно старше его, превосходя своим производственным опытом, рабочей сноровкой. Он терпеливо обучал Петухова владеть машиной, спокойно, снисходительно относясь к его неловкости так же, как потом к успеху. И, отделавшись после обучения от Петухова, перешел на сверловочный станок, где под руководством Гитманиса создал приспособление для того, чтобы на трубах для рам раскладушек с одной операции, разом производить все отверстия для зацепов брезентового покрытия.

В цехе Липко вел себя молчаливо, строго сдержанно, с той бережливостью рабочего времени и своей энергии, как и пожилые рабочие. Работал за станком уверенно, с кажущейся изящной небрежностью, но можно было заметить: на висках туго набухали вены, влажно блестел лоб.

Петухов чувствовал, что к нему здесь многие, не только Липко, относятся так же, как относились к пополненцам солдаты его роты, бывалые фронтовики.

Словно бы он проходил проверку: станет ли кичиться перед ними — он фронтовик, а они тыловики? Он парторг, но понимает ли он подвиг труда повседневного, однообразного: изо дня в день рубить на доли толстую оцинкованную проволоку, сгибать ее, штамповать отверстия в плашках, склепывать их так, чтобы суставы ножек раскладушек свободно двигались, не туго и не слабо? И каждое движение в долях секунд рассчитано привычно, неукоснительно, в глубокой сосредоточенности, с той тонкой чувствительностью, какая дается особым ощущением инструмента, как продолжения твоих рук, кисти, пальцев.

И каждый раз, приходя в цех, нужно было преодолевать первоначальную неловкость, чтобы потом, погружаясь в работу, уже не замечать, не думать, а как бы только отдаваться целиком привычному самоналаженному, самонастроенному движению рук, пальцев, чующих детали, почти механически отбрасывающих негодную заклепку или плашку, предаваясь самодисциплине труда с тем самозабвением, когда утрачивается счет времени.

Понять вот это состояние мог только тот, кто сам испытывает в труде такое самозабвение. Но легко ска-

зать — самозабвение. У каждого здесь своя жизнь, полная разного, и не всякий способен преодолевать каждодневно то, что тяготит его, то, что у него на душе или дома неладно. Устранить производственные неполадки проще и легче, чем неприятности, сопровождающие жизнь человека. И люди в цехе пытливо ждали, с чего начнет свою деятельность их новый парторг.

И Петухов понял это, почувствовал.

Он помнил, что Конюхов, приходя к нему в роту, сначала долго не выступал с политбеседами по положенной программе. Он приходил и просто разговаривал, и не со всеми разом, а так, то с одним, то с другим солдатом. Рассказывал о себе с тем, чтобы вызвать у бойца желание поведать о себе. И на войне Конюхов говорил много не о войне, а о жизни всех и каждого в отдельности. Учил не как надо воевать, а как надо жить, учиться лучшему в жизни, чтобы потом лучше жить. Говорил, болезненно морщась:

— Война нам, конечно, помешала достичь того, чего мы могли достигнуть,— всего нам нужного и должного. Мы вот сейчас наступаем всем фронтом, превосходим противника многократно. К весне войну кончим. Но хорошо бы сразу после войны тоже вот так, как сейчас, развернуто переходить в наступление на все, что не доделали, чтобы победа была не только на фронте, а во всем для всех. — Говорил, удивленно оглядывая собеседников: — Странно, конечно: война не кончилась, а мы вот о будущем толкуем, — значит, такие мы люди верящие. — Говорил доверительно: — Стараться понять врага — это, конечно, не значит быть с ним согласным. Но вот на что он рассчитывал? Коллективизация, индустриализация как нам тяжело дались! На оборону огромные средства от самых жизненных нужд отрывали. Классовая, внутриполитическая борьба — она шатала. Ведь «кто кого?» вопрос стоял! Потом фашисты думали, что рассыплемся мы оттого, что разных наций. А взять хотя бы ваше подразделение — сколько здесь солдат разных национальностей! И воюют, каждый не за свою саклю, дувал, хату, избу, дом, квартиру, а за общее. — Говорил задушевно: — Сорок первый — самый трудный, самый страшный год. Но самый многозначительный для коммуниста тем, что ни в чем убеждения свои советский народ не утратил, не пошатнул и на такую высоту их поднял, что сквозь все века светить будут. И это, по-

моему, главная и высшая победа партии, потому что такими едиными мы вошли в войну, такими в ней выстояли и победили, потому что до этого победили трудное в себе самих, что равно рождению совершенно нового в человечестве — общежития народов, начатого нами и установленного нами на земле на все времена. А вот вам и факты, — и Конюхов кивал на Сковородникова, бледного, зябнущего, который только что в санбате отдал кровь прикрывшему его своим огнем раненому автоматчику Мартиросяну, на которого до этого смотал с себя бинты легкораненый второй номер Сковородникова, боец Садыков, остававшийся в строю...

Но не так просто было здесь, в цехе, вызнать о людях. О производстве говорили охотно, про свою жизнь отмалчивались.

Петухов пошел в военкомат со списком личного состава работников своего цеха и попросил там дать справки о тех членах их семей, кто был призван на фронт.

Спустя месяц у входа в цех была установлена Доска фронтового почета с именами павших и тех, кто вернулся, кто оставался еще в кадрах. С этого, собственно, и началось признание Петухова коллективом цеха.

Петрусь Липко подошел к Петухову, потянул его за рукав, спросил:

— Ты надумал?

Не дожидаясь ответа, сказал:

— Отец мой — майор, летчик-истребитель, а ты, значит, пехота. — Попросил: — Зашел бы как-нибудь. Я ведь женатый. — Потупился: — Надо же было присмотр наладить, у меня младших четыре брата да две сестры-школьницы. — Добавил уныло: — Если б мать не померла, не женился б в шестнадцать, погодил бы еще.

— А жене твоей сколько? — спросил Петухов.

— Она постарше, — сказал Липко. — Мне молодая ни к чему. Должна быть за детьми опытная — Оленьке всего два года было, да еще хворала.

Липко жил в саманном домике. Жена его, тучная, веселая, с округлым лицом, быстрая, энергичная, сразу же бесцеремонно объявила:

— А что! Живем ладно. Взяла себе помоложе, думала — обсмеют. Но Петрусько своей солидностью другого какого сорокалетнего превосходит — мастер. Скоро в начальники пролета обещают, как техникум кончит. Братьев и сестер его я тоже вынянчила, учатся хорошо. Прихожу на родительские — одна мне похвала: воспитала.

Но перед Липко она держала себя послушно, сдержанно, с оттенком почтительности. Сказала негромко Петухову:

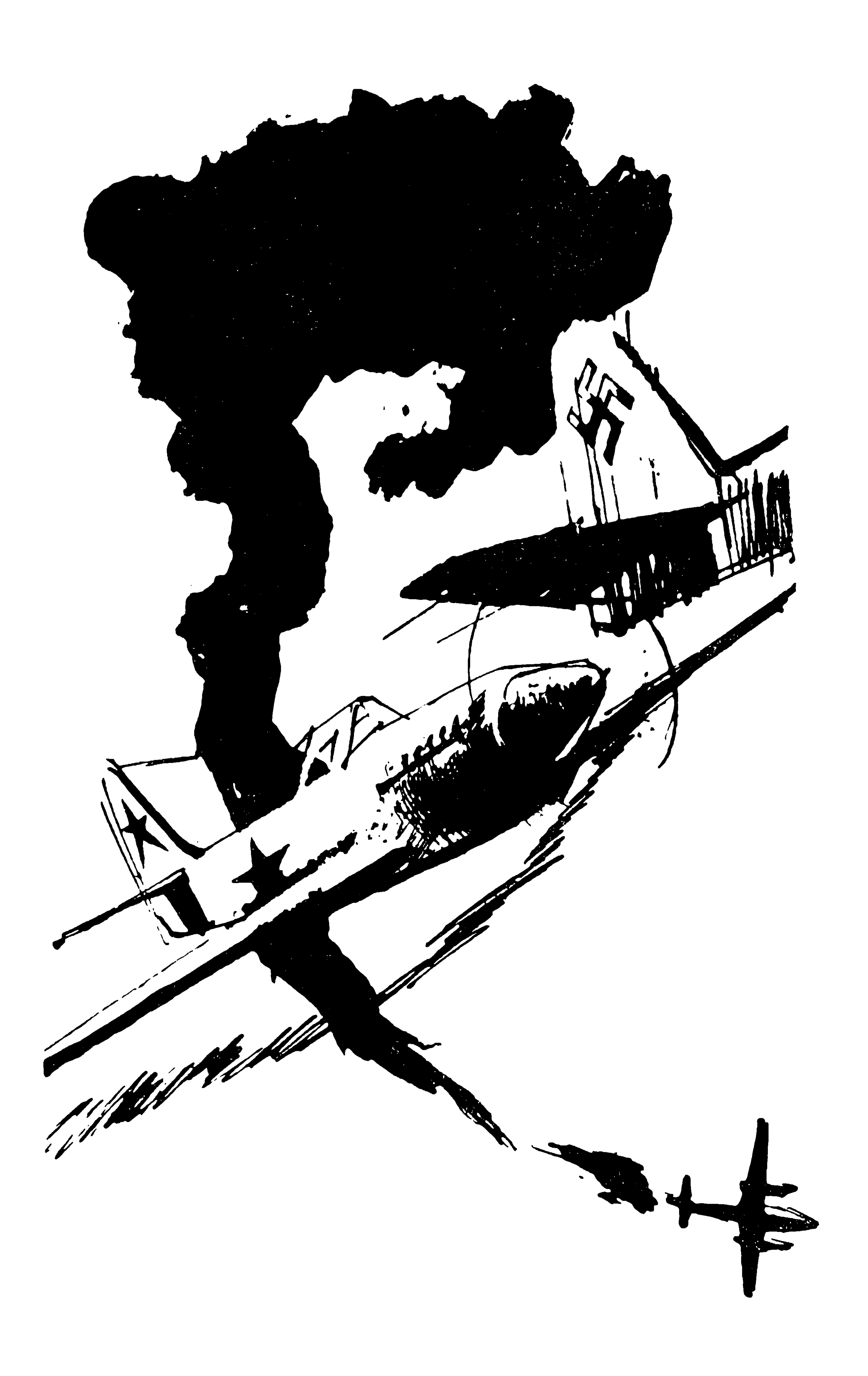
— По климату он летом на завод в трусах и в майке ходил, в перерыве футбол во дворе гонял со всеми другими слесарями. А как женился, я ему сразу от бывшего мужа — брючки, пиджачок, и футбол бросил. — Сказала горестно: — Вообще-то, в войну молодые быстро семейничали, не до гулянок и всяких там ухаживаний. Рабочий день ненормированный, обзнакомятся в цеху, между сменами — и в загс. Ну и в общежитии тогда: раз семейный — отдельный закут. И уроки готовить есть где, без галдежа и суматохи кругом. Все положительные у нас без отрыва чего-нибудь да кончили. Между молодыми и пожилыми рабочими вся разница только в том и была, что если кино или концерт в клубе, молодые до конца глядят, переживают, особо если про войну кино, а пожилые от усталости в конце дрыхнут. Некоторые даже так и оставались досыпать на стуле до новой смены, и никто их не будил из уважения — от работы человек сморился, а не потому, что глядеть ему неинтересно.

Петрусь показал Петухову фотографию своего отца. В косоворотке, со значком ГТО на груди, отец Петруся выглядел не старше их обоих.

Ни Петрусь, ни Григорий не знали о том, как погиб летчик Липко.

А было это так.

Когда с прорвавшимся батальоном Пугачева пошли танки в сопровождении пехоты, за одним из них стал охотиться «юнкерс». Танк метался, потом открылась крышка башенного люка, оттуда приподнялся с ручным пулеметом танкист и стал бить по «юнкерсу». Это был Соловьев. Потом появился наш истребитель, и пилот, си-



дящий в нем, издал счастливый вопль, когда его очередь вонзилась в борт «юнкерса» и с обратной стороны посыпались дюралевые струпья. Но подожженный «юнкерсом» истребитель загорелся, расстилая шлейф дыма.

В кабине уже пекло, но пилот с восторженным исступлением продолжал добивать бомбардировщика, и когда «юнкерс» стал падать, переворачиваясь с крыла на крыло, только тогда пилот истребителя испытал томящую тревогу из-за утраченной в бою высоты.

Искалеченный истребитель ковылял, проваливаясь, и все трудней было, беря ручку на себя, выдирать его из падения.

И тут сверху бросился на него «мессер», чтобы расстрелять горящего. Истребитель последним усилием, остатком своей живучести пошел в лоб на таран и затем стал вращаться в плоском «штопоре», потеряв управление, уподобившись дымящемуся волчку. Многократная перегрузка не давала пилоту истребителя оторваться от сиденья, через силу он приподнялся в кабине, дернул вытяжное кольцо парашюта, и распахнувшийся купол выхватил его из падающего пылающего самолета, но было поздно — его, как маятник, ударило о ствол дерева, затем о другой, о третий...

Когда Пугачеву принесли документы погибшего пилота, сырые, слипшиеся, он завернул их в побуревшую дивизионную газету, положил в подсумок, приказал Петухову:

— Подымай роту в атаку! Сильнее того, что они сейчас в небе видели, словами не скажешь, как за Родину надо драться!

Петрусь, бережно пряча фотографию, произнес вполголоса:

— Отец тихий был, добрый, к людям ласковый и к животным тоже. Он в лесничестве служил, с ружьем никогда не ходил. Найдет в лесу подранка, принесет домой и потом лечит. У нас всякая тварь зимовала, и даже кабанчика выходил. И уж куда зверь хуже волка, а за отцом ходил, как порося, и хрюкал, просил, чтобы почесал за ухом.

— Скучаешь по дому? — спросил Петухов.

— Наверно, — сказал Петрусь. — Только куда уж

мне! Здесь обероднился. Я дом помню, а мои — нет. На двух языках свободно шпарят, как на своем родном, сдружились, сроднились, разве оторвешь! Теперь им здесь тоже своя родина. Да и родных там никого не осталось. Фашисты поубивали — кого за то, что партизанили, кого просто так, за то, что они люди советские. — Дернул плечом. — А здесь, что ж, вначале, конечно, жара, пустыня... Все люди разные, отовсюду. Вначале местные сильно помогли. Слова не все понимали, а по существу такие, как и мы, без лишних слов все ясно. ФЗУ, техникум, институт, ну и завод, конечно, — и получилось, что все мы через одно прошли и на одном деле обероднились. Вся разница, кто из какого цеха, у кого какая специальность, и уважение, кто как себя в деле показывает.

Завод эвакуированный теперь тут навсегда, и институт, и техникум, и много еще чего. И правильно. Спасибо местным, был поселок. А теперь город, и он еще лучше станет, иначе и быть не может. Как салют Победы в Москве, местные выходят на площадь, и трубы у них музыкальные, «карнаи» называются, здоровенные, как стволы зениток. И торжественно дудят в них. За десятки километров, даже в кишлаках слышно. Таким оркестром карнаев и отмечали по-своему, и даже русские, и украинцы, и мы, белорусы, выходили на них дудеть, и получалось не хуже, чем у местных. А потом даже стали так перевыполнение годовых планов отмечать перед митингом и после митинга. Очень у них звук торжественный! Как загудят карнаи — значит, успех, праздник.

Спросил озабоченно:

— Ну как манты? Украинцы их мясными варениками называют, хвалят. Мы, как сошли с поезда, изголодавшиеся, нас местные честь по чести с флагами, со всякими почестями встретили, а мы увидели: на кошмах еда расставлена, — ну и, как лунатики, туда, даже совестно потом было. Нас, эвакуированных, даже отдельно сначала питали, чтобы не стеснялись, ели от пуза. Коров со степи согнали и верблюдов, чтобы детей восстановить, отощали некоторые, совсем слабые. Да много пораненных после бомбежки эшелонов. Из кишлаков фельдшера съехались лечить, на ноги ставить. Так что всякое было.

10

Как-то Гитманис грустно заметил: «У нас в цеху отсутствие баланса в численности мужчин и женщин. Повсюду так — не то чтобы матриархат, но все женщины в двойной упряжке — на работе и дома. Если по справедливости, то памятник Победы ставить надо не столько солдату, сколько его матери, жене. Они все на себе вынесли и не хуже вас, фронтовиков, выстояли».

Петухов решил провести совещание с работницами цеха, нечто вроде женского собрания. Среди них только две были членами партии.

Когда Петухов спрашивал лучших работниц, почему не вступили в партию, ему говорили изумленно:

— А мы и так с партией. Куда же больше? По тринадцать-четырнадцать часов в цеху, на сверхурочных, без отпусков все годы. У нас вон лозунг до сих пор висит: «В труде, как в бою». По пять-десять сменных заданий выполняли — это тебе что, не по-партийному?

— Ну все-таки...

Его перебивали:

— Что «все-таки»? Чтобы зарегистрироваться только? Перевыполнишь сменное задание — значит, ты с партией, значит, полноценная. В фонд обороны на восемь танков собрали — вот наш партийный взнос, не какие-то твои три процента с заработка. На продуктовые карточки оставляли сколько надо, остальное — в фонд, на танк. Чего же записываться, когда мы с ней вместе заодно? И по общественной линии действовали. Обнаружили в столовой недовес. Разобрались — воруют. Мы всех воров к себе в цех: как, кто, почему? Ну, какие вдовы многодетные помаленьку тащили к себе в дом нутряное сало, мясо или еще кое-что по мелочи, — поругали, покорили, но простили: мать для детей ворует, мы, выходит, сами в этом виноваты, не додумали, трогать такую нельзя. Директора за воротник: давай сады детские, школы на орсовский кошт ставь. Холостяков обложили — выстригать для многодетных часть талонов из их продуктовых карточек. А тех, которые ворованное на рынок сносили, выездным судом при всем заводском народе покарали, так им и надо.

У нас на заводе женская общественность сильная. Директор — генерал, а и то от нас трепетал, как брали его в работу. А насчет политики кому неясно? А то при-

дет докладчик, лепечет: «Все для фронта!» А мы почему из завода не выходили, омужичились? Все потому: все для фронта! У кого муж, у кого отец, у кого сын воюет. Чего ж тут просвещать-то?

— А теперь? — спросил Петухов.

— Что теперь? Войне же конец.

— Значит, отмучились?

— Ты это брось такие слова! Что значит — отмучились? Были бабы, стали рабочими, с разрядами, со специальностями, с орденами, с медалями — чуть меньше, чем у вас, фронтовиков. Свое ответственное место понимаем.

— Завод вот перестраивается на мирную продукцию.

— А чего ему перестраиваться? Это директор, видать, плачется у министра: мол, новая для нас отрасль. А какая она новая? Всю войну сельхозмашины чинили, ремонтировали, бригады слесарей на поля посылали, чтобы на ходу ремонт производить. Ну и тоже: как уборка, рабочих и работниц на хлеб — для взаимопомощи. Жрать людям надо, ну и двоеручничали: одной рукой в цехе оружие производили, другой — хлеб убирали. На все у рабочего класса силенок хватало. Теперь главное по нашей женской работе что? Дети!

Те, которые подростками на завод пришли, хоть юности и не повидали, но в заводском коллективе и без отцовства хорошо воспитались в правильных людей, самостоятельных. Глядеть на них приятно: надежные, сознательные. А вот меньшие, которые в школьниках... Раньше и матери с лозунгом «Все для фронта!» легче было детей воспитывать. Как же, мол, так? Плохо учишься, хулиганишь в школе? Отец воюет, кровь свою проливает, а ты... Ну и сама ему примером: видит, прихожу с работы, валюсь на койку без памяти — он и сготовит, и приберет комнату. А как же! Мать оружие делает, не что-нибудь. Уважает... Дети тем же, чем и мы, жили — все для победы!

А вот теперь сердце матери и беспокоит, как детьми управлять, на что им указывать, ради чего теперь они должны хорошими расти, что для них теперь впереди самое главное. Ну и для нас тоже... Сеялки, веялки, комбайны — это не пулеметы, пушки, «катюши». Про них ни кино, ни песен нет. Сельхозтехника — и все.

А насчет улучшенного питания для народа, так детям что? Поедят что придется, на скоростях — и на улицу.

Фронтовика увидят — благоговеют. Идет рабочий человек с орденом — даже не оглянутся.

Для них герои только на войне — так воспитались за эти годы. Правильно, конечно, и душевно понятно. Но из них же сейчас надо людей растить для другого и тоже самонужнейшего, а если возвышенности не будет, разве по материнской линии справишься? Вот это и тревожит.

И потом тоже: мало, что ли, наших женщин одиночеством болеют? Ну, подвернется какой подходящий... А погибший отец ребенку кто? Он один ему светит. И ничто ему такой святой памяти не загасит. Приведет мать в дом, допустим, даже хорошего человека, а сыну или дочери он не только чужой, но враг памяти отца. Мало ли случаев — из дому дети уходили? Вон у нас целый интернат таких, при живых матерях — сироты.

А бывает, не уходят из дома, да еще мужик в доме явно хуже отца — его не уважают, мать презирают. В таком случае у детей что? Вера в людей теряется, могут совсем плохими вырасти. Мы по линии завкома такие трудные семьи посещаем.

А надо бы что?

На партсобрании, на общем собрании, на всяких там совещаниях о чем? Все план, перестройка, график... Нужно? Нужно! Не дуры, понимаем. Ну понять же нужно, как людям жизнь настраивать. После всех расстройств как семьи складывать? Сюда тоже надо партийного ума и сердца вложить, посоветовать. Оттого, что у человека на душе все ладно, у него и работа ладится.

Раньше что всему главное — отступаем или наступаем на фронте? Отсюда и настрой. Домой только забежим накоротке. А теперь домашняя жизнь стала сильно обозначаться. А кто за нее ответственный? Мать! Она своим детям и партком, и завком, и общественность, и все на свете, а пока мимо ее забот собрания, речи, доклады всякие. Вот и крутись, вертись волчком сама по себе. Это что, правильно?

11

Бóльшую часть молодежи цеха составляли комсомольцы.

Петухов побывал на комсомольских собраниях. Но они

ничем не отличались от партийных. Те же вопросы, такие же выступления. Деловые, политически зрелые. Главные вопросы производственные. И, хотя многие выглядели подростками, с ребяческими, в пушке, лицами, но держались солидно, с достоинством, соответствующим их рабочим разрядам, профессиям, производственному уже не малому стажу. И в одежде не отличались от старых рабочих, так же как в манере вести себя, разговаривать, — курили махорку, стряхивая пепел в мозолистую ладонь.

Петрусь Липко доложил о слабой посещаемости курсов переквалификации и тут же зачитал проект резолюции: указать, обязать, вызвать на бюро. Единодушно и равнодушно, как показалось, проголосовали за принятие резолюции.

И тогда взял слово Петухов. Он встал, улыбнулся добродушно, сказал:

— Кто про что, а я про фронт. — Спросил: — Можно?.. Значит, был у нас снайпер Василий Степанович Егоров, бывший лекальщик седьмого разряда, в очках, хоть и снайпер. Человек пожилой, хворый, капризный, все морковку ел для улучшения зрения. Врачи говорят — помогает. Он у нас лучшим снайпером считался. Думали мы, от морковки! — Подождав, пока смолкнет вежливый смешок, Петухов сказал: — Стал он делиться своим опытом.

— Как морковку есть? — спросил кто-то.

— И этим мы тоже интересовались, — будто соглашаясь, ответил Петухов. — Но он нас на место поставил, как рассказал, из чего складывается один выстрел снайпера.

Во-первых, у него были составлены таблицы баллистических расчетов на основе законов математики и физики. Если низкая облачность, высокая влажность, увеличенное давление атмосферное, он усиливал заряд в патроне, использовал более тяжеловесную бронебойную пулю и увеличивал крутизну траектории так же, как когда стрелял через водную преграду. Водная поверхность, как известно, обладает большей силой притяжения, чем просто земля. Если день был солнечный, безоблачный, сушь и прозрачность атмосферы высокая, стрелял без оптического прицела, чтобы блик от оптики не засек фашистский снайпер, и подолгу винтовки на солнце не держал: металл перегреется, ну вы знаете, от тепла расши-

ряется, может повлиять на дальнедистанционный выстрел, и ударная сила пули ослабеет на излете.

У него была карта местности с геометрическими исчислениями, и, пользуясь ими, когда вражеский снайпер в сумерки уходил в свою засаду, чтобы начать работать с рассветом, он бил без промаха в темноте.

До войны был лекальщиком наивысшей квалификации, слесарь-профессор. Вот, значит, как по-рабочему, по-фронтовому Василий Степанович переквалифицировался из хорошего лекальщика в наилучшего в нашей дивизии снайпера, соединив свое рабочее образование с солдатским в единое целое.

Усмехнулся:

— Я это к чему? Оружие вы фронту давали классное, значит, хотелось бы, чтобы этот высокий класс и на новой продукции сказался. Ну, конечно, приноровиться надо, как, скажем, лекальщику — к винтовке. Курсы снайперов у нас на фронте имелись: бой идет, а многих бойцов мы — в тыл, на обучение. Воевали меньшим числом, без них, пока они обучались. Сознавали: надо. Поняли, к чему гну?.. Обождите, не все.

Но вот получилось так, что с какого-то времени Василий Степанович стал мазать по цели. В чем дело? Достали ему новую винтовку с персональным гвардейским снайперским стволом высшей точности изготовления, цейсовский трофейный прицел. Мажет. В чем дело?

Письмо из дома получил плохое. Семья в разброде. Ребята от матери отбились, лоботрясничают, старшего на второй год в школе оставили. За проступок привод в милицию. И ничто не помогло — ни новая отличная винтовка, ни прицел. Потеряли снайпера. Допустил от расстройства, что дома плохо, небрежность в маскировке. Пал насмерть.

И кто, думаете, в этом виноват? Только фашистский снайпер? Не обеспечили вниманием семью Василия Степановича ни комсомол, ни общественность — вот и получилось...

Помолчал, выждал и сел.

И собрание началось заново.

В заключение Петухов снова выступил и передал слово в слово свою беседу с цеховыми работницами, сказал, будто в чем-то оправдываясь:

— Это не от меня, а от них, женщин, матерей, комсомолу! Есть о чем нам всем подумать. Хорошо здесь вы

все говорили, с беспокойством. Будущее, оно что? Человек! На него сейчас и все заботы, чтобы и жизнь улучшить и его самого...

12

На заводском партбюро директор, прервав Петухова, сказал раздраженно:

— Зарвались! План перевыполнили по раскладушкам! Тоже мне продукция! Вместо того чтобы доложить по-серьезному, по-производственному, по-партийному о существенном, видите ли, стадиончик ему давай, водную станцию, спортинвентарь! Это откуда же такой чемпион мира явился? Мы-то думали — фронтовик! А он физкультурник! Отдай ему особняк дирекции под Дворец пионеров! Администрацию завода, что же, в землянки?! Вместе с конструкторским бюро? Хорош! Да еще всех ребят на все лето в наше подсобное хозяйство отправить, где сады, огороды, куры, откуда доппитание получаем. На полный отдых, чтобы они все там порвали, поломали, кур подбили! И еще, товарищи. Что у нас, территория завода — кладбище? У каждого цеха мемориал ставить со всеми именами погибших! Это что будет рабочим и работницам внушать? Только горе, скорбь о погибших, а не бодрость к работе.

— Если вы против, мы в обком обратимся, — резко сказал Петухов.

— А ты нас обкомом не пугай! — заявил директор. — Обкомовские показатели на наших держатся. Сорвем план, партия у нас одна на всех, и обкому, и нам всыпят.

И впервые Глухов остался в одиночестве на партбюро завода. Проговорил уныло:

— Проработали. — И вяло поднял руку, когда голосовали предложение комсомола завода, изложенное в выступлении Петухова.

Потом сказал Петухову с упреком:

— Что ж ты не зашел, не поговорил, а так сразу в атаку на партбюро? У меня всегда как? Сначала посоветуемся, потом выносим. Я на что рассердился? Не на твои предложения. Они все правильные и, если хочешь знать, безотложные. Но я не привык, чтобы помимо меня. Поддержал бы, ясно. Но за что же в обход? Ко мне

люди и с малыми делами ходят, и всегда все сам решал. Без проволочки. А тут... — И генерал сокрушенно развел руками.

Но, как всегда ему было свойственно, директор энергично включился во все утвержденные на бюро мероприятия, ездил в подсобное хозяйство, распорядился, чтобы все было для ребят как следует. Выделил больше, чем намечалось, средств из директорского фонда. Звонил по ВЧ, чтобы срочно добыть спортинвентарь. Нашел среди эвакуированных архитектора — пригласил, обласкал, сказал:

— Нам, конечно, не римский колизей, но тоже желательно что-нибудь поприличней, не времянку какую-нибудь.

У командующего фронтом, которого он в свое время снабжал боевой техникой, выпросил списанные за ветхостью шлюпки. И их доставили по железной дороге на том составе, на котором прежде вывозили с завода его оборонную продукцию.

Не жаловался, не сетовал генерал, директор завода Алексей Сидорович Глухов, когда приходилось навсегда оставлять в кишлаках механизаторами столь нужных позарез заводу слесарей-механиков, дизелистов, монтажников и просто слесарей и вместо них привозить из кишлаков молодежь, для которой машина — деревянный лопастный агрегат для полива, а инструмент — кетмень И выучивал, и не узнавал потом в цехе, кто тут из местных.

Он сам отослал на работу в МТС маститых ленинградских конструкторов, не окрепших после дистрофии, и терпеливо ждал, пока они поправятся на сытной еде, на свежем воздухе.

Бывало, ночью, включив настольную лампу, водрузив на нос большие круглые очки в тяжеловесной роговой оправе, он писал тайные послания тем, кого отпустил на землю. Вежливо осведомясь о здоровье самого, супруги, только в конце излагал главное: «Хотя бы месяц или пару неделек выкройте. Знаете, по сводкам Информбюро, — каждый овощ нашего огорода против фашистов сейчас, как никогда, требуется. Буду рад лично пожать руку! Генерал-майор Глухов».

И цехи он загружал ремонтом сельхозмашин в самое горячее время производства оружия. Ставил подсобниками весь административный состав и обслуживающий

персонал. Пищу прямо к станкам доставляли в армейских термосах. Люди ели стоя, держа в левой руке миску, правой на ощупь зачерпывая ложкой, не спуская глаз с работающих станков. Так, как едят на боевом дежурстве летчики-истребители, сидя в самолетах, готовые ежесекундно взлететь, если служба ВНОС даст команду: «Противник!..»

Сейчас оказалось труднее руководить.

Куда ни кинься, все надо. И все, все требуют и правильно требуют, но что из всего самое главное — не ухватишь.

Раньше нарком звонил по ВЧ, спрашивал:

— Директиву получил? Сорвешь срок выпуска — сорвешь погоны, как минимум! — И клал трубку.

А теперь министр звонит:

— Ну как, Алексей Сидорович, дела? Надо, голубчик, все надо, и то, и это — все главное. Без мясорубки котлет не приготовишь. И за мясорубки спросим в полной мере, как раньше за подкалиберные снаряды спрашивали.

Звонили из обкома:

— Товарищ Глухов! Поздравляем. В «Правде» о заводе статья.

Глухов расплывался в улыбке.

— Как же! Расписали... «Образцовый детский лагерь». И фотография! В панамках, в трусиках! Стоят голопузые в саду, за руки взявшись, и даже не глядят на груши, персики, уставились на фотоаппарат, таращатся! Но ничего, откормленные, щекастые. Вот тебе и расхвалили на всю страну. А за все годы войны ни одной строки ни в одной газете, будто и нет такого завода!

Раньше самые непреоборимые на заводе кто? Военпреды! А теперь все! Отовсюду! И перед всеми за все отвечай. Отчитывайся. Словно завод без забора стал. Для всех все на виду. Трудно, очень трудно, а тут еще материально-техническое снабжение подводит.

Раньше твой завод вне категорий — оборонный. За любой срыв и тебе не простили бы, и смежникам, и даже наркому, если по вине наркомата. А сейчас советуют: изыщи резервы, потолкуй с обкомом, попроси местных руководителей помочь...

Генерал все чаще стал приходить на работу в штатском. Вместо слова «прикажу» стал говорить «подскажу». Вместо категорического «нет» произносил значи-

тельно: «Ну это мы еще сначала обсудим» или «Посоветуемся».

Но это не было у него показным или уступкой кому-то. Просто он в эти трудные для себя дни чаще сидел в парткоме завода, чем у себя в кабинете, и вместе с другими членами парткома размышлял, как рассредоточить гвардию заводских коммунистов, сосредоточенную в главных цехах, на решающих участках, — теперь все стало решающим, все жизненно и производственно главным.

13

Игнатий Степанович Клочков при любых обстоятельствах всегда оставался самим собой. Он считал всякое притворство унизительным. Кроме того, легко разгадывая уловки другого, считал, что и другой так же легко сможет разгадать и его собственное притворство. Он никогда не заботился о том, чтобы специально произвести приятное впечатление, но, если человек ему нравился, тут же его благодарил:

— Спасибо вам, что я с вами познакомился. Рад!

Он радовался интересным для него людям, помнил их.

Женился он на секретарше директора научно-исследовательского института, академика, который пророчил своему аспиранту Клочкову большое будущее, впрочем, как и все в институте.

Она, робея, вышла за него замуж. Узнала: в быту беспомощен. Поняла в этом свою власть над ним. Он благоговел перед ее житейским опытом. Раньше был беспечен, равнодушен к быту, стал пуглив, тревожен, мнителен. Она внушала ему бытовые страхи, приучала к удобствам. От нашествия вещей он утратил независимость, спокойствие.

И вдруг в «Вечерке» объявление: «Продается мебель, имущество в связи с экстренным отъездом». И адрес Клочкова.

Она приехала с курорта в пустую квартиру. Только рабочий и обеденный столы, стулья, две кровати и... все.

Он сказал ей, ошеломленной, заискивающе:

— Я все перевел на твою сберегательную книжку.

— Где книжка?

Он протянул. Она изорвала книжку, обрывки истоп-

тала. Долго ритмично рыдала. Кончив рыдать, осведомилась:

— Кухня цела?

— В неприкосновенности!

— Тогда давай ужинать, — сказала она и ушла на кухню.

Впервые он искренне и нежно сказал ей:

— Ты мой симпопончик!

А затем, что ж, прошли годы.

Она великолепно владела машинописью, стенографией, быстро работала с арифмометром, знала несколько языков. Он заявил ей однажды:

— Юношеская любовь — это ерунда. Вот! Наша с тобой — нечто прекрасное, эпическое. — Потупился, сказал застенчиво: — У меня такое ощущение: как ученого ты меня родила!

Нужно иметь первородное, звериное, животное здоровье, чтобы так немилосердно изнурять себя в работе, как ученый на взлете, и при этом выжить.

Долговязый, сутулый, тощий, с крупной плешивой головой и большим багровым носом, с выпуклыми сизыми глазами, несдержанный, своевольный, самозабвенно сосредоточенный и подвластный только той идее, которая его в данный момент обуревала, он считался трудным, бесцеремонным, но уважаемым человеком, с которым считались на самом верху.

Как-то Игнатия Степановича Клочкова вызвал «большой человек» на узкое совещание, и во время совещания «большому человеку» позвонил «еще бо́льший человек». И «большой человек» с готовностью и воодушевлением беседовал несколько минут с «еще большим человеком» и, когда положил трубку телефона, продолжая по инерции улыбаться, оглядел присутствующих.

Клочков поднялся и сказал спокойно, вежливо и даже с улыбкой:

— Во-первых, это неприлично! Не считаться с нашим присутствием. И во-вторых, самое главное: я слишком дорожу своим временем и временем своих сотрудников, чтобы расходовать его на то, что вне сферы наших целей и задач нашей работы.

Откланялся и вышел.

Пока он следовал до дому, ему беспрерывно звонили в институт и домой.

Взяв трубку, он сказал:

— Почему не понял, с кем вы говорили? Понял! Вы же так настойчиво повторяли фамилию собеседника. Тем хуже! Не для меня, а для вас. Именно для вас. Потому что свой разговор со столь высоким лицом вы сделали предметом общего внимания, бестактно игнорируя то, что этот разговор не предназначался для общественности.

И положил трубку.

— Теперь тебя за границу не пустят! — заметила супруга.

За границу его действительно не пустили и не пускали, но по другим причинам. Клочкову дали конструкторское бюро, первоклассно оборудованное, почти миниатюрный завод. Ни вывески, ни адреса у бюро не было. Увидев у себя в новом кабинете сейфы, он открыл их, заглянул внутрь, сказал:

— Хорошо от мышей хранить продукты!

И отказался ставить свою подпись в приемке сейфов так же, как и брать ювелирной работы ключи от них.

Скоро появился пожилой человек, отрекомендовавшийся очень скромно:

— Федор Прокофьевич! — И добавил: — Вы уж извините! Буду при вас Санчо Пансой. Ключики от сейфов и прочее. Не возражаете?

— А в науке вы как?

— Ни бум-бум, — чистосердечно признался Федор Прокофьевич.

— Так кто же вы и зачем мне вы?

Федор Прокофьевич оглянулся, склонился к уху Клочкова, почтительно доложил.

— Так вы пришли меня арестовать? — удивился Клочков. — Ах, охранять! От кого? Чтобы у меня что-нибудь не сперли или я что-нибудь не спер?

— Извините, с вашего разрешения оголюсь, — сказал Федор Прокофьевич.

Снял пиджак, верхнюю и нижнюю сорочку, аккуратно все это повесил на стуле. Подошел, мускулисто-желтотелый, в глубоких рубцах.

— Разрешите вот, так сказать, представиться! Это из маузера. Когда, знаете ли, в упор дуплетом. Производит внушительное впечатление. Прикрыл собой одного ценного товарища, чтобы его организм не повредили... Это не огнестрельное повреждение, бросили ножик издалека. Тут вот штопка, чинка была основательная.

Принесли посылочку с книгами. Ну, я ее предварительно по своей обязанности вскрыл. Рвануло крепко. Но на меня убойной силы не хватило, а может, просто существенное во мне не повредило. Точнее, выжил. — Сконфуженно мигая, сказал: — А это, если позволите, для юмора.— Повернулся спиной, сказал смущенно: — Видали! Какое хулиганство! Но не сотрешь, не смоешь. Раскалили штык в костре и им, как на заборе, это слово на спине мне и написали! Хамлюки, беляки, кадеты! Чего еще от них ждать было молодому красногвардейцу? — Вздохнул. — Лишили теперь на всю жизнь возможности в баню ходить или, допустим, на пляж. — Одеваясь, спросил: — Может, всю свою биографию вам доложить? Или отдельные только факты интересуют?..

Клочков привык к Федору Прокофьевичу и даже полюбил его. Иногда рассеянно спрашивал:

— Вы как, одобряете применение бериллиевой бронзы? А то все сплавы к чертям летят.

— Если она покрепче, значит, в самый раз! — соглашался Федор Прокофьевич.

Он всюду бывал с Клочковым и, войдя в курс его дел, уже оберегал не только его самого, но и — что для Клочкова было равно жизни — его рабочее время.

Федор Прокофьевич обил дверь в кабинете Клочкова войлоком, а сверху — для красоты — белой больничной клеенкой, объявив строго:

— Тишина для труженика ума получше всякого лекарства, полезно действует.

Зайдя как-то к заместителю начальника конструкторского бюро по хозяйственной части, Федор Прокофьевич, вдруг преображаясь в нечто тяжеловесное и малоподвижное, сказал, почти не двигая губами, на одном выдохе:

— У глазника были, велел ему сильнее стекла носить. Необходима, говорит, коррекция зрения. А лампа настольная у него какая? Абажур, как паршивая юбка. Все светильники проверил — прошлый век. Завтра! Понятно? Завтра чтобы, и с медицинской обязательной консультацией — новые, ярко-светлые. — Выдохнул. — Довели выдающегося ума человека! Зрение себе портит. А хозяйственник о чем думает? Чтобы все выглядело только богато, но не полезно. Как вот ваши бархатные занавески. Ему чистый воздух для дыхания нужен, а вы

ему на бархате пыль собираете. — Заключил: — Считаю вашу глупость большой опасностью, хотя дураков тоже перевоспитывать можно!

14

Металлургом бюро был Арнольд Павлович Булкин. Арнольд Павлович был известен тем, что больше всего боялся не кого-нибудь, не чего-нибудь, а тучности. Недоедал и поэтому был тощ, морщинист, раздражителен. От постоянного ощущения голода лицо его имело несчастное, озлобленное выражение, но зато он гордился постоянством своего веса и презирал тучных.

— Девиз для металлурга, — говорил Арнольд Павлович, — отвергать ненужное и брать нужное!

В испытательных установках он варил легированные стали. Изучал свойства различных сплавов, чтобы придать им такие свойства, какие заказывал Игнатий Степанович Клочков.

Каждый раз он предупреждал Клочкова:

— Я вам в тигле что хотите могу изготовить, а в мартене? — Умолял скорбно: — Не заскакивайте фантазией вперед эпохи, Игнатий Степанович! Будьте благоразумны.

Основным помощником в цехе-лаборатории Арнольда Павловича был сталевар с завода «Серп и молот» Мозжухин. Он работал самозабвенно, держался с особым достоинством, говорил:

— Если теория толковая, не возражаю. У меня у самого своя собственная теория: если на практике не получается, значит, у кого-то в башке недовес.

Он любил «колдовать» над лабораторными плавками ночью, когда в бюро никого не оставалось, кроме охраны, произносил с умилением:

— Это же не работа, а так — игрушечное занятие. Вроде как из кубиков замок строить. Но при осмысленной мечте приятно. Вдруг получится в заводском масштабе? Вот тебе и игрушечки!..

Технолог Петр Михайлович Дыбец, самоуверенный, сдержанный, всегда модно, щеголевато одетый, с жестким выражением лица и выдвинутой по-рыбьи вперед нижней челюстью, жил и работал по строжайшему рас-

писанию, педантично продуманному на длительное время. Расписанию, в котором минимальное время отводилось на сон, отдых, тем более — на развлечения.

Вот эти двое — металлург Булкин и технолог Дыбец — были главной опорой Игнатия Степановича Клочкова, удостоенного правительственных наград, лауреатства, высоких научных званий и, несомненно, высокого уважения на самом верху, где он был лично известен также и со всеми своими «причудами».

Что касается Булкина и Дыбца, то Булкину в его цехе-лаборатории сотрудники и рабочие снисходительно прощали неудобства характера. Дыбца же за всегдашнюю одержимость побаивались. Но побаивались не того, что он может наложить административное взыскание, к чему он никогда не прибегал. Побаивались его железной неутомимости, когда он сутками не выходил из цеха-лаборатории, оставаясь свежим, энергичным, напористым. Побаивались его несгибаемой воли. Когда уже все варианты, казалось, были исчерпаны, он вдруг заявлял самоуверенно:

— Отлично! Чем больше отрицательных фактов мы накапливаем, тем ближе приближаемся к цели. Итак, начнем! Запишите эксперимент: 711—712!

Не вызывал Дыбец симпатий и тем, что, когда экспериментальная работа завершалась полным успехом, он говорил, моя руки и глядя на себя в зеркало так, словно видел в нем лицо незнакомого, неприятного ему человека:

— Не исключено, что наш ребенок родился уже с бородкой. Пока начнут согласовывать, осваивать, борода у него вырастет ниже колен и поседеет.

Оба инженера высоко чтили дарование Игнатия Степановича Клочкова и покорно выслушивали его рассуждения о том, что сейчас в мире техники идет дуэль и что Лев Толстой гениально определил в творчестве конструктора идею совершенства, сказав: «Простота есть необходимое условие прекрасного», и что новое могут создать последователи своих учителей, а не подражатели. Или заявлял удивленно, восторженно:

— Представьте, нашел у Александра Сергеевича Пушкина и у Владимира Ильича Ленина равновеликие мысли, прямо относящиеся и к инженерному творчеству. Ленин говорил, что фантазия есть качество величайшей

ценности... Пушкин утверждал, что истинное воображение требует гениального знания. Какие молодцы, а?

Булкин сконфуженно улыбался. Дыбец угрюмо молчал.

Им обоим не очень-то нравилась манера Клочкова как бы кокетничать своей беспартийностью, а Клочкову явно доставляло удовольствие замечать это их неудовольствие.

Дыбец в годы гражданской войны еще мальчишкой ездил на бронепоезде смазчиком вместе со старшим братом-машинистом.

Отец Булкина был старый большевик-путиловец.

Другое дело, когда Клочков, отдыхая, начинал, как бы играя умом, подсчитывать, сколько понадобится термитного порошка, смеси алюминиевого с измельченной окисью железа, дающей 3000 градусов температуры, для преодоления заторов в Северном Ледовитом океане, чтобы открыть круглогодичную навигацию.

Или тут же брался за расчеты отопительного кольца вокруг Земли из мельчайших пылеобразных частиц для обогрева и круглосуточного освещения планеты.

Но такая игра его ума обычно завершалась вдруг ясно и точно мелькнувшей плодотворной мыслью. И он живо говорил Дыбцу после изложения своих космических идей:

— Петр Михайлович! Порошковая металлургия — это реальность! Сверхпрочные резцы, экономия, точность и, наконец, наконечники для бронебойных снарядов. Займемся, а?

— Это идея!

И Дыбец улыбался, что было ему так мало свойственно.

— В смысле идей у нас все пушки на нашей стороне! — громко, радостно хохотал Клочков. Спрашивал ехидно: — А кто это сказал? — И отвечал протяжно: — Ленин!

Клочков любил дразнить их своей неожиданной начитанностью в той области, которую он считал — во всяком случае, так говорил — для себя необязательной.

Все бумажки с расчетами, схемами, которые он машинально набрасывал почти как художник, беседуя с сотрудниками бюро, зарисовки, эскизы, аккуратно подбирал Федор Прокофьевич, потом через несколько дней говорил:

— Игнатий Степанович, вот вы обронили. Поглядите! Может, чего-нибудь для памяти нужное.

Клочков, брезгливо оттопырив губы, перебирал бумажки, одни презрительно бросал в корзину, над другими вдруг задумывался, ковыряя карандашом в ухе. Но бывало и так: бросался к Федору Прокофьевичу, жал ему руку, благодарил горячо.

— Ну знаете! Вот это подарок! Вы же мне идею подарили! Поняли? Идею! Вот она, в зародыше, с пульсиком. — И бережно разглаживал скомканную бумажку.

Федор Прокофьевич соглашался:

— Идея — все! За идею люди жизнь отдают. А вы ими сорите.

Клочков не боялся выглядеть суетливым, когда отладка модели проходила успешно, ругался рыдающим голосом с Булкиным или Дыбцом, если кто-нибудь из них не соглашался с ним, а потом, если Дыбец или Булкин оказывались правы, обнимал их, но так же лицемерно, как обнимаются боксеры после поединка.

Летящий в воздухе пух тополя вызывал у него мысль: нельзя ли усовершенствовать тополя и заменить посевы хлопка тополиными рощами. Во всяком случае, следует попробовать применить пух тополя при производстве взрывчатки.

Он обожал тугоплавкие металлы: вольфрам, молибден, ренит, тантал, титан, цирконий, торий...

Но Арнольд Павлович Булкин сердито говорил:

— Я могу вам такой сплав состряпать, что, допустим, при пропускной способности ствола шесть тысяч в минуту выдержит, сохраняя температуру хладнокровного пресмыкающегося. Но при колоссальных тиражах оружие должно быть недорогим, прочным, экономичным, эффективным, надежным. Редкие металлы денежки стоят! А так-то, я вас знаю, могли бы создать уникум! В одном экземпляре!

Петр Михайлович Дыбец, в свою очередь, упрекал Клочкова:

— Вот деталь МГ-47 по параметрам — предмет извращенной фантазии. — Произносил иронически: — Арабеск. Мои мастера, конечно, справятся. А заводские? — Заявлял решительно: — Прошу вас покорнейше — упростить в рамках реальности...

А военпреды, наркоматские комиссии, полигонные испытания! Кстати, на полигоне равноправно выступали в состязании всевозможные иностранные образцы. Их нужно было перекрывать по всем показателям со зна-

чительным превосходством, потому что это были не самые последние модели, а превзойти существующие своими еще не означало превосходства. Оно должно было выражаться в многократном научно-техническом заделе — опережении, в прогнозировании тех боевых средств, которые будут созданы за рубежом, чтобы уже сейчас в полигонных поединках из своих боевых систем избрать в одном экземпляре достойного прародителя нового типа оружия.

Максимальная огневая мощь и минимальная металлоемкость, высокая скорострельность и простота конструкции, надежность и экономия редких металлов, способных выдерживать большие динамические, термические перегрузки, и еще множество других противоречивых слагаемых, — и из всего этого противоборствующего надо создать нечто совершенное, гармоничное, немногосложное, как немногосложна гениальная конструкция скелета животного, на создание которой самой природе понадобилось миллионолетие.

— Да что я, гений?! — вопил Клочков, когда военные просили упростить и сократить в оружии количество деталей.

Когда знакомился с последними данными немецкой боевой техники, произносил разочарованно:

— Количественно — да! Но никаких открытий, странно. — Тревожно спрашивал: — Может, мы недостаточно осведомлены? Хотя вот в Испании, как на полигоне, многие новые образцы ими испытаны, и ничего выдающегося.

Я, — говорил он гордо, — только инженер-механик. Огнестрельное оружие — машина, назначение двигателя: за кратчайшее время выбросить максимальное весовое количество металла на наибольшее расстояние. Надежность, транспортабельность, простота, экономичность. — Усмехался: — Но вообще человечество в производстве огнестрельного оружия эстетически деградирует. В средние века и даже ранее пушки украшали барельефами зверей, гирляндами, огнестрельное оружие покрывали изящнейшими узорами золотой и серебряной чеканки. Ныне назначение оружия обнажено до предела — машина, и никаких иллюзий.

Он перешел на «казарменную» жизнь в конструкторское бюро задолго до начала войны, но сразу после того, как получил информацию о новых образцах оружия, при-

нятого на вооружение армией гитлеровской Германии. Стал неразговорчивым, замкнутым, сурово сосредоточенным. Однажды вдруг сообщил:

— Автор трехлинейной винтовки Сергей Иванович Мосин — мой земляк, воронежский.

Он назвал это имя с такой гордостью, с какой прежде произносил только имена великих ученых.

С началом войны его КБ было полностью вывезено в Среднюю Азию и там влилось в эвакуированный оборонный завод. В серию была запущена новая мощная скорострельная система конструкции И. С. Клочкова. Но, вопреки обычаю, он решительно потребовал снять с ее наименования его инициалы, заявив:

— Помимо повелительной и пожизненной своей задолженности перед своим государством и народом его, у меня нет никаких особых прав отмечать свое личное участие в войне, кроме исполнения гражданского своего долга.

То, что боевые системы его все время периодически совершенствовались по скорострельности, огневой мощи, простоте и надежности механики, маневренности, уменьшению веса, достигалось ценой неимоверного напряжения, изощренных поисков, ибо механизмы боевых систем в своих основных параметрах должны были оставаться без существенных изменений, чтобы при производстве модернизированного образца не нужно было изменять типовые операции, технологическую оснастку, режим обработки, менять инструмент тысячи наименований, приспособления, налаженную технологию.

И это давало возможность выпускать усовершенствованные системы без переналадки производства. Они как бы самозарождались из предшествующих образцов, наследуя от них все хорошее и каждый раз обогащаясь чем-то новым, лучшим.

Клочков знал, что создать новую оригинальную систему конструктору часто значительно легче, проще, чем, подчиняясь деспотии унифицированных, стандартизованных основных узлов, деталей, систем, придать им совершенство, виртуозно не изменяя числа их слагаемых, но внося то новое, что на первый взгляд кажется лишь продолжением старого, но на самом деле иногда равно научно-техническому открытию.

И он шел именно по этому пути, трудному, изнурительному, зная, что время — это тоже победа. И он выигрывал

производственное время в бесшумных, но беспощадных, истязающих мозг сражениях за чертежной доской.

Но это было не только его убежденностью в технической и экономической рациональности таких решений в условиях войны.

В цехах работали в основном подростки, женщины, они выучивались здесь же, у станков. Овладев типовыми операциями, типовыми режимами обработки, определенной технологической оснасткой и приспособлениями, они достигли высоких норм выработки и высоких качественных показателей неимоверным напряжением.

И, благоговея перед их самоотверженным усердием, Клочков обязал себя беречь их душевные силы, как и утомленные физические силы, думая, что сложившийся ритм, привычный тип деталей, методы и режимы их обработки облегчают труд этим недавно выучившимся рабочим и только что приспособившимся к такому труду.

И он приспосабливал к возможностям производства свои конструкторские идеи. Поэтому они были доведены до той степени строгого совершенства, когда все гармонически и целеустремленно подчинено тому, чему оно предназначено, и все нецелесообразное устранено. Это было как формула, выстроенная в металле. И стало тем высшим, чего он достиг как выдающийся конструктор, хотя в то время он считал это только одним из образцов советского оружия, оправдавшего себя надежностью, безотказностью и тем, что оно якобы только кое в чем превосходило оружие противника такого же назначения.

В редкостные часы свободного времени Клочков посещал военный госпиталь. Беседуя с находящимися на длительном излечении после тяжелых ранений бойцами, он выслушивал здесь для себя немало значительного, важного.

— Дальнобойность — это что? — говорил ему солдат, энергично размахивая култышкой правой руки. — Что это фактически означает? Я до него снаряд докинул на большую дистанцию, а он до меня нет. Кому спасибо? Рабочему классу, который таким орудием меня снабдил. Опять же точность! Снаряд больших денег стоит. По площади тоже полезно лупить, если на ней группировка, а ежели нет? Глупый расход. Вот если б соединить прицельность и дальнобойность, сколько бы мы своих жизней и своих снарядов сэкономили! Уйму!

Взять ту же скорострельность. Он по нас из одного ствола шестьдесят в минуту, а я в него шестьсот. В чью пользу баланс? И дураку ясно. Но при такой сложной механике должна быть гарантийная безопасность. А то было! Помню, появились одиннадцатизарядные винтовки. Ну что лучше! Но вот требовали деликатного обращения: чуть чего нарушишь — перекос или еще что... Хоть и одиннадцать в ней зарядов, а вера в нее подмочена. Никто брать не хочет. Давай обыкновенную нашу винтовочку, мосинскую, она, как родной отец, не подведет — озаботит.

Пулемет — машина распрекрасная, один расчет может целую роту перед собой распластать, в землю зарыть. Но тоже машина со своим капризом узаконенным. В наставлениях даже имеется официальное перечисление всевозможных заеданий. А разве это правильно? Оружие должно само себя оправдывать. Веру в себя доказывать. Вот насчет пушечек, орудий — тут я любитель! Сам артиллерист! Тут мы громилы! Весь вопрос, считаю, у нас сейчас не в стволах, а в тяге. Должно орудие, как все равно снайпер, маневрировать почаще, повеселее позиции сменять, хоть не так, как танки и самоходки, но тоже по-резвому, с темпом, в соответствии с солидностью калибра.

И еще какое мое замечание. Народ обвоевался. Культурный солдат пошел, образованный. В своем деле мастер и очень автомат полюбил. А надо не только автомат для личного оружия, но и для всей боевой техники нужно механизацию налаживать — и по подаче снарядов и по наводке. И мало ли еще что!

Я вам прямо заявляю. В начале войны у меня лично особого оптимизма на нашу боевую технику не было. Немцев по линии техники всегда серьезными считали, многоумелыми, многоопытными. Я вот с первого месяца в гаубичной служил, докладываю официально и категорически: наши орудия большую прочность показали, хорошую кучность, высокие баллистические качества, поворотливость, ходкость, что означает маневренность. А мы кто? Артиллеристы! Официально — бог войны...

Подобных разговоров было немало. Но, чтобы увеличить калибры танковой и противотанковой артиллерии, увеличить начальные скорости снарядов и их бронепробиваемость больше чем в пять раз, усилить маневренность ору-

дий созданием более легких образцов, умножить скорострельность применением полуавтоматических затворов, а затем перейти к автоматическим пушкам крупных калибров, — все это достигалось великим подвигом терпения, настойчивости, воли всего коллектива завода, напряжением безостановочного труда. И, как бы этот труд ни был пооперационно расчленен и поэтому однообразен, люди не утрачивали одержимости в таком труде, не тупели в нем, потому что не было дня, чтобы вдруг кто-то из рабочих не вносил неожиданно простое и поэтому дерзкое предложение, которое отменяло один способ технологии и утверждало другой, более эффективный.

Никогда столь плодотворно и успешно не работал Клочков, как в годы войны. Но он знал, что никогда творческая работа конструктора не обретала столь всеобщего соучастия всего коллектива завода, как в годы войны. Каждая модернизация, вносимая в боевую систему, в сознании людей была и усиленной защитой воина и дополнительной мощью его оружия. В людях неотрывно жило живое ощущение тех, кто воюет, кому они как бы из рук в руки передавали сделанное ими собственноручно оружие.

Однажды Клочков проходил мимо заводского общежития и увидел вывешенное на просушку после стирки белье. Его удивило, что с белья обильно капало, словно над ним шел дождь.

Заметив его взгляд, женщина, караулившая белье, сказала:

— На заводе силу свою не жалеешь — фронту служим, остаток — на постирушки. А вот чтобы отжать, выжать — тут уже силенок нет. Так и вывешиваем мокрое, может, и высохнет к ночной смене.

Внедрение новых методов резанья металла, литье под высоким давлением, штамповка вместо механической обработки, применение прессов большой мощности вместо свободной ковки вызвали необходимость переучивать людей на новые специальности.

Люди приходили после работы на занятия за час, за два. Усаживались, клали руки на столы, склоняли головы на руки и спали до прихода преподавателя. Объясняли:

— Иначе не получается. А соснул малость — и голова свежая, и ты тут весь без опоздания...

15

На завод прибыл весьма ответственный работник аппарата Совмина с сопровождающими его лицами.

Глухов знал Бориса Павловича Минина с той поры, когда тот работал в совете по эвакуации.

Под руководством этого совета за какие-то два с лишним месяца из западных районов страны было эвакуировано население, равное по количеству населению крупного европейского государства. Тысячи демонтированных заводов, промышленных предприятий, электростанций, погруженные на железнодорожные платформы, переместились с запада на восток и, смонтированные, в течение двух-трех недель стали давать продукцию фронту.

Чтобы осуществить это небывалое в истории человечества столь массовое перемещение людей в столь кратчайшие сроки и перевезти колоссальные грузы, равные только по своему металлическому весу тяжести горного хребта, нужен был высокий организаторский подвиг.

Глухов помнил в те дни Бориса Павловича Минина, тощего, плоскогрудого, осипшего, с воспаленными глазами, в глубоко запавшей на животе запотевшей гимнастерке, окруженного целой батареей телефонов и толпой представителей разного рода ведомств. Он говорил ровным, одинаковым для всех, без оттенков в интонации, усталым и поэтому, казалось, равнодушным скрипучим голосом.

Но вся властность его заключалась в его ответах: четких, ясных, определенных. Достаточно было мгновения, чтобы он точно назвал даты, головоломные совокупности цифр, обозначающие сложные комплексные ситуации, которые он тут же разрешал. Или говорил:

— Сейчас вылечу и проверю, почему эшелоны стоят. — И обращался к представителям ведомств: — Давайте ваши докладные, я в самолете с ними ознакомлюсь. И через два часа дам вам ответ. Ваш телефон запишите на папке.

Можно было предположить, что все нервные клетки его организма властно и деспотически подчинены им самим назначенной для них работе.

Это было и высшим самоотречением, и высшей сосредоточенностью, доступной, очевидно, ученым в период, когда они всецело поглощены работой, сулящей мировое открытие для блага всего человечества.

Но слагаемые его мышления состояли из весовых кате-

горий, емкостей для горючего, разного рода графиков, из количества железнодорожных осей, паровозов, продуктов питания, твердого и жидкого топлива, машин, путей железнодорожных и шоссейных, питательных пунктов, заправочных, ремонтных, баз всевозможного снабжения, фуража для крупного рогатого скота, овец, корма для свиней. Он держал в памяти миллионы тонн промышленного сырья с десятком тысяч наименований, как и сотни названий машин для переработки. И все это, безмерно разрозненное на огромном пространстве, следовало выявлять, объединять в системы промышленных комплексов, чтобы без промедления, собранные воедино на новых местах, они давали продукцию должного качества и в строго запланированном количестве.

Нынче и то такой объем противоречивой информации был бы по силам только компьютерам с их электронным мозгом, чтобы овладеть властно и безошибочно всем этим движением людских масс, их потребностями и материком материальных средств, перемежающихся с максимальной и нервной скоростью с запада на восток, с боем через все препятствия, возникающие, как в половодье заторы, на множестве разного рода транспортных магистралей.

Борис Павлович Минин выглядел изнуренным, измученным, щеки и виски у него запали, лицо было серым, словно запыленным. Но в любое время дня и ночи ровным, равнодушным голосом он давал четкие и ясные ответы на всевозможные запросы, безошибочно сохраняя в своей мозговой памяти тысячи меняющихся обстоятельств, показателей, данных и разрешая такие задачи, которые в сфере математических наук можно было б отнести к области астрономических исчислений, только без права оперировать понятиями, обозначающими неизвестность. И все это называлось оргработой.

Когда Глухов только еще принимал выгружаемое оборудование эвакуированного в Среднюю Азию завода, его вызвали на железнодорожный полустанок к телефону, и Минин попросил его назвать точную дату начала выпуска продукции.

Глухов сказал раздраженно:

— Но ведь даже не все эшелоны прибыли.

— Когда прибудут все, вы должны развернуть производство в полном объеме. А сейчас частично, по мере прибытия. — И Минин назвал те операции, которые может начать производить завод сейчас, немедля, с наличным

оборудованием, которое перечислил с такой точностью, будто сам только что принимал его вместе с Глуховым с железнодорожных платформ.

У Минина были блокноты, испещренные таинственными, как иероглифы, знаками. Получая сводки, он заносил в блокнот эти знаки. Достаточно ему было бросить беглый взгляд на страницу такого блокнота, как он излагал ситуацию, состоящую из множества слагаемых, и находил решение в коротких словах, почти подобных математической формуле.

Он вылетал на самолете и проводил выборочные проверки на местах, где положение складывалось критически.

Он никогда не упрекал руководителей в слабости, в том, что они не сразу находят выход из возникших трудностей.

Был терпелив, давая возможность самим найти решение, не навязывая своего мнения.

Но если сталкивался с обманом, спрашивал устало и уныло:

— У вас есть заместитель? Так вот! Сдайте ему сейчас же свои дела. Становитесь на учет в военкомат, с брони вы тоже сняты.

Он отвергал ходатайство за такого на любом уровне. Говорил твердо:

— Вот такое сочетание трусости с подлостью и есть разновидность предательства. Считаю: фронт — это еще большая честь для таких.

Он изъял из своей жизни все, что существовало помимо его работы.

Однажды на рассвете он вошел к себе в рабочий кабинет, держа в одной руке тюбик пасты, в другой — зубную щетку, взял телефонную трубку, вызвал директора предприятия, спросил:

— Как у вас там дела со шлифовочной пастой? Вы должны были доложить три часа тому назад. — Пожаловался помощнику: — Устаю, память сдает. Не записал проверить производство технической пасты для шлифовальных станков, стал умываться, вспомнил.

Сутки его были расписаны по минутам. Перед сном он обычно составлял для себя рабочий график на следующий день по специальной таблице, им же сочиненной.

И вот Борис Павлович Минин прибыл на завод к Глухову.

Глухов с трудом узнал его, потучневшего, опухшего, с выпученными глазами, с тяжелой одышкой, с темными кругами в глазницах, с брюшком, с сигарой в зубах.

Он ошеломленно уставился на сигару.

Минин, заметив это, брезгливо вынул сигару изо рта, плюнул, сказал сердито:

— Лечебная. Астматиком стал, черт! Дыхания не хватает. Душит. — И вдруг заявил бодро: — Ну что ж, посмотрим ваше хозяйство. — Усмехнулся: — Из оружейников аграриями заделались. Ну-ну, поглядим, чего и как вы тут мастерите. — Предупредил строго: — Только без докладов. Сначала глазами, без словесности.

В горячих цехах, обливаясь пóтом, жадно глотая палящий воздух, сняв пиджак и расстегнув ворот, развязав галстук, осведомлялся об огнеупорах, на ходу присоветовал новую для них рецептуру. Похвалил за ковши увеличенного объема. Присел на корточки, поскреб ногтем грязные наросты на полу, сказал огорченно: — Это же не пыль мусорная, а распыленный присадочный материал редких металлов. — Спросил: — Почему специальную тару не заведете? Высоколегированные стали варите, и такая неаккуратность. Немцы на подводных лодках редкие металлы к себе завозили, а мы роскошествуем. Муку бы небось не просыпали...

Но, когда сталевар назвал время и вес только что выданной плавки, Минин просиял, сказал ошеломленно:

— Это же рекорд!

Сталевар отозвался хмуро:

— А мы тут своими плавками не мировые рекорды били, а фашистов. По фронтовым сводкам свой труд подсчитывали, не до рекордов было.

— А теперь? — спросил Минин.

— А теперь по привычке, — ответил сталевар. — Наловчились, и все.

В механическом цехе Минин, остановившись у станков и прочитав таблицу с датой их изготовления, сказал почтительно и грустно:

— Музейные ценности... Как же умудрились на такой старине современное оружие производить?

— Какие там музейные! — обиделся мастер пролета. — Вы себе очки протрите или спросите сначала кого понимающего. Омоложены! Одни станины старые и марки на них тоже, а все остальное сами произвели, по последнему слову. — И стал объяснять все тонкости усовершен-

ствований, произведенных при модернизации станков.

— Это что же, по плану реконструкции?

— Какой там план! План у нас один — давай продукцию! По потребности между сменами мастеровали, сверх урока. Для себя же старались.

— Силен у вас рабочий класс!

— Рабочий класс почти весь был на фронте. А здесь что? Женщины, подростки да мы, пожилые, до винтовки не допущенные, старались по мере сил и способностей за себя и за фронтовиков справиться.

Проходя мимо красного уголка, Минин заметил:

— Плакаты и лозунги у вас с военного времени висят. Новых почему нет?

— А зачем нам новые? Эти все в душу нацелены, на все времена правильные!

— Зубастый у вас народ, — сказал Минин Глухову.

— Это они из заводского патриотизма, — объяснил Глухов. — Видят — начальство! Ну и показывают свою независимость.

— От кого и от чего?

— По существу, они должны были бы жаловаться на новые трудности, ну и на меня тоже. Но не хотят.

— Почему?

— А как же? За войну такое невыносимое преодолели, и вдруг после войны жаловаться! Это все равно что свой подвиг за годы войны умалить.

— И всегда так?

— На совещаниях массированные удары получаю, еле на ногах удерживаюсь. Люди очень требовательными стали, атакуют со всех сторон.

— Ну и как?

— Трудно пока. Но, пожалуй, справлюсь.

— Откровенно?

— А зачем темнить? Я всегда за ясность.

— Я тоже, — сказал без улыбки, строго Минин.

К концу дня Минин совсем занемог, дышал с трудом, вдыхая вонючий дым лечебных сигар, дымясь им, глотая какие-то таблетки; он весь взмок от пота, побледнел, волосы слиплись, губы высохли, потрескались, дышал полуоткрытым ртом.

— Вам плохо? — спросил, взволновавшись, Глухов. — Может, в медпункт?

— Сухо у вас здесь, зной, без увлажненного воздуха

пропадаю, — просипел Минин. — Мне бы у водоема какого полежать, где-нибудь в сырости.

— Может, в градирне? — предложил Глухов.

— Вот именно! — обрадовался Минин. — Это же для меня исцеление.

Заплетаясь ногами, он плелся за Глуховым к виднеющейся дощатой башне градирни, дымящейся паром.

Они вошли внутрь, разделись, забрались на решетки, уселись в парном тумане. Сверху беспрерывно шел дождевой ливень теплой воды из остужаемого отработанного пара.

Минин, потирая грудь, сказал с блаженным выражением на лице:

— Хорошо! Для астматика первоклассная лечебница. Как в раю! А то ведь совсем пропадал! Был случай: прямо у лужи прилег. Влажности в воздухе не хватало. Всю грудь словно клещами сдавило. Как висельник себя чувствовал. Полежал, очухался. Башка вот работает, а организм при ней сдает. — Предложил радушно: — Ну что ж, поговорим. Есть у вас что мне сказать, только не очень деловое, а так вообще?

— Можно, — согласился Глухов, поплотнее усаживаясь на склизких решетках. Усмехнувшись, заявил: — Вот, например, самое древнее на планете искусство инструментальщика. Пятьсот тысяч лет назад то существо, которое впервые взялось за палку и камень, чтобы создать из них орудия труда, оружие для охоты, стало от этого человеком и положило начало профессии инструментальщика.

— Ну и что? — сладко жмурясь, спросил Минин.

— А то, — сказал Глухов. — Главные наши реконструкторы — кто? — И ответил тут же торжественно: — Инструментальщики! Не будь их, кто были бы мы? — Разъяснил озабоченно: — Основная масса технологической оснастки имеет необратимую конструкцию. — Он многозначительно вытянул перед лицом Минина указательный палец. — Значит, предназначена только для выпуска определенных изделий. — Осведомился вежливо:—А вам известно, что новые изделия—новые хлопоты? Значит, что? Значит, подавай тысячи именований нового инструмента, приспособлений, оснастки, чтобы усовершенствования воплотить в металле. Выходит, каждого усовершенствования боевого оружия без нашего собственного самосовершенствования не могло быть. — Хлопнув ладонью по настилу, Глухов заявил: — Если для ясности — выра-

жусь так! Дайте мне мой инструментальный цех, со всеми его лучшими людьми, необходимые заготовки, и мы все станки, агрегаты и все оборудование для целого завода собственноручно сделаем. Как вот в годы войны мы сами себе производили и ничего у правительства не клянчили. А главные чудотворцы кто? Опять же инструментальщики! Им еще ко всему добровольная нагрузка — конструкторское бюро. У завода план — закон. У конструкторского бюро закон — идеи. А идею разве спланируешь? Идея — это что? То, что должно быть, чего еще и нет. Пока конструкторская идея не материализована, от нее одни неприятности. Скажем, так: заводится, допустим, привидение на заводе. Бродит оно по цехам и своей фантазией людей будирует. На каждом производственном совещании стоит оно где-нибудь в темном углу и слезно плачет, жалость вызывает. А лица у привидения еще нет. Не то оно распрекрасная юная девица, не то древняя старуха с седой бородой.

Вот и соображай: рабочее время привидение просит, материал просит, средства просит, всякие чудеса сулит. Дашь! А отдача? Может, все обернется металлоломом? А сверху! — Глухов поглядел на туманное облако, заполнявшее градирню, сказал, опасливо кивая: — Вот вроде этой тучки, только с громом и молнией в приказе на твою башку свержнет — за перерасход, за необоснованный идеализм, за отрыв от практики. — Сощурился от падающих капель. — Конечно, без труда и рыбку не вытянешь из пруда. В биографии нашего завода имеются факты совершенствования боевой техники, равные вкладу в науку. Но каждый раз я лично, как после рукопашного боя, выскочу, отдышусь. И только тогда подсчитываю баланс из приказов: каких больше — с «указать», «поставить на вид» или со всякого рода благодарностями, премиями и наградами. Но, — Глухов сурово свел брови, — при всех подобных обстоятельствах я, как директор, принимал всегда огонь на себя.

— На то и руководитель, чтобы быть мишенью для критики, — заметил Минин.

— Вот Игнатий Степанович Клочков, главный конструктор, — для завода фирма! Мозговой центр! — продолжал Глухов. — Поэтому нервы я разрешал только мне трепать, а ему — отнюдь никому! — Сжал кулак. — Тут уж я без пощады... как к себе, так и к тем, кто Клочкова недооценит. — Сообщил доверительно: — Игнатий Сте-

панович сам отличный станочник, и строгальщик, и фрезеровщик, и сверловщик, и шлифовщик, и зуборезчик, и карусельщик — все постиг! И на каждой специальности может получить хороший разряд! Это все равно что, допустим, великий композитор на любом инструменте оркестра сам виртуоз-солист. Клочков еще и слесарные, машиностроительные, металлургические специальности знает. Поэтому его конструкторские фантазии всегда прочно обоснованы на надежных способностях металла и на разных хитрых методах, чего металлу надо выполнить. Мастерам он не просто верит, а обожает их, восхищается ими с полным знанием всех тонкостей их дела, и у людей от этого крылья растут, поднимают над трудностями, открывают перспективу пространства для ясной видимости конечного результата поставленной задачи.

— Ну-ну, воздавай почести себе и другим, — поощрил Минин, блаженно потягиваясь.

— А сколько раз инструментальщики переналаживали, перевооружали завод — это на фронте только известно. Как новая или заново усовершенствованная боевая система, так инструментальщики без остановки производства, без снижения темпов, с ходу полным обеспечением технологической оснастки давали возможность переходить на новый вид продукции.

И Глухов произнес задумчиво:

— Хорошая работа — это не только знание приемов труда, но и способность всегда самоотреченно сосредоточиться, не рассеивать внимания, чего бы там ни было. Можно научиться приемам труда, но никогда не выучиться на хорошего мастера, если не овладеешь собственным самоуправлением — забывать все постороннее, кроме работы.—Заговорил с воодушевлением: — Нужно не только по чертежу понимать технологию обработки назначенной тебе детали, но и иметь глубокий интерес, обширное понимание, для чего она предназначена, что она значит в общем целом, тогда ты — туз, личность! Не исполнитель, а творец. Нужно, чтобы каждый всегда знал конечную цель, назначение своего труда. Отсюда что? Как бы в годы войны ни стало тяжко, трудно, непосильного людям не было. От изнеможения у станков падали? Падали! Но почему? А потому, что даже какому-нибудь чемпиону спорта, специально натренированному, такая нагрузка была бы не под силу. Физическая механика нередко сдавала,

а психическая механика работала, подменяла ее и вывозила, потому что каждый человек работал как воевал.

Спросил:

— Бурмистренко не знаете? Он теперь мастер пролета, а тогда был просто слесарь. Утром у верстака, вечером, смотрю, тоже. Ночью зашел в цех, вижу, стоит у верстака, не разгибается. Хотел спросить: почему так надрываешься? Подходит бригадир, не велит Бурмистренко беспокоить. Говорит: «Горе у него! На сына похоронку получил. Почти сутки в работе, чтобы только о работе думать и так устать, чтобы тут же на топчан — и в сон, без мыслей». Почти месяц он так из цеха не выходил. Бригадир полагал, что он нарочно обессмысливал себя от горя таким изнурительным трудом. А что вышло? Представил Бурмистренко Клочкову мерительный прибор для проверки точности нарезки в канале ствола. Это и кучности содействовало, и прицельности, и начальной скорости. За сына, значит, создал. Усилил боевое действие оружия. Вот как по-рабочему отцовское свое чувство горя и ненависти к врагу высказал! И таких случаев немало было.

Потер шею, преодолевая спазм в горле, произнес сипло:

— Почему дисциплина была на высоте? Конечно, законы военного времени строгие. Но каждым высшее сознание командовало. Для фронта работаем! И каждый каждому об этом высшем мог полномочно напомнить, мог упрекнуть, потребовать. Самодисциплина крепкая была. А на чем ее фундамент? На ясном историческом прицеле — врага свалить.

Сказал яростно:

— Вот я кто для них? Генерал-майор, директор! У меня власть не меньше, чем у командарма. А был бы я умнее или глупее, лучше с людьми или хуже, они бы на это только щурились, извиняли все по обстоятельствам военного времени. Но вот если б дело страдало от недостатка моего ума или характера, тут они на любом совещании мне самосуд бы устроили. Растоптали б без милосердия. А ведь я во многом был виноват: и с жильем не управлялся, и с топливом, и с питанием, водопровод до жилого района не дотянул. На бане, на магазинах, на школьных помещениях выжуливал, чтобы только кадры куда разместить было. Что ни помещение, то общежитие, хотя вначале обещал под жизненно нужное. Врал по быту — прощали. Жизнь не облегчал — прощали. За что прощали? А вот за это самое, что дал им все возможности по про-

изводству оружия развернуться. Тут чего не попросят, даже не попросят — намекнут, в лепешку разобьюсь, а добуду.

Улыбнулся жалобно:

— С базара местных чеканщиков, медников, жестянщиков, паяльщиков приводил — и в ученики. В госпитале канючил, кого вчистую из армии, если со специальностью подходящей, хоть инвалида, — к себе. Для инвалидов курсы специальные организовывал, даже медиков нанимал гимнастикой их восстанавливать. В инструментальном цеху нашлись таланты, которые протезы им механизировали, специальные державки для инструмента сочинили. Как на фронте раненые, если могли, в боевом строю оставались, так и в тылу они в строй трудовой становились.

Сказал мечтательно:

— А сколько я от бронированных сносил всяких выпадов! Требуют: разбронируй, хотим на фронт! Каким идеалом люди жили? Пришибить войну, размозжить ей башку в Берлине. Ради этого идеала все их самопожертвование. Макушку счастья в этом видели. — Заявил сурово, требовательно: — А теперь надо с места в карьер налаживать, хоть и не полное счастье — до него еще труда надо много выложить — но хотя бы достойную жизнь обустроить по силам и возможностям. Наш человек все прошел, все выдержал, на такую высоту истории поднялся недосягаемую. Кому с иным духом! Вот сама земля истощилась, ослабла, замучилась, ее поднять можно только чем? Машинами. Тогда только с нее получишь не подаяние, а полновесный урожай. Кто этого не понимает? Все понимают! Вот нам страна приказала: давай с ходу уже не оружие, а сельскохозяйственные орудия. Правильно? Правильно! Технологию производства перестроить не так уж трудно. А вот психологию людей!.. Можем мы с них сейчас требовать такого самоотреченного труда, как во время войны? Не можем! А есть охотники на «ура» трудности одолевать. Жить и работать все согласны, хоть натощак, но уже по мирному графику. Одно сознание у человека, когда он трудом Родину защищает, другое сознание, когда хозяйство надо налаживать. И тут идеал нужен, вершина, которую надлежит одолеть ради не только благополучия, но и ради того, для чего Октябрьскую революцию свершили, чтобы люди все поняли: эта победа в войне не только военная, а победа всего того, что составляет нашу сущность. И победа нам должна разго-

ном послужить для достижения того всеобщего, в чем наш высший идеал заключается. Значит, отсюда что? Отсюда следует: партии, коммунистам — всем работы не убавилось, а прибавилось. И как всегда и во всем, коммунисты должны двойную упряжку на себя взять. Жизнь людям наладить и на новый высший уровень производство вытянуть, и не за счет только энтузиазма и «ура», а умом одолеть трудности.

— А вы не горячитесь, вы поспокойнее, — посоветовал Минин и придвинулся ближе к Глухову.

— А в чем ум? — горячо продолжал Глухов. — Прямо скажу. Мирная продукция — это не подачка с основного производства. Сельская машина наша должна быть такая же качественная и совершенная, как и боевое оружие. И чем она совершеннее, тем малочисленней должен быть расчет для ее обслуживания. Так в войну мы совершенствовали боевую технику, такой и в мирное время должна быть наша линия.

Опустил голову, сказал, глядя на свои ноги:

— Сейчас я что на самом себе чувствую? На переходный период еще гожусь, а дальше не соответствую. Почему? А вот моя слабина: у каждой машины своя душа, своя назначенность, к ней человек должен душой быть привязан и всей своей жизнью на нее себя нацеливать, чтоб все ее тонкости, как себя, понимать, чтобы ее, как себя самого, совершенствовать. А я оружейник. У меня к машине своя привязанность и свое понимание. И тут я себя переделать не смогу. Как из танка трактора не получится, так же и из меня руководителя иного предприятия, с другими изделиями.

— Значит, что ж, капитулируешь? — осведомился неприязненно Минин.

— Это, конечно, пока моя личная тайна, — угрюмо признался Глухов, — но придет время — наружу она вылезет. Придет время — про себя так публично выскажусь. Сейчас только озираюсь, кого вместо себя порекомендовать.

Произнес почтительно:

— Игнатий Степанович Клочков — он, по-моему, гений, но по сельским машинам фантазер! Не знает он труда сельского и агронауки не знает. По книжкам — возможно, но своей жизнью он мимо деревни шел. Сконструировал сеялку. Машина получилась без адреса, для неведомых почв, с неведомыми семенами. Не машина — агрегат

сложнейшей механики. На нее только инженера сажать, и стоимость ее — авиационная. И узлы тоже. Не от жизни шел, не от реальной потребности и возможности. Срезался... Ум у него мощный. И сейчас подкинул много ценнейшего из того, что мы для производства оружия применяли. Но на сельские машины у него вдохновения высокого не получится. А вот кто землю знает, я бы таких к нему в конструкторское бюро потянул, они бы на землю его мысли поставили. Колхозных механизаторов, каких поспособней. — Вздохнул: — Только вот штаты... Значит, получу «на вид»... — Продолжил, снова воодушевляясь: — Клочков — человек, баснословно воодушевленный. Каюсь, конечно, я ему такие тормоза ставил на полном ходу его творческой мысли. Выдвинет идею нового оружия, горит ею — не подходи, обожжет так, весь ею пламенеет. Но если весь период от проекта до эталона подсчитать, получается по расчетам — года. А мы сегодня воюем! Ну сшибались с ним, самому вспомнить горько. Отговаривал — не надо! Он меня и вредителем, и саботажником, и консерватором, и карьеристом обзывал — как хотел. Хватался у меня же в кабинете за ВЧ. На самый верх жаловался. Оттуда что? «Считайтесь с выдающимся конструктором». Директоров назначают и снимают, а у ученых высшая должность пожизненно — ученый... Остынет потом. И что-то из своей великолепной идеи оторвет заживо и пустит для совершенствования уже существующего образца с налаженным производством. Клянет себя за уступчивость. А фронт получает непрерывно усовершенствованные боевые установки серийно и вовремя. Переучиваться владеть ими не требуется, и они по всем показателям превосходят подобные установки противника. Значит, бой по технике мы выиграли. Вот какой ум у Клочкова дисциплинированный! Сам от своей технической мечты куски отрывал заживо. Но без этого нельзя, время, оно тоже слагаемое в сражении. Упустишь время, потеря невосполнима.

Поморгал от падающих на лицо капель, сказал грустно:

— А теперь что я должен, по совести, доложить? Раньше за Игнатием Степановичем водилось: небрежничал со своими мыслями, набросает на клочках бумаги, где придется, и забудет. За ним такие бумажки специальный человек подбирал, после ему же их для размышления представлял. Но потом Игнатий Степанович сам стал за собой следить. Сейф потребовал, ключи к нему. И все наброски,

мысли, записанные наскоро на бумаге, уже бережно в сейф складывал, впрок, на будущее. И скопилось у него такое весьма ценное, что в годы войны не могли до окончательного проекта и эталона мы довести, в силу опережающей наши возможности его технической фантазии и научной мысли. — Усмехнулся хитро: — Я его после войны информацией снабжал, как за рубежом, на Западе, за океаном, новое оружие стряпают, вернее, о направлениях их стряпни, хотя это не стряпня, а весьма опасные затеи. Так он на все эти бюллетени фыркал. На сейф свой косился, говорил обидчиво: «Вот! Заживо сколько ценного ваша милость в этом склепе замуровала. Хватит с меня этой братской могилы технических идей. Буду теперь только сельский инвентарь конструировать, хотя снова душителей на этом пути немало. В вашем лице — тоже».

— Чего же он такой обидчивый? — спросил Минин. — Ему же Героя дали. И вы что же от меня хотите, Алексей Сидорович? Чтобы я вам высказал соболезнование или поддержал ваше беспочвенное соображение о переводе на другую работу?

Глухов наклонился, сказал почти шепотом, жалобно, просительно:

— А вот поддержите меня! В инструментальном цеху хочу участок выделить для завершения некоторых незавершенных конструкторских работ Игнатия Степановича Клочкова!

— Позвольте, но ведь эти работы связаны с боевыми установками!

— Именно! — воскликнул Глухов. — С новыми или, вернее, самоновейшими.

Минин напомнил строго:

— Приказ о переходе на производство мирной продукции — закон. Ваше производство переналаживается в соответствии с этим приказом. И по этой части у меня к вам нет существенных замечаний и рекомендаций. Справитесь! — И Минин добавил из осторожности: — Более или менее. — Насторожился: — Если же у вас есть скрытые резервы, доложите — в направлении увеличения плана основной продукции. А так нельзя, голубчик, самодеятельностью заниматься.

— Без самодеятельности нет почвы для инициативы.

— Да вы что, батенька? Прошлым хотите жить?

— Почему прошлым? Будущим!

— Так ведь война кончилась.

— А вот чтобы она никогда не началась, ради будущего и тревожимся, чтобы было чем пресечь ее любые возможности.

— Но не заводу с сельскохозяйственным профилем производства!

— Профиль — это только одна сторона физиономии. А лицо у нас пока сконфуженно выглядит. Обещали армии дать новую установку. В свое время не дали, задолжали. Теперь должок отдадим согласно договоренности.

— Кого с кем?

— Завода с армией.

Глухов смущенно поерзал на мокрой решетке, сообщил:

— Из Министерства обороны согласие есть — подписи генерала армии Белогривова и генерал-полковника Лядова. — Произнес вызывающе: — Сами напомнили, что установка ими в принципе была одобрена еще в первом варианте. В боях за Берлин испытана в одном экземпляре. А теперь эта наша установка от той прежней отличается, как поршневой двигатель от реактивного, хотя все пока не в металле, а в чертежах, в проекте. — Помялся. — Ну уж, если по-честному, частично запустил под свою ответственность.

— Вы что же, через голову своего министерства действуете?

— Через ведомственный барьер сиганул, верно. А на головы рассчитывал — поймут! — резко сказал Глухов.

— Вот что, Алексей Сидорович! — вспылил Минин. — Я тебе не ревизор. План тебе мирной продукции спустили — выполняй, как закон. — Вздохнул огорченно: — Эх, не захватили мыла и мочалки, а то бы заодно помылись бы. — Подмигнул: — А насчет вашей самоновейшей боевой установки я в своей архивной башке материал хранил. И с этими генералами у меня разговор был. Верно, хвалят! — Сказал оживленно: — Хочешь на шею сверхплановый хомут надеть, надевай. Но не вытянешь план, на себя пеняй. — Потянулся. — А я ведь, кстати, хотел этот заказик на оборонный завод перекантовать. Вместе с материалами, конструкторами и прочим.

— А у нас что, не оборонный?

— Был, да весь вышел, — улыбнулся Минин. — Надо бы и вывеску тебе переписать: «Завод сельскохозяйственного машиностроения». Для полной всем ясности, и тебе тоже. — Заметил осуждающе: — Хотя машины вы выпу-

скаете по кондициям далеко не оборонным, сдает качество. — Спросил строго: — Рекламаций много?

— Много, — потупился Глухов.

— Ну вот, будет еще больше — снимем! Здоровье-то как?

— Как у бугая, — хмуро сказал Глухов.

— Сохранился, значит, а я вот надорвался маленько. Персональную астму завел для солидности. Совсем ни к чему. — Пошевелил скрюченными пальцами босых ног. — Член Советского правительства называюсь! А как Черчилль, сигарой дымлю, видал? А кто знает, что она лечебная? Посылали в санаторий, два дня полодырничал, дальше не могу. Все спят нормально, а для меня ночь — самое спокойное время для работы. За годы войны мы все приучились по ночам работать. Организм не переубедишь. Домой придешь — нет веселья. Двух сынов в авиации потерял, и дочь-радистку фашисты казнили. Осиротели мы с женой. А у тебя что?

— Старший в кадрах остался. Дивизией командует. Младший Бауманский окончил, в научно-исследовательский взяли, над какой-то засекреченной темой колдует. Даже отцу не говорит, родня, называется.

Помолчали, каждый думая о своем.

В парных сумерках, в шорохе падающих дождем капель, заточенные в деревянном остове башни градирни, пахнущей теплой болотной сыростью, в банной наготе, они сидели на осклизлом мокром настиле, свесив в проемы решетки ноги, опираясь ладонями с растопыренными пальцами о скользкие доски, понуро опустив головы, отдыхая.

Потом Минин спросил:

— Алексей Сидорович! Чего это ты все-таки вздумал передо мной речь такую держать, будто я того не знаю, чего ты знаешь? В чем убедить хотел? Или какой особый смысл имел в резерве?

Глухов сказал равнодушно:

— Просто так, разговорился — и все. Для себя больше, пожалуй. Завод мне — жизнь. Вот о жизни, что ли, заговорил. Может, неправильно?

— А я таких не люблю, которые осторожно живут и думают осторожно, так же как и тех, которые хоть и фальшиво, но громче всех говорят, — сказал Минин, тряхнул головой, добавил: — И излишне начальстволюбивых тоже не чту. — Спросил живо: — Ты как счита-

ешь, прибавила нам война ума или нет? Вот именно — прибавила. Но есть еще такие, которые на себя исторические приписки делают, на свою личность, а ведь ни к чему это. Сейчас, если начистоту, бой самый решающий. Восстановим все в наикратчайшее время — значит проскочим через опасность новой войны, закрепим позиции социализма навечно. Я так считаю: микроб не становится опаснее оттого, что его в микроскоп увеличивают. Но знать опасность надо и изучать ее надо, чтобы предотвратить. А вот американцы нынче заявляют, что их атомная бомба заставит весь мир слушать их советы.

На производство такой продукции ума у наших ученых хватит. Жалко, конечно, на такие изделия мозги и средства тратить, а приходится... Но вот обрати внимание. В Тихом океане остров Науру изобиловал щелочным гуано, фосфатами, и флот США разбомбардировал остров, чтобы лишить Японию удобрений, вызвать падение урожайности, голод. Значит, намек мой какой? Сельское хозяйство — это сейчас наш фронт, и механизация — оружие этого фронта. Значит, ты как был вооруженцем, так им и остаешься. Внял? Ну тогда пошли. Отдышался вполне! А драконить вас, товарищ директор, мы будем, когда весь материал соберем, изучим. Щадить не будем, самого заставим все исправлять.

Оглядел завистливо могучую мускулистую фигуру Глухова.

— Тем более сам доложил: здоровье как у бугая. Что касается критики, то от нее освобождаются только покойники и юбиляры. Таких льгот для нас с вами в ближайшее время не предвидится.

И Минин улыбнулся, хотя до этого лицо его было строго-озабоченно и казалось не способным к улыбке.

16

Если он и она, сидя рядом, долго и привычно молчат, значит, это супруги с большим, сложным, не бесконфликтным семейным стажем. И он из тех, кто только 8 Марта вспоминает о своем официальном долге: в магазине подарков он покупает жене подарок в пределе раз навсегда определенной суммы, полагаясь на вкус и выбор продавца. Такие любезничают при посторонних и равнодушны наедине. Такие женятся не по любви, а от нелюб-

ви одиночества, чтобы продолжать потом одиночество вдвоем.

Когда ищут переулок, для этого, конечно, вовсе не обязательно ориентироваться по звездам, но знать, что по звездам можно сверять главное направление в жизни, следует.

Соня как-то сказала Петухову с деланным отчаянием:

— Вот, считают, что нервные люди чрезмерно разговорчивы. Я не нервная, но говорю с тобой так, словно думаю вслух обо всем, даже неинтересном и глупом.

Петухов улыбнулся.

— Благодарю за доверие!

Соня посмотрела на него испытующе:

— А вот ты боишься что-нибудь непродуманное мне сказать!

— Боюсь! — признался Петухов и объяснил: — Я даже утром стесняюсь заспанным, всклокоченным, небритым тебе показаться. Пойду на цыпочках умоюсь, побреюсь, зубы почищу и тогда...

— И будишь меня, всклокоченную, заспанную! — воскликнула Соня.

— Вот такая ты для меня самая лучшая, и я единственный, кто тебя такую знает, самую великолепную, теплую, где-то между явью и сном пойманную. И первый, кого ты видишь, это я!

— Я часто думаю, — сказала застенчиво Соня, — просто так жить — это тоже счастье. — Спросила встревоженно: — Неправильно, да?

Петухов задумался, потом проговорил не очень уверенно:

— Я где-то читал: человек — принципиально новый вид животного. Значит, хоть и новый вид, но просто так, животно, существовать тоже, очевидно, приятно.

— А ты бы мог?

— Чего?

— Ну просто так существовать, как животное?

— Ну вот еще! — обиделся Петухов. — Столько миллионов лет из простейшего, одноклеточного в человека оформлялся и вдруг — обратно в шкуру.

— А если б я в шкуре лохматой, ты бы со мной как с животным обращался?

— Зачем? Брил бы всю через день, только и всего, — деловито, без улыбки произнес Петухов, — купил бы

серной грязи, обмазал, от нее волос сам по себе облезает. Стала бы, как все, человеком.

— Спасибо, Гриша! — сказала Соня. — Ты у меня хороший, заботливый. А вот теперь скажи, мы с тобой — счастливые?

Петухов покряхтел, почесал бровь, сказал робко:

— Если персонально, то да. А если вообще— не очень.

— Почему? Я плохая?

— Ты у меня лучшее произведение всех эпох, — улыбнулся Петухов, свел брови в одну линию, сморщив озабоченно переносицу, сказал задумчиво: — Мы вот на фронте уцелели, и тут нам все удобства жизни предоставили, уважают за войну. А прихожу в цех — чем больше о людях узнаю, тем сильнее за себя совестно.

— Ты же на трубогибочной по три нормы выдаешь, в заочный приняли, и Зубриков тебя хочет к себе в инструментальный, а там не кто-нибудь, лучшие мастера, рабочая интеллигенция.

— Вот именно! — обрадовался Петухов. — Ленин так лучшую часть рабочего класса величал — рабочей интеллигенцией, и не только по высоким разрядам это звание, а по культуре духа, что ли. А я не тяну, — признался он жалобно.

— Как это не тянешь? — обиделась Соня. — Ко всему ты еще старший лейтенант запаса, и орденов сколько.

— Так это за войну, — сказал Петухов. — А у них у всех здесь своя биография, особая. Вот Ольга Павловна Махоткина, сборщица, двое детей своих и третью девочку, эстонку, удочерила. Ее родители из Таллина на пароходе эвакуировались, пароход фашисты потопили, но девочку спасли, привезли в Ленинград, а там блокада началась. Махоткина для всех трех детей на равные доли свой паек делила, а все трое этих ребят медленно на ее глазах слабли, тощали, почти при смерти были, когда их сюда вывезли. Как прибыла она ночью, на земляных работах котлован под фундамент завода копала, а днем, при свете, за станок. Станки сразу под железнодорожный навес поставили и заготовки для авиационных пулеметов обрабатывали. От мужа ей сразу два известия в один день — с фронта письмо его и похоронка о нем. Она письмо мужа всем в цеху читала, очень патриотическое, чтобы дух людям поднять, а про похоронку скрыла. И долго скрывала. И пенсию даже не ходила получать, чтобы лю-

ди не знали, что она вдова, и не стали ей чем-нибудь помогать, когда все и так в помощи нуждались.

— Так она что, такая святая, что ли?

— Не святая, а в партию здесь вступила и, как коммунистка, взяла нагрузку — семьям фронтовиков помощь оказывать. А вышло бы, что она себе тоже помощь получала бы.

— Это только ты так думаешь! — презрительно скривила Соня губы.

— Не я, а она так думала, — сказал Петухов. — Я так считаю, что она так думала. Вот она специально по-эстонски ради приемной дочки говорить выучилась, чтобы совсем быть как родная мама, и по-местному тоже. Она женорг, а местные женщины на подсобные приходили, закутают лицо платками и через платки дышат, а работа трудная — строительная. Так она и к семьям их ходила, на их языке специально со стариками разъяснительные беседы вела, чтобы женщины лицо платками не кутали. И вообще на равных правах со всеми всем пользовались.

Она еще красивая и зарабатывает неплохо. К ней многие сватались. Не хочет. «Разве, — говорит, — здесь кто-нибудь с моим Василием Егоровичем сравнится? Мелюзга». А я видел их семейную фотографию. Человек щуплый, ей до плеча, да еще сапоги на высоком каблуке и усики как у Чаплина.

— А он кто был в мирное время?

— Стахановец, его портреты в газетах печатали, на фабрике «Скороход» лучший обтяжчик.

— Значит, знаменитый был! — сказала Соня. — А знаменитые люди славой своей красивы. Вот Пушкин, говорят, не очень был, а какие наикрасивейшие в него на всю жизнь влюблялись. И на фронте у нас генералов много, а самые знаменитые не они были, а те, кто героические подвиги свершал: Матросов, Зоя, Талалихин, Гастелло, — им и памятники.

— Как ты думаешь, — спросил Петухов, — есть у меня рабочий талант или нет?

— Чтоб про тебя в газетах писали — это хочешь? — ехидно осведомилась Соня. — Нет уж, нарочно мне такого не надо. Мне ты не знаменитый нужен, а во всем хороший. Вот когда я палец ушибла и ты целовать это место стал, а потом и глаза, и губы... У меня даже ноги

ослабели от счастья, что так всю меня любишь. Вот это для меня главное, на всю жизнь главное...

Петухов потупился, расслабленно, смущенно улыбаясь, потом поднял глаза, сказал удрученно:

— Мы с тобой на фронте жить привыкли, и сейчас нам с тобой как рай. А вот меня к себе домой Павел Алексеевич Зубриков зазвал. Пришли, живет за занавеской в общежитии. Теща-старуха, жена, трое детей и брат-инвалид, однорукий, младший лейтенант, а теперь ночной сторож. Жена, теща, дети на койках спят, а они с братом на полу, между коек, на матрасе.

Стол один на всех. На нем еду на примусе готовят. И за этим столом он уроки учит по ночам — в техникум поступил. Худо живут, а почему-то не замечают, что худо. Он на гитаре мне играл, а брат его пел. Голос как у Козловского, красивый, за душу берет.

Я брата спрашиваю: «Почему в клубе не выступаете с таким голосом?» А он даже обиделся. «Что ж, — говорит, — если инвалид, так должен петь людям на жалость к себе? Аплодировать будут не за голос, а за то, что без руки, а пою. А мне это не надо». Оказывается, по ночам на дровяном складе, который он сторожит, одной рукой плотничать учится: табуретки, столы, полочки...

— Что же ты не поставишь вопрос, чтобы Зубрикову квартиру дали?

— Я ставил, — сказал Петухов. — Но завком отвел.

— А ты их заставь по партийной линии.

— Как же я заставлю, когда Зубриков сам и есть завком! Он и отвел мое заявление. Еще замечание при всех сделал. «Что ж ты, — говорит, — не соображаешь? За что меня люди выбирали? Не за то, чтобы я самообеспечением занимался. А еще, — говорит, — парторг!»

— Значит, принципиальный!

— Он меня даже в подхалимаже за это заподозрил. Мол, захотел меня взять к себе в инструментальный, а я ему за это квартиру стал выхлопатывать.

— Это же обидно! — возмутилась Соня.

— Обидно? — сказал Петухов. — Ничего обидного тут нет. У кадровых, или, как Ленин их квалифицировал, у рабочей этой интеллигенции, своя особая тонкая этика, высокий обычай — свою рабочую репутацию всегда перед коллективом во всем в чистоте содержать. Ну я на это и накололся.

Зубриков на заводе знаменитый ударник, и к тому же

еще он член парткома, горкома. Репутация у него высочайшая.

И это он вопрос поставил твердо: добиться такой взаимозаменяемости всех деталей для узлов сельхозмашин, как было достигнуто в производстве оружия. А заводу это невыгодно.

По ГОСТу такой точности обработки не полагается. И оплата стала ниже, и время обработки соответственно снижено, а нормы повысили.

Директор на совещании сначала на него голос повысил. Министерство нормы выработки, график технологический пооперационной обработки утвердило, а Зубриков против министерства выступает. Шлифовка, шабровка, доводка — это же дорогие операции, ну и у ОТКа, значит, должны требования завыситься, а заработок снизиться.

Директор — к массе, говорит: «Вот, пожалуйста! Товарищ Зубриков выступает за то, чтобы вы меньше получали, а завод по валу застрял на недовыполнении плана».

И начал на руке пальцы загибать.

«Оборудования нового нет. — Один палец загнул. — Часть эвакуированных уехала, рабочей силы не хватает. — Второй палец загнул. — Освоение новой продукции всегда связано со снижением темпа производства. — Третий палец загнул. — Материально-техническое снабжение отстает от нужд предприятия. — Четвертый палец загнул. — Дать механизаторов на сев и уборку из своих кадров должны». —Пятый палец загнул.

Тут ему Махоткина из зала крикнула:

«Вы разуйтесь, а то пальцев на руках на все трудности не хватит!»

В зале смех, понятно.

Директор, он не дурак, схватился за этот смех, чтобы культурно и ловко отступить. Раз, говорит, вы так хорошо, весело, самоуверенно настроены, согласен под вашим давлением. Но давайте проголосуем. И зафиксируем результаты голосов.

Ну, все руки и вытянули.

А потом стали расходиться, словно опомнились, у каждого свои нужды, а он за снижение заработка проголосовал. Угрюмо разошлись, озабоченно.

Я думал, Зубриков просто так решил это мероприятие провернуть. А он, оказалось, с группой мастеров давно уже в инструментальном электрифицированный инструмент стал создавать, и шабровку, и весь шлифовальный,

новую рецептуру пасты придумали, чтобы на высоких скоростях шлифовать, ну и мерительный инструмент из ручного в полуавтоматы переделали. Значит, сначала техническую базу подвел, а только после выступил.

Я его спросил: что же вы сразу на собрании не сказали про новый инструмент? А он смеется. Мне, говорит, важно было руководству доказать, какой коллектив у нас сознательный, самоотверженный. Вот и доказал.

Конечно, говорит, если б не механизировали труд, выступать с таким предложением — чистая демагогия. Поддержать, возможно, и поддержали бы. Так оно и получилось. Но без механизации неправильно было б. Сейчас не война, чтобы люди через силу на себя лишнее брали и заработок на этом теряли. Поправляться людям после войны надо через облегчение труда, посредством механизации и увеличения от этого заработка для улучшения жизни. Во марксист!

Мы это на вечернем проходим на лекциях, а он на практике все это осуществляет.

Насупился и сказал удрученно:

— Это тебе не фронт. Что командир приказал — то все. Здесь каждый может по всему заводу в целом свое внести, а завод — это, по фронтовой мерке, дивизия.

17

Петухов не говорил Соне, как трудно ему давались первые уроки труда в инструментальном цехе.

Вот дали ему заготовку для первичной обдирки. А какая марка стали — не сказали.

Он к бригадиру — жаловаться. А тот молча подставил заготовку под наждачный круг и по искре точно назвал марку стали. Потом на других заготовках из различных марок по фонтанчикам искр объяснил, как безошибочно определять состав и физические свойства стальных сплавов.

— Без рабочей памяти инструментальщика не бывает, — сказал бригадир. И добавил внушительно: — Все первые великие открытия в природе человек благодаря своему вниманию совершил. Глаз надо иметь цепкий. Подачу, скорость резания, мощность резания и по стружке, какая у тебя идет, можно точно определить. Хрупкие металлы дают стружку надлома, твердые, маловязкие —

стружку скалывания. Если вязкий — значит, сливная стружка. Доводка, притирка — это уже ювелирное занятие, окончательный туалет. — Произнес значительно: — Металл, он только с виду грубый. А обращения требует нежного, как все живое. Он ведь, как все живое, из молекул состоит, конечно, и из атомов тоже. Но мы только в пределах молекул о нем мыслим. Какая в нем молекулярная решетка, строение его, в соответствии и обработка. Тут тебе и физика, и химия, и геометрия, и математика, — все вместе заложено. Только соображай, глубоко осмысливай. Тогда с уважением будешь работать, с интересом. Умом понимай, а не только рукой.

Хотя руки — они что? Дополнительное орудие станка! Чего станок не может, твои руки — ему главное приспособление. Но если у тебя при них еще голова и ты руки правильно жалеешь, придумай какое-нибудь новое приспособление — рукам станет легче. И станку от приспособления умения и производительности прибавится. Тут полное взаимодействие и взаимозависимость. Ты и станок. Ты ему ума прибавишь, он тебе больше изделий даст и заработок повысит.

Умно — что значит? Экономно. И силы свои экономишь, и материал, и рабочее время.

А те, кто угрюмо работает, без выдумки, те не мастера, а так, при станке служащие.

Теперь по две смены подряд нам вкалывать не приходится. Беречь время — значит, глубокомысленно работать, с выдумкой.

А то как было?

Во время войны мы досрочно план перевыполнили. Ну, митинг... Оркестр наш выстроили. Стали играть музыку еле слышно, словно шепотом. В чем дело?

А в том, что после двух смен подряд наши рабочие, которые в оркестре, в цеху уже притомились, стали в трубы дуть, а дыхания не хватает.

Играют слабо, тихо, медленно, только глазами ворочают, публике объясняют: мол, своего пару не хватает, весь вышел на работе. Ничего, простили! Отдельно оркестру даже похлопали. Тоже из фронтовой бригады ребята. Каждый обязан был давать за двоих — за себя и за того, кто на фронте. А теперь что ж? Теперь полная выкладка, какая тогда была, не требуется. Мягкий спрос стал... Хотя все разорение после войны кому чинить? Нам. И чем скорее, тем шибче на новый уровень взойдем. Это

тоже понимать надо. Тоже совесть требуется не меньше, чем в годы войны.

Петухов же давал норму на уровне выпускников ремесленных училищ. Поэтому он стал оставаться на сверхурочные, чтобы постичь высшую школу рабочего мастерства, дающую право равенства с кадровыми рабочими.

Зубриков часто останавливался рядом с рабочим верстаком Петухова. Стоял, курил, молча щурился. И только по мимике его Петухов угадывал, что получается, а что нет.

Замечаний Зубриков не любил делать, а вот отвлеченно рассуждать об искусстве труда мог с удовольствием.

— Станок что? — говорил Зубриков. — Его обожать надо. И он за это сам отблагодарит. Обхаживай его после работы, чтобы он весь сиял чистенький, осмотри сам, в чем он нуждается, где подтянуть надо, где ослабить затяжку, умыть маслицем, но в меру, без потеков. Пришел, вместо «здравствуйте» весь его заново осмотри, на холостом проверь, разложи инструмент, оправки. Приспособления, которые с левой руки, клади налево, которые с правой — направо. Но ничего лишнего не наваливай, подстилочку положи, чтобы обработанную заготовку о металл не помять, не царапнуть. Начинай исподволь. С разминки. Ночь переспал, отвычка от труда сказывается. Надо постепенно в режим, в темп входить, пока тебя не захватит такое: работаешь, а не чуешь, что работаешь, живешь сам по себе работой, и ничего другого в тебе нет, кроме интереса к работе. Это эффект такой, вроде воодушевления,— когда все как будто само по себе идет и захватывает так, как все равно азарт, что ли. Но это дается привычкой, навыком, а главное — душой: работа тебе нравится, живешь ею и жизнь детали даешь, которая в машину обратится и свое ведущее место в ней обретет. И ты словно эту машину видишь в деле, как мы во время войны оружие, которое делали, всегда чувствовали, будто сами с ним в бой ходили. Но не целиком ты его делаешь, а только частицу, а по ней все представление о полном ее назначении у тебя в сознании живет. Вот это и есть главный интерес рабочего труда, его высокая назначенность. Тогда ты и сам тянешься и во всем тоже по достоинству дела и свое достоинство рабочего блюдешь.

Хороший мастер, он физически себя бережет. Чтобы сквозняк не прохватил — не захворать зря. И спать лечь надо вовремя, чтобы с хорошим самочувствием на рабо-



ту встать, и дома нервы зря не тратить ни себе, ни людям. На работе нужны. Поэтому хороший мастер, он человек положительный во всем — согласно цели своей жизни себя соблюдает.

Это брехня, что есть золотые руки у тех, кто пьющие, мол, талант — ну и позволяет он себе лишнее. А на сколько его хватит, пьющего? Если после похмелья руки дрожат, разве малую вибрацию резца почует? Нет. Значит, куда его? В подсобники. Вот те и золотые руки!

У нас прокатчики на крупносортном станке на десять минут к валкам становятся, а потом столько же передых. Труд тяжелый. Слиток — десятки тонн, а они их ворочают. А кто нам кубки в завод по спорту приносит по тяжелой атлетике? Они. Передохнут после смены — и на спортплощадку штанги поднимать, гири толкать. Думаешь, они только спортсмены-любители, из-за медалей стараются? Нет! Для работы им такое, прямо совпадает с их профессией. У кого переходящее Красное знамя навечно? В прокатном цеху! — Сказал обидчиво: — Если б у нас настоящая физкультура была, то я бы ее как развернул? С уклоном на все рабочие профессии. А то, кроме футбола, ничего в чести нет. Пинают ногами мяч, бегают, толкаются. А в какой цех таких брать, неизвестно. Хотя я сам болельщик. Но только из заводского патриотизма, а не для рабочей пользы.

Вздохнул:

— Вообще, если по-честному сказать: процесс соскребания материала с вращающейся заготовки был освоен еще в начале первого тысячелетия до нашей эры. И сколько металла в стружку спустили! Сложить вместе — таких гор и в природе нет. Нерасчетливое расточительство! Надо чего другое придумать по науке. Я бы лично такому ученому за это предложил самый высокий памятник на земле поставить — заслуженно! Так ведь нет, канителятся. И основательно, окончательно против стружки ничего пока нет. Обидно!

18

Григорий Петухов неотвязно сохранил с фронта армейские лексикон и выправку.

— Разрешите обратиться? — спрашивал он, прежде чем начать разговор в цехе, на заводе, всюду, машинально опуская руки по швам и вздергивая подбородком.

— Вас понял! — говорил он и сводил пятки вместе, носки врозь после бесед на самые различные темы. Если полностью соглашался, произносил бравым тоном: — Так точно!

По телефону обращался не иначе как:

— Докладывает Петухов!

Здоровался:

— Здравия желаю! — И рука самовольно тянулась к виску с вытянутой лодочкой ладонью.

Выступая на собраниях, говорил рублеными фразами, с суровым, решительным выражением лица. Закончив, говорил:

— Все!

И однажды даже сорвалось:

— Можете быть свободны!

А в другой раз, когда его покритиковали, сказал:

— Виноват! Разрешите исполнять?

Впрочем, среди демобилизованных в этом он не был исключением.

Не все бывшие фронтовики легко и быстро приспособились к мирной жизни и не все на соответствующем уровне овладевали новыми профессиями.

Петухов прочно сохранял в своем сердце слова Конюхова о том, что высший долг армейских коммунистов — воспитать у всех людей армии наилучшие черты достоинства народа-победителя, побеждать не только на фронте, но и все трудности в жизни, где бы они ни были.

Партком не давал Петухову поручения вести отдельную работу с бывшими фронтовиками. Но получилось так, что в обеденный перерыв на перекуре в заводском дворе, там, где под навесом были сложены слитки для прокатного цеха, бывшие фронтовики собирались в кучу. И здесь обычно главенствовали не те, кто на заводе занимал руководящее положение: бригадиры, мастера, начальники пролетов, а те, кто имел на фронте повыше других военное звание.

И их слушали почтительно, не столько потому, что говорили они о чем-то интересном, значительном, а главным образом из уважения к старшему по армейскому званию. А возвращаясь в цех, они становились уже на то место, которое в соответствии с профессией, с должностью им теперь было положено. И младший по бывшему военному званию руководил старшим по званию так, как будто и не было этого перекура фронтовиков, на котором как бы восстанавливались права на власть в зависимости от бывших военных званий.

И военные заслуги соизмерялись только с трудовыми подвигами, с профессиональной сноровкой, новообретенным опытом труда. И отсюда уже складывалась устойчивая долговременная репутация человека, способного прочно состыковать свое минувшее с нынешним и грядущим в единое, неразрывное целое, выросшее в нечто качественно новое в самом человеке.

Слушая рассказы своих приятелей-фронтовиков о боевых эпизодах, Григорий Петухов вспоминал, как Конюхов, Лебедев и Пугачев рассуждали в землянке о том, с какой охотой и гордым восторгом воины предаются воспоминаниям об отчаянных боях и сражениях времен сорок первого года, благоговея перед теми, кто шел, не моргая, на смерть, бросаясь на танки с бутылками с КС и связками гранат.

Но почему-то, когда армия получила в изобилии новую совершенную технику, и способы ведения боя усложнились, и взаимодействие всех родов войск стало решающим в такой же мере, как и культура военных знаний, говорить о новом этапе войны на отдыхе было не принято. Отдыхая, считалось, следует рассуждать только о внеслужебном, вроде как для души.

Но эта самая «душа» должна жить не только вчерашним, а сегодняшним и даже завтрашним. Почему о деловом, главном, сегодня жизненно решающем говорить только на совещаниях, на учебных сборах или изучая и прорабатывая инструкции о совершенстве воинского мастерства в новых условиях военных действий?

Конечно, как на фронте, так и здесь было много людей, подобных, скажем, Зубрикову, для которых их профессия, труд составляют истинное, главное и полное содержание жизни и главная тревога и страсть которых заключаются в том, чтобы ускоренно воплотилось в жизнь то, чего еще нет, но что должно быть, как движение к цели, в столь же высокой мере превосходящей сегодняшнее, как сегодняшнее превосходит вчерашнее.

Только оглядываться на победу в войне и единственной ее мерой соизмерять себя, и других, и всех, — значит, что же? Превращать ее лишь в памятник величия, подвига, для которого достойный постамент вся наша планета. А она, эта победа, должна вечно жить в людях и, как вечно живая, все возрастающая сила, толкать их, взывать к ним, помогать в приближении будущего и именно этим возвышать свое бессмертно живое величие, поднимающее людей на новые, еще небывалые свершения, на такие же, как она, эта победа, всемирно-исторические во всем.

Так примерно думал Петухов, беспокоясь, ища способа, как выразить свои мысли, или, точнее, стремясь, чтобы они вошли в те дела, которым были преданы сейчас люди завода.

19

В освобожденных от фашистов районах земля была не только искалеченной, одичавшей, истощенной, опустошенной. Она обросла буреломом, кустарником, была изрыта оползшими окопами. Дождями и ливнями вымыло из нее то, что вкладывали в нее для ее плодородия. Павшая, мертвая, она лежала, словно сраженная насмерть. Люди, приходя на пожарища, вселялись в землянки, строили шалаши, покрывая их дерном, и, первобытно впрягаясь в плуги, старались оживить землю. В деревенских кузнях ковали серпы, лемеха, косы, лопаты, потому что землю готовили к посеву лопатами. К лопатам с короткими черенками привязывали веревки и волокли их по борозде, словно малые лемеха. Из обгоревшего кровельного железа клепали ведра, чайники. И люди безропотны были к этой беде, их постигшей, испытывая одно всеобщее: на этой земле враг нашел себе погибель, — и ради этого свои страдания умаляли, терпели во имя победы, во имя того, что им дано главное: вернуть обратно ту жизнь, которой они жили и без которой не мыслили жить.

Им помогала вся страна и завод, на котором работал Петухов, самым для них сейчас жизненно важным — сельскими машинами, ибо только машинами можно было ускорить возвращение и восстановление той прежней жизни, ради которой они не щадили своей собственной.

Но директор завода говорил правду. Завод не справлялся с заданием, не хватало рабочих рук, особенно квалифицированных, часть станочного парка простаивала.

Петухов по себе понимал, как трудно в скорое время полностью овладеть мастерством станочника, да и любой квалифицированной рабочей профессией, в той мере, в какой это было положено для получения квалификационного разряда. И хотя, как и в годы войны, кадровые опытные рабочие не уходили с завода, не отработав полторы-две смены и не выполнив трех и даже четырех сменных заданий, план не выполнялся.

И Петухов как-то спросил Зубрикова:

— Как вы думаете, если человека с улицы привести, за станок поставить и за неделю одной только операции, самой простейшей, обучить, сможет он или нет?

Зубриков задумался, сказал презрительно:

— Надрессировать и шимпанзе можно.

— Я серьезно!

— На одну, самую простейшую, мозгов и ловкости много не требуется.

Петухов оживился и сказал осмелев:

— У нас каждый квалифицированный всю комплексную обработку заготовки проводит — сдает готовое изделие.

— На то и квалификация, высокий разряд, всеумелость.

— А если расчленить пооперационно: простые одним отдать, а только самые сложные — квалифицированным, на окончательную отделку?

— Канитель, суету предлагаешь! — сердито сказал Зубриков. — Это что же получится? Таскать с одного станка на другой? Подсобников не оберешься.

— Транспортеры пустить! Я вот за три дня обдирку черновую наловчился, а бороздки протачивать, канавки — за восемь дней, зенковал уже через две недели.

— А после тебя кто доводил? Я. Тоже мне токарь-пекарь, нашел чем хвастать! Не запарывал детали — и на том спасибо.

И Зубриков уже хотел было отойти от Петухова, но вдруг брезгливое выражение его лица сменилось на другое, любопытное.

— Да ты к чему это все гнешь?

Пристально поглядел в глаза Петухову, словно пытаясь в них нечто отгадать, присел у станка на табуретку, закурил, оглядел цех, уставился на пустующие станки. Помедлив, объявил:

— А что, дело! Для худого положения правильный выход. Смело на одну операцию ставить, ей только обучить. Кто надежды подаст, сам на дальнейшее выучится, а всех наилучших только на сложную окончательную поставить. Выход правильный. Схему транспортировки продумать. Систему расчета пооперационной оплаты, а не за изделие. Ну и самое серьезное — с технологами обсудить, какие операции простейшие и до какого предела их доводить, чтобы не запарывали, а так верно. Мастер, а ему поковку или литье в заготовке дадут, он ее с самого начала до конца самолично до изделия доводит. Высшей человек квалификации, а пока он до тонкой работы доберется, на низшеразрядной свое дорогое время расходует.

Спросил:

— Как, на партком или рванем прямо к директору?

Или все вместе для массированного нажима? Хотя он мужик вообще-то смелый, начальствовать любит, но зато от прочего начальства страховку себе не спрашивает.

Спросил уже дружелюбно:

— Откуда это у тебя в башке такая идея завелась?

— С фронта, — сказал Петухов. — Приходят пополненцы и только винтовку знают. А мне сегодня же пулеметчики нужны, станковые, ручные, минометчики, снайперы. Ну я что делал? Наскоро обучу, что к чему, и к ним вторыми номерами ставлю самых опытных, квалифицированных мастеров. Если в бою пополненец не справляется, его опытный боец сменяет. Справляется — значит, стоит обучать дальше. Оставляю на обучение вторым номером. Тем, кто просто стрелки, говорил: вы мне за бой хоть два патрона, но только обязательно строго прицельно, остальные, как душа позволит, расходуйте.

— А почему не все патроны прицельно? — спросил Зубриков.

— Чтобы прицельно с ближней дистанции, надо сначала такую выдержку в себе воспитать, которая только после многих боев приходит.

— А по уставу так вам разрешается?

— По уставу — нет, — ответил Петухов. — Но по правде боевой жизни, если каждый боец по одному патрону с попаданием израсходует, считай — твой бой.

— Значит, из боевой жизни такое предложил?

— Не только, — сказал Петухов. — Я же вам говорил: черновой обдирке через три дня уже наловчился, а посмотрел через плечо на вас, вы тоже черновой заняты. Зачем, думаю, высокий мастер время на такое тратит?

— А что я в конечном счете произвел, ты это видел?

— Ну, до такой работы мне годы нужны и еще кое-что к ним, в смысле дара.

— Ну, это ты загнул! — довольный, конфузясь, сказал Зубриков. — Я сложные конфигурации одолевать любитель, все равно как в шахматишки сыграть с перворазрядником и заматовать публично...

Продолжение на стр. 193



ЖУРНАЛ В ЖУРНАЛЕ

ТОВАРИЩ

БЛЕДНЫМ от постоянного недоедания фезеушником он пришел к мартеновцам Днепровского металлургического завода имени Ф. Э. Дзержинского в трудном сорок пятом году. Завод принял подростка, помог найти себя, дал в руки профессию. И сегодня

ЛИЦОМ

сталевары не только Советского Союза знают Григория Васильевича Медяника — кавалера двух орденов Ленина и нескольких медалей, обладателя высшего в своей профессии звания «Лучший сталевар страны».

О нем говорят: «Медянику на печи не нужна контрольно-измерительная аппаратура, он на минуту раньше любого прибора угадывает, что нужно работающему мартену». О нем говорят: «Было б странным однажды увидеть Медяника возле печи не в окружении молодых». А он просто считает своим рабочим долгом помогать молодым расти — крепко помнит, как в свое время помогали стать на ноги ему самому.

Так уж сложилась у него жизнь: всей учебы в ней было — начальная школа да школа фабрично-заводского ученичества. Но двадцать семь лет работы, в которых он не припомнит дня, когда бы шел в цех без желания сократить дорогу, дали ему то, без чего вовек не стал бы он мастером первой руки: абсолютное знание тонкостей профессии, почти физически ощутимую слитность свою с мартеном, когда дыхание печи ощущаешь как собственное. Без этого ощущения себя как живой клетки сложного организма, называемого мартеновским цехом, нет и не может быть металлурга. Даже если его принадлежность к сталеплавильщикам узаконена соответствующим дипломом.

Все, что он, сталевар-практик, собирал по крупицам двадцать семь лет, учась у таких асов, земляков-днепродзержинцев, как лауреат Государственной премии Павел Сергеевич Кочетков или Герой Социалистического Труда Виктор Васильевич Канарейкин, он щедро отдает теперь молодым, нимало не заботясь о том, что уже, быть может, завтра ученики его обойдут. Он считает: ученики и должны идти дальше учителей.

Он презирает иных рекордсменов, способных являть чудеса трудового героизма единственно из-за пухлой пачки рублей, но безоговорочно берет под свою руку тех, у кого за юношески неопределен-

ным «мне нравится вообще эта работа» безошибочным чутьем профессионала угадывает искреннее, созвучное его собственной молодости желание проверить себя непременно на трудном. Этим ребятам Медяник отдает все. Впрочем, никто не слышал, чтобы он угощал учеников пространными лекциями. Он из тех, кто предпочитает учить делом — на рабочей площадке, лицом к огню.

Два года назад он собрал нынешнюю свою бригаду. Старшему в ней далеко даже до тридцати. Год спустя после того, как они все вместе однажды приняли смену, бригаду Медяника признали лучшей бригадой сталеваров в стране...

К ОГНЮ

Немногим более двенадцати месяцев назад Министерство черной металлургии Украины и республиканская молодежная газета «Комсомольское знамя» учредили переходящий приз для комсомольско-молодежных коллективов металлургических предприятий Союза. Двенадцать месяцев оспаривали этот приз молодые металлурги. Им по очереди владели конверторщики Днепропетровска, сталевары Азовстали, Череповца, Рустави, Лиепаи, Запорожья, Темиртау, Москвы... Коллектив, гласили условия соревнования, завоевавший приз на последнем этапе, получает его навечно.

Этим коллективом оказалась комсомольско-молодежная бригада днепродзержинцев Григория Медяника.

Но всесоюзную молодежную плавку дружбы, венчавшую финал соревнования, именинники провели без своего бригадира.

Он уехал днем раньше в Череповец — там асы сталеварения, посланцы тридцати металлургических предприятий Союза и братских социалистических стран, собирались на Большую интернациональную плавку дружбы, единодушно посвящая ее 50-летнему юбилею СССР.

За себя Медяник, в общем, не волновался. Переживал за своих ребят: молодежь, а всесоюзная плавка — не внутризаводской конкурс на лучшего по профессии. В день отъезда бригадир был молчаливей обычного и, прощаясь, кроме: «Вы ж тут, хлопцы, глядите...», ничего, в сущности, не сказал. Но они его поняли.

ПОСЛЕ СМЕНЫ Анатолий Наконечный и Евгений Бурхан, по должности в бригаде — второй и третий подручные сталевара, в жизни — друзья, третьекурсник и студент пятого курса металлургического факультета Днепродзержинского индустриального института, отправились в библиотеку. На носу сессия, а когда ты студент-вечерник, да сталевар, да еще человек семейный, случается, где-нибудь в учебе и не дотянешь, а надо, чтобы все было в полном

порядке, ведь каждый второй в институте знает: из бригады Медяника! И как бы там ни уставал — давай налегай, браток...

Вечером дома Наконечный писал письма товарищам по прошлой солдатской пограничной службе. Письма в этот раз получились покаянными, и он сокрушенно вздохнул: а что сделаешь? Лекции пять раз в неделю — надо! Комсомольские собрания — разговору нет, надо! Заглянуть на подшефную дворовую площадку, поглядеть, чем племя молодое там занимается, а то, может, вмешаться — куда ж денешься, шеф! Жене помочь — надо! Дочка тянет — то погулять, то «Почитай, пап!» — разве откажешь? А еще и в кино хочется, и за город бы неплохо или с хорошей книжкой посидеть...

...Бурхан, пока жена укладывала полугодовалую наследницу, никак не желавшую засыпать, управлялся по хозяйству — работы хватало. Потом они сидели вдвоем и тихо говорили о будущем. О том, как через год он защитит свой диплом, и она тогда тоже пойдет учиться — на врача; о том, какая у них тогда начнется — может, совсем новая — жизнь...

Оставшись один, он, комсорг бригады, снова мысленно вернулся к идее, занимавшей его с утра: что сделать, чтобы нынешнее, по сути формальное, «шефство» над практикантами профтехучилища стало безо всяких кавычек повседневной настоящей воспитательной работой, за которую и они, юнцы, скажут потом «спасибо» и от которой испытаешь удовлетворение сам, видя, как мальчишка становится взрослым человеком, способным отвечать за каждый поступок? Ну, скажем, такой мальчишка, каким лет восемь-девять назад был он сам, Женька Бурхан?

Ночь совсем загустела и показалась ему непривычно темной. Он отвел рукой занавеску, вгляделся во тьму. Слабое зарево тлело над далеким отсюда его мартеновским цехом. А потом заполыхало, и он привычно отметил про себя: «Это вот шлак гонят, а теперь пошла сталь...» И представил себе лица ребят, бронзовые в отсветах пламени, рвущегося из завалочных окон, услышал пронзительный трезвон крана, зависшего над разливочной площадкой. У льющейся стали такой неповторимый солнечный цвет; печь, освободившись от тяжкого своего бремени, дышит умиротворенно, совсем как человек, а капли пота на скулах так горячи... И почувствовал, как в одном ритме с далеким гулом бессонного цеха забилось сердце.

...До этого дня почти все они знали друг друга только заочно, по письмам. Теперь они собрались, чтобы продемонстрировать друг другу свое рабочее мастерство. И где-то в Лиепае, и в Рустави, и в Коммунарске, где-то в Москве, в Череповце и Караганде взглянули на часы и молча закурили наставники этих ребят.

Они никогда прежде не работали вместе, но с первых минут сводная бригада заработала с красивой четкостью точно отлаженного механизма. Порывистого, злого в работе Женю Бурхана отлично дополнял невозмутимый Толя Заяц, подручный сталевара из Лиепаи. Как один человек работали карагандинец Курмангалей Аужанов и Юра Клюев — младший из династии знаменитых московских сталеваров. И с полуслова понимали друг друга хозяин

печи, на которой вели плавку, Виктор Юдин и Владимир Корзинкин, Герой Социалистического Труда...

...Потом их обнимали и, кажется, даже принимались качать; самые красивые заводские девчата поднесли им цветы и торжественно проводили к импровизированной трибуне — затянутому кумачом грузовику на заводском дворе, полном народа.

Они выдали из большегрузного мартена полновесную плавку в рекордное время — за час сорок пять минут.

— ВОТ ТАК и живем. Мы — и огонь. Восемьдесят градусов в лицо — а отступить нельзя и промедлить нельзя: иной раз какие-то секунды сводят на нет усилия всех. Это, конечно, работа для крепких...

Он как будто бы уже и остыл, расслабился — только возбужденный блеск чуть воспаленных глаз выдавал усталость. А так он ничего держался — Женя Бурхан.

Я спросил его: что он думает об этой последней, по-своему уникальной плавке — кто знает, доведется ли еще раз вот так собраться всем, кто выдал сегодня рекордную сталь!

Он сказал:

— Главное ощущение, которое осталось, — это, пожалуй, ощущение радости. Мы ведь все сдавали, по сути, экзамен на мастерство. И поняли, что можем работать лучше и давать стали больше. И что с обязательствами мы, кажется, маленько поторопились...

Он имел в виду обращение их бригады ко всем сталеплавильщикам завода, с которым они выступили, откликнувшись на известие о награждении «Дзержинки» юбилейным Почетным знаком ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета СССР, Совета Министров СССР и ВЦСПС. Эти обязательства я записал в блокнот:

«Вступая в третий, решающий год девятой пятилетки и желая внести свой достойный вклад в досрочное выполнение государственного плана, коллектив бригады, изучив и взвесив свои возможности, принимает на 1973 год следующие обязательства:

Выплавить стали на 1000 тонн больше по сравнению с предыдущим годом. Сэкономить в течение года при выплавке стали не менее 200 тонн чугуна. Выпустить все плавки полновесными, из них не менее 45 процентов скоростных. Годовой план выпуска стали закончить к 28 декабря 1973 года».

— «Поторопились» — что ты имеешь в виду?

— А понимать это нужно так, что мы свои обязательства — вот только «батя» вернется — кажется, пересмотрим... В рабочем порядке.

Я наладился было сказать ему, что, мол, и без пересмотра дай бог каждому такие обязательства осилить, но вовремя промолчал, вспомнив, что однажды уже получил в ответ: «Э, вы медяниковцев не знаете. Они долго прикидывают да подсчитывают, но всегда знают, что говорят».

В. РОГОВ

Лидия СЕВЕРЦЕВА учится на четвертом курсе Литературного института имени Горького. Родом она с Украины. Стихи ее какие-то сказочно-чистые, с ясным, чуть осенним небом, негромкие, но очень искренние. Читаешь их — и многое чувствуешь и видишь. Гражданственность? А разве строка «Кому-то ж надо паруса чинить для сказок» в своей прелестной обыкновенности не говорит об этом?

Стихи Л. Северцевой утверждают, что жизнь достойна сказки, а сказка — жизни. А это уже немало.

Егор ИСАЕВ

ЛИДИЯ СЕВЕРЦЕВА

ПАРУСА ДЛЯ СКАЗОК

В ту зеленую лагуну
я пойду песком осенним, —
в остывающей теплыни
там живут большие камни,
смутно пахнущие летом.

Там увижу непременно
одинокую фигурку,
что застыла в ожиданьи
парусов далеких, белых,
мной уже полузабытых,

так тогда и не приплывших
(или, может, проглядела?)...
Засмеюсь светло да грустно
и пойду, — кому-то ж надо
паруса чинить для сказок.

КОГДА СМОТРЮ ВАН-ГОГА

Работы вкус, — он неискореним,
проклятый вкус, смутивший дух и разум,
благословенный вкус, когда наказан,
а то, быть может, осчастливлен им?

Откуда между небом и землей
сияющая западня пространства,
в которой сквозняки — навылет, разве
нет живописцу участи иной?

Все думаю: «За что ему, за что?
За то, что жаждал жизни, а не славы?..»
Всяк приходящий в мир имеет право —
покуда только солнце не зашло —

на щедрый пай и ветра, и дождей,
на краткий день — о господи, успеть бы!..
Но бог глухой — от плача ли, от смеха, —
и лучше исповедуйся себе,

работе в жертву приноси себя —
пусть измотает, изведет, — иначе
нет смысла ждать потом на небе счастья,
которым обошла тебя земля.

БЕРЕГ

На пляжах заброшенных
только луна по ночам,
так тихо и странно,
как будто бы не было лета,

и лунные, зыбкие замки
вода то смывает, то лепит,
и холодно сердцу,
и ветер течет по плечам.

Всему свое время, мой милый, —
природе и нам.
Художники утром уйдут
в ранний лес, облетающий, дымный;
мой берег — серебряной графикой
в светлом песочном мотиве
на чистую душу ложится
и светится там.

ВИШНЕВЫЙ САДИК

Мотив неведомый и легкий,
какой-то солнечный и странный,
пел тонкий белый одуванчик
наивным детским голоском.

Чужой сияющий ребенок
в густой траве стоял, как в луже,
в зеленой луже неглубокой
стоял с опущенным сачком.

Светился тот вишневый садик,
шуршали пестрые стрекозы,
растерянный чужой ребенок
забыл, зачем бежал сюда.

А я на узенькой скамейке
зеленый абрикос кусаю, —
а он горчит и пахнет летом,
и видно — очень далеко.

Ю. ГРОДЖИНЬСКИЙ

СЛУЖЕБНЫЙ НОМЕР 1895

УЛИЦА

Скользкий асфальт. Андрей витиевато чертыхается, грозит кулаком в окно и сигналит таксистам, которые ездят как самоубийцы. Витольд молча курит. Я мало его знаю, но мне кажется, что его что-то мучает — он сегодня не в духе.

Закуриваю и я.

Окончание.
Начало в № 2.

— И этот курит «Спорт»! — злится Андрей. — Задымите мне всю машину. Я не выдержу с вами.

Какая-то старушка трусцой выбегает на мостовую, не глядя по сторонам. Андрей резко поворачивает. Меня бросает к окну.

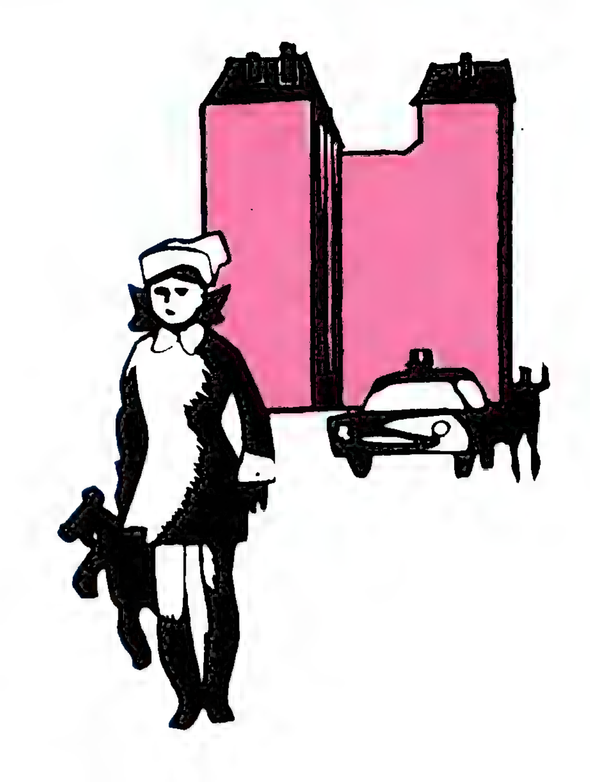
— Старые всегда торопятся. И куда только?

Сообщение «Юпитер» (для всех патрульных машин).

— Записывай, — говорит Витольд и сам пишет.

— Объявляю розыск: девочка семи лет, Веслава У., прописана по улице Обозовой, семь. Одета в голубое пальто с белым воротником, коричневые перчатки и колготки, бежевые ботинки. Утром пошла в школу и домой не вернулась.

Я опускаю стекло и выглядываю на улицу. Мы едем по



Иерусалимским Аллеям. Толпы людей. Родители ведут детей за руку. Голубое пальтишко, семь лет...

Толпа на тротуаре. Выходим из машины.

Молодой сотрудник милиции не мог справиться с обстановкой возле театра «Атенеум». Какой-то мужчина рассердился на него за то, что он проверил у него документы. В поддержку выступила многочисленная семья: жена, золовка, бабка, брат. Парень позвонил и попросил помочь. Витольд моментально справился с делом.

— По какому праву милиция останавливает спокойных людей? — пищала одна из женщин.

— Кто вас остановил?

— Меня-то никто, но...

— Так что же вы здесь стоите? В чем дело?

— Я дал паспорт, но зачем записывать мои данные?

— Это наше право. Что, может быть, совесть не чиста? Почему вы затрудняете работу нашему товарищу?

— Выписал данные? — Это вопрос ко мне.

— Да, но он вырвал у меня паспорт.

Витольд вздыхает.

— А сколько адвокатов сразу нашел...

Толпа чинно, но быстренько тает.

В машине Витольд выдавил из себя краткий комментарий, предназначенный, по-видимому, для моих ушей.

— Почувствовали неопытность милиционера и начали из него дурака делать... Если милиционер — новичок, то ему на шею сядут, и служба станет ему немила.

Я задумываюсь: на чем основывается уважение людей к сержанту Витольду П.?

Он выработал собственную систему: опыт пятнадцати лет работы в милиции, обилие происшествий... Он имел широкую возможность убедиться в том, что действует на людей. Теперь я понимаю: его медленный шаг — это не случайность. Если он медленно, но решительно подходит даже к дерущимся, то это производит впечатление. Иногда приходится долго ждать, чтобы он что-то сказал, но и в этом есть смысл. Милиционер, который много говорит, — пло-



хой милиционер. Это поощряет к пререканиям. Выслушать, оценить обстановку и принять решение. Витольд это умеет. Если он говорит, то спокойно, четко, без лишних слов. И еще одно: он не нервничает, не повышает голоса.

Поэтому никто в нем не видит Витольда П., 38 лет, который перед дежурством старательно чистит ботинки, надевает две пары подштанников, чтобы не замерзнуть, и расстраивается, замечая растущее брюшко. Сержант Витольд П. умеет вызвать почтение к представителю власти, и люди уважают его.

МУНДИР И ОПАСНОСТЬ

В свободные от дежурства дни я хожу без формы. Удобней, да и только таким образом можно по-настоящему отдохнуть. В форме милиционера я хожу совершенно свободно, но меня уже перестала развлекать эта новая роль. С меня хватает впечатлений во время дежурств.

Большинство товарищей поступает так же. После работы они снимают форму. Я заметил, что одеваются они в одном стиле. Трудно его определить: преобладание одежды, не связывающей движений, носящей ярко выраженный мужской характер. Профессия милиционера накладывает на людей свой отпечаток.

Повлияло ли на меня чувство власти? Пока еще трудно сказать. Но некоторое влияние чувствуется: я приобрел уверенность при контакте с людьми. Может быть, это все-таки не механически усвоенный образ жизни милиционера, а более глубокие изменения? Даже если я не в форме, то у меня всегда при себе удостоверение милиционера. Для смелости?

Во всяком случае, я уже почувствовал, сколько искушений окружают милиционера во время дежурства.

Первое — это проявление жалости к людям, которых надо либо задержать, либо оштрафовать, чрезмерная чувствительность к человеческим слабостям, а отсюда — всего один шаг к всепрощению.

Другое искушение — это беспощадность. Те, кто подвержен этой слабости, — я заметил — в большинстве сво-

ем находятся дома в подчиненном положении. Только в мундире, на службе, они уверены в себе и приобретают грозный вид. Но, к сожалению, счастье их ненадолго. Сотрудники быстро таких раскусывают и не жалеют ядовитых эпитетов.

С годами может возникнуть и третья опасность: безразличие, механическое выполнение своих обязанностей.

ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ

Дома ремонт. Нужно искать гостиницу. Место есть только в «Европейской». Может ли жить рядовой сотрудник милиции в шикарном отеле? Я раскрываю главному администратору свой секрет.

— Это нам не помешает, вы можете входить и выходить в форме, как вам угодно.

Вселялся я, одетый в гражданское, и поэтому, когда выходил на службу, дежурная по этажу растерялась. Дежурный администратор не узнал меня, ключ взял, но тут же пошел проверять, действительно ли я здесь прописан. Он не верил собственным глазам: ни один милиционер не поднимался наверх, а теперь вдруг появился неизвестно откуда, да еще с ключом от номера.

Самое скверное, это когда я возвращаюсь к утру голодный и замерзший. Дома я смог бы приготовить себе поесть что-



нибудь горячее. В гостинице в это время можно получить только чай.

После обеда я все еще без формы. Пью кофе у пани Терезы, в баре для проживающих в гостинице. Рядом со мною сидят два англичаиина. Известный режиссер опохмеляется рюмкой коньяка. К бару подходит индиец. Я знаю это лицо. Но откуда? Он тоже приглядывается ко мне.

— How are you?*
— ?
— What are you doing in Warsaw?**

Неожиданная встреча. Три месяца назад познакомился с этим человеком в Лондоне, в отеле «Европа». Он жил в отеле, а я в нем работал. Мы проговорили тогда — под виски — полночи. Он делал бизнес на чае. Мы договариваемся встретиться на следующий день. Сейчас у меня нет времени. Через час я должен быть на «летучке» по всей форме.

Я спускаюсь сверху уже милиционером. Пани Тереза кивает мне из-за стойки. Она желает мне спокойного дежурства.

Внизу, где я отдаю ключ, снова встреча со знакомым. Альберто Тонини, итальянец, торговец лошадьми. Я как-то фотографировал его на ярмарке и брал у него интервью. Теперь мы чуть было не столкнулись. Он не узнает меня. Он бы только растерялся, а я ничего не смог бы ему объяснить: он по-польски знает только «красивый конь» или «красивая девушка», а я по-итальянски — только слова песни «О соле мио!». Я отворачиваюсь и жду, когда он возьмет ключ и пойдет наверх.

Через полчаса, как обычно, я уже заношу в записную книжку служебные задания: «Контролировать магазины и торговые точки, проверять подозрительных людей...»

УКРОЩЕНИЕ ПЬЯНИЦЫ

Он сидит по левую руку от меня. Шумел в баре «Вярус»,

---

* — Как поживаете?
** — Что вы делаете в Варшаве? (англ.).

и теперь мы везем его в вытрезвитель. Не успели усадить его в машину, как он уже начал хныкать. Он очень навязчив.

— Пан милиционер, будь человеком, позволь мне закурить.

— Нельзя. Вы размахиваете руками, еще пожар сделаете.

— Я буду сидеть спокойно.

— Сказано: нельзя.

Он наклоняется ко мне, от него несет так, что хочется отвернуться.

— Я знаю, что вы везете меня в вытрезвиловку, но есть ли в этом смысл? Что из того, что я заплачу триста злотых? Разве нельзя мне напиться, если хочется? Ну скажи?

— Можно, но с умом.

— Вот именно, можно. Отпустите меня.

— Сидите спокойно.

— Буду сидеть спокойно, если позволите мне закурить.

Я молчу.

— Поймите меня. Признаю, много выпил, но зачем вы меня туда везете? Нравится вам это?

— Замолчите. Надоело.

— Пить нельзя. Говорить нельзя. Будьте человеком и дайте прикурить. Ну, я вам говорю. Ему и отвечать не хочется. Пан сержант, ведь я прилично себя веду. Если бы я шумел... Выпил, и сразу меня наказывают! В первый раз со мной такое. Поймите меня.

Он дышит мне прямо в лицо, болтает, болтает... Во мне накапливается злость. Проходит минута, другая... Я поворачиваюсь к нему и говорю резко, как только могу, — это уже не резкий тон, я просто груб:

— Заткни глотку!

Затих. Съежился. На таком уровне нельзя вести разговор. Я попал в «десятку». На хулигана это не произвело бы впечатления, но этот человек по виду интеллигент и трезвым наверняка ведет себя иначе. Он обиделся.

В машине устанавливается тишина. У меня есть время задуматься над тем, имеет ли право сотрудник милиции так грубо обращаться к задержанному в нетрезвом виде? «Все время с этой пьянью: бубнят, хулиганят... Можно терпение потерять, — оправдываю я себя. — Да, но ведь мне платят за доставку пьяных в вытрезвитель, это относится к моим обязанностям. Поэтому я не должен... Хорошо, хорошо, — прерываю я начатые размышления. — Только без преувеличений. Если я предложил ему заткнуть глотку, так что в этом плохого? Сначала вежливо просил. Если бы я стал отвечать на все его вопросы, угостил бы его сигаретой, вежливо бы попросил вести себя поспокойней, он бы втянул меня в дискуссию, относясь ко мне, как к одному из друзей за столиком. Эта встряска была ему необходима. Врач бьет по лицу человека с приступом истерии. Завтра он ничего не будет помнить, а если и припомнит даже, то постыдится своего поведения и решит, что я поступил правильно. Во всяком случае, он будет далек от того, чтобы иметь ко мне претензии».



Милиционер одну треть своего дежурства посвящает тому, что нянчит пьяниц. Их приходится носить на руках, вести силой, слушать их болтовню, а потом часто ждать часами в вытрезвителе, прежде чем ими займутся уставшие санитары. У меня уже было достаточно возможностей наблюдать различные стадии опьянения. Богатый материал для сравнений. Мне вспоминаются банкеты, именины или ресторанные выпивки в мужской компании... Усиленная впечатлительность у людей «под хмельком», их обидчивость, пьяное упрямство, угрозы. Казалось бы, яснее ясного, как обращаться с пьяными. Но увы! Окружающие слишком серьезно относятся к пьяному человеку! Мы заботимся о том, чтобы его не обидеть. Если вдруг напьется начальник, то Ковальский тря-

сется, как бы тот не разгневался на него без причины и как бы это не отразилось на их служебных отношениях.

Давайте не поддаваться. После определенной стадии опьянения слова типа «А вы знаете, кто я?» или «Мы еще повстречаемся» уже не имеют значения. Говорящий не будет их помнить, а если и припомнит их на другой день, то с отвращением и постарается их поскорее забыть. Вместо того чтобы бояться его, поддаваться ему или пить с ним очередные рюмки и мучиться, слушая его нелогичные и бесконечные рассуждения, надо взять его за воротник и кратчайшим путем доставить в постель. На другой день можно будет представить ему счет за ночное такси и за ремонт пиджака, который он вам порвал. Он заплатит, поблагодарит и еще извинится за принесенные хлопоты. Если бы друзья, сотрудники, знакомые, руководители и ковальские сумели бы действовать решительно, у нас, милиционеров, было бы значительно меньше работы.

НЕ СМЕЙСЯ НАД МИЛИЦИОНЕРОМ

Как чувствует себя милиционер во время происшествия? Бывает ли он растерян? Каких ситуаций не любим мы, милиционеры?

Это очень сложный вопрос. Во-первых, все зависит от личных качеств милиционера. В нашем деле тоже попадаются люди несмелые, краснеющие из-за ерунды.

Проверка документов или даже задержание — это действия, так часто повторяющиеся, что мы выполняем их почти механически. С хулиганами и пьяницами тоже все довольно-таки просто: обычно приходится применять силу, на обдумывание и на беседы не остается времени. Хуже всего, когда милиционеру приходится иметь дело с толпой, настроенной против него, когда слышатся насмешки, обидные слова. А если еще вдобавок дело запутано, если задержанный доказывает свою правоту и окружающие, часто не разобравшись в сути, начинают вдруг поддерживать его, — в таком случае милиционер подвергается тяжелому испытанию.



Любой из нас больше всего не любит выглядеть смешным. Милиционеры, пожалуй, этого не любят сильнее всех. Надев форму, я это прекрасно понял. Будучи гражданским, я никогда не задумывался над тем, что могу кому-то показаться смешным. Если кто-нибудь и шутил по моему адресу, то я смеялся вместе с ним. Это ведь самый лучший способ защиты.

Но такую защиту не может себе позволить милиционер — он должен постоянно помнить о серьезности и достоинстве представителя власти. Поэтому ему не очень-то поможет чувство юмора — не следует милиционеру разряжать обстановку, смеясь над самим собой. Спокойные и несмелые в случае подобной опасности реагируют наиболее резко.

После насмешек, больше всего мы не любим «умничания», когда кто-нибудь старается показать, что он-де выше нас по общественному положению, образованию и так далее. Это в первую очередь свидетельствует обычно об отсутствии у человека такта и культуры, таким образом он ничего не выиграет.

Так как же относиться к милиционеру?

Продолжение на стр. 187

— Представьте себе, сосед назвал меня «старым идиотом»!
— Какая дерзость! Ведь вам совсем не так уж много лет.

Жена обращается к мужу, ведущему автомобиль:
— Джон, мы должны немедленно вернуться домой. Я забыла выключить утюг. Это может вызвать пожар...



— Не беспокойся, дорогая. Я забыл закрыть кран в ванной.

— Знаешь, Том, я решил подать на развод. Моя жена уже полгода не разговаривает со мной.
— Подумай хорошенько, Пит. Где ты найдешь другую такую жену?

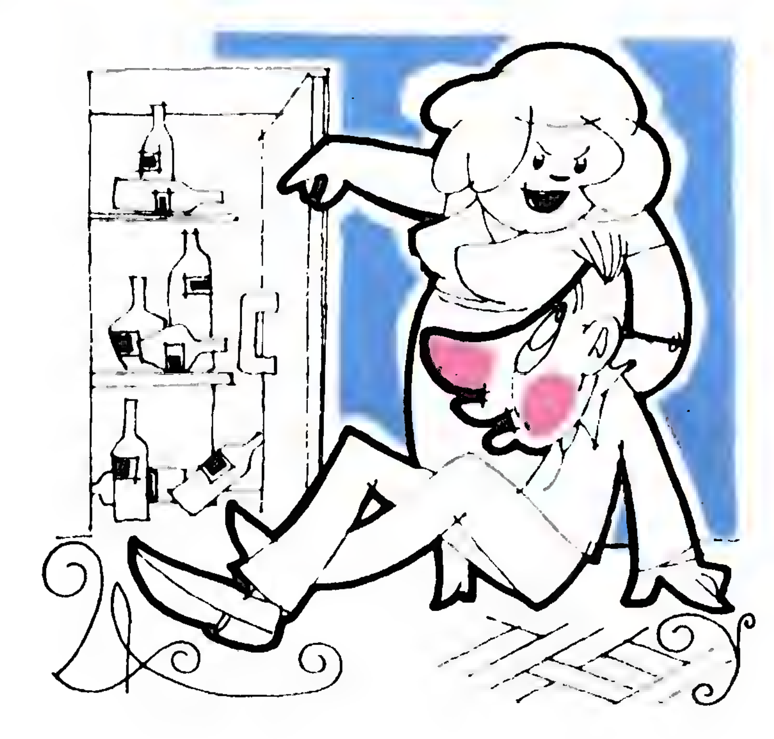
Пациент обратился к врачу:
— Доктор, умоляю вас, избавьте меня от храпа. Я храплю так, что сам от него просыпаюсь.

— А вы не пробовали спать в другой комнате?

Председатель суда обращается к малолетнему преступнику:
— Скажите, обвиняемый, когда вы забрались в чужую квартиру и обворовывали ее, вы подумали о своей матери?
— Конечно, сэр, но там для нее не оказалось ничего подходящего.

— Простите, господин полицейский, это дом номер семь?
— Нет, номер семьдесят семь.
— Спасибо. Значит, я совершенно трезв.

Жена с возмущением говорит мужу:
— Значит, ты мне лгал и опять пьешь? Откуда у тебя в кабинете столько пустых бутылок?
— Не имею представления, дорогая. Ты ведь знаешь, что



я никогда не покупаю пустых бутылок.

...МАСТЕРСТВО И ПОИСК МОЛОДЫХ

ДЕВЧАТА

«ВСЕМЕРНО РАСШИРЯТЬ И ПОСТОЯННО ОБНОВЛЯТЬ АССОРТИМЕНТ ИЗДЕЛИЙ, УЛУЧШАТЬ ИХ КАЧЕСТВО, ОРГАНИЗОВАТЬ ВЫПУСК НОВЫХ ВИДОВ ТОВАРОВ...»

Директивы XXIV съезда КПСС по пятилетнему плану развития народного хозяйства СССР на 1971—1975 годы.

Их на комбинате большинство. И во все, чем славится «Трехгорная мануфактура», что дает она стране, народу, вложены их силы, старания, поиски.

Как эстафету, приняли они от поколения своих матерей и отцов добрые традиции, — **революционные,** сложившиеся на баррикадах девятьсот пятого и в очистительную бурю Октября, **боевые,** откованные в огне гражданской и Отечественной, **трудовые,** рожденные в годы первых пятилеток, в сороковые и пятидесятые... Самое лучшее — рабочую честь и гордость, любовь к труду — воспитали и продолжают воспитывать в себе славные девчата «Трехгорки».

Есть на комбинате зал, в который непременно заходят гости трехгорцев. В этом зале они могут увидеть все, что выпускает комбинат: образцы тканей всех ассортиментов, целое тканое богатство. Ткани, ткани, ткани...

Как-то раз в беседе с Валентиной Николаевой-Терешковой трехгорцы пошутили:

— У нас, текстильщиков, свои космические масштабы...

В самом деле: комбинат дает в сутки 800—850 тысяч метров ткани, за пятилетие — примерно миллиард с четвертью. Яркой, цветастой ленты этой хватило бы для трех

дорожек от «Трехгорки» до Луны! Впрочем, нет пока острой необходимости раскатывать дорожку до нашего ночного светила, а вот если говорить о земных маршрутах, то трехгорцы могут не без гордости доложить: пролегли эти маршруты во все концы Земли. Ткани с фабричной маркой «Трехгорки» идут более чем в двадцать стран Европы, Азии, Африки, Латинской Америки. А спрос все растет!..

Но сегодня идет битва не только за выпуск сотен, тысяч, в конечном счете — миллиардов метров ткани. Сегодня на

Люба Мишачева — выпускница профтехучилища номер 106. Она прекрасный контролер и хорошая общественница.



комбинате никто не думает, что, мол, если много, значит — хорошо.

Еще в годы первых пятилеток текстильщики «Трехгорной мануфактуры» были запевалами движения за честь фабричной марки. Это движение продолжается и сейчас, но обрело оно более широкий размах, а люди, участвующие в нем, используют новейшие достижения науки и техники.

Летом минувшего года отделочницы комбината выступили с почином: больше изделий со знаком качества. Во всех цехах «Трехгорки» прошли комсомольские собрания — новый почин был одобрен и поддержан.

А вскоре началась подготовка к общезаводской комсомольской конференции. И вот тогда-то, в дни подготовки, на одном из заседаний комитета комсомола зашел интересный разговор, продолженный затем комсомольцами на других, смежных предприятиях.

Суть разговора сводилась к следующему. Многие ткани «Трехгорки» пользуются у покупателей громадным успехом. Однако... Нередко платье из прекрасной ткани — изделие швейной фабрики — не находит сбыта: сшито оно небрежно, безвкусно, не по моде. А бывает и так: купила девушка хорошее платье, а туфель к нему не подобрать...

А если объединить усилия молодежных коллективов,

Лида Самохвалова — сновальщица приготовительного цеха, студентка первого курса текстильного института. Недавно Лида стала кандидатом в члены КПСС.





Молодой коммунист ткачиха Татьяна Игумнова.

участвующих в выпуске товаров народного потребления?

Так возникла идея **договора о творческом содружестве и социалистическом соревновании** между комсомольскими организациями ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени комбината «Трехгорная мануфактура» имени Ф. Э. Дзержинского, швейного объединения «Москва», швейной фабрики № 10, обувной фабрики имени Капранова и научно-исследовательского института органических полупродуктов и красителей.

В договоре, который уже вступил в силу и действует, отмечается, что долг комсомольцев — искать и приводить в действие все резервы производства, чтобы удовлетворить запросы советских людей в



Контролеры готовой продукции комсомолки Мария Подковырина и Наташа Косырева.



Комсомолка Нина Каминская. Отличную работу в цехе она сочетает с успешной учебой в текстильном техникуме.

красивой, практичной и дешевой ткани, одежде, обуви. И четко сформулированы задачи, которые предстоит решать комсомольцам в ближайшее время: создать группы научно-технического творчества молодежи, каждому комсомольцу приобрести смежную специальность, установить кольцевой комсомольский контроль за выпуском продукции со знаком качества, регулярно проводить совместные рейды «Комсомольского прожектора», дважды в год устраивать совместные выставки продукции, проводить объединенные заседания комитетов комсомола...

Большая работа начата!

Несколько лет назад трехгорцы выпустили прекрасные ткани — такие, как «Серебристая», «Вечерняя», жаккардная с ацетатным шелком, «Рая» и другие, по своему качеству соответствующие лучшим мировым стандартам. Шли дальнейшие поиски — и появились «Вира», «Росинка», «Грация», «Театральная».

Девчата «Трехгорки» продолжают создавать яркое, цветастое богатство — богатство всех оттенков радуги. И не без гордости напевают они слова посвященной им песни:

Для Отчизны любимой
мы ткать не устанем.
Мы хитры в золотом ремесле.
И такие дадим мы нарядные
ткани,
Что никто не носил на
Земле.

А. МУСАТОВ
Фото А. ЕГОРОВА



ВОЗВРАЩЕНИЕ

ВСЕ ЖИТЕЛИ старинной улицы Киева — Стрелецкой — знали маленького Петруся. Мальчик веселого нрава отличался от своих сверстников приятным, нежным голосом.

«Быть тебе певцом», — говорили учителя, слушая его пение на школьных вечерах.

...Едва Петрусю исполнилось девять лет, как в его жизнь, как и в жизнь миллионов советских детей, всего нашего народа, ворвалась война.

Черная ночь фашистской оккупации опустилась на город на Днепре. Облавы, повальные обыски, автоматные очереди, вой сирен гестаповских машин парнишка запомнил на всю жизнь. А потом — внезапно — вокзал, вагоны, дороги — и началась «одиссея»...

После многолетних скитаний по городам и странам Европы Петр Топчий оказался в Новой Зеландии.

И все же ему повезло. Его не постигла горькая участь тысяч и тысяч людей, оказавшихся в годы войны за пределами Родины и познавших

БЕЛАЯ ХУДОЖНИЦА В ЧЕРНОМ ГАРЛЕМЕ

Вот уже двадцать пять лет в Восточном Гарлеме, беднейшем квартале Нью-Йорка, живет и работает прогрессивная американская художница, называющая себя Теклой. Средствами своего искусства Текла борется за справедливость, мир и лучшую жизнь.

Минувшим летом Текла побывала в Германской Демократической Республике. Художница хотела познакомиться с социалистическим обществом, столь разительно отличающимся от мрачного окружающего ее мира «свободной Америки».

В Восточном Гарлеме, на 97-й улице, где она живет, разные люди проходят перед глазами Теклы — и белые и «цветные». Она хорошо знает жизнь и тех и других. Вопреки культивируемой расистами теории о «неполноценности» негров художница показывает их на своих полотнах такими, какие они есть, — полными гордости и человеческого достоинства.

...Восемь лет ходили по судам шесть матерей, чтобы вернуть свободу своим сыновьям, без вины брошенным в тюрьму. Их сила и сила тех, кто их поддерживал, заставили власти освободить молодых негров.

Этой теме посвящена одна из последних графических работ художницы — «Шесть королев-матерей».

все прелести «райской» жизни в «свободном мире».

Петра спас его чудесный дискант, со временем превратившийся в сильный баритон. Незаурядное дарование паренька приметил прославленный итальянский певец Тито Гобби. Он-то и помог Петру поступить в Миланскую консерваторию, потом пройти стажировку во всемирно известном театре «Ла Скала» и стать профессиональным вокалистом.

В 1957 году на Фестивале неаполитанской песни в Италии — популярнейшем конкурсе певцов Европы — Петр Топчий занял первое место.

«С песней по свету»... В этом названии концертной программы нет никакого преувеличения. Певец исколесил чуть ли не весь мир. Он выступал в Канаде и Австралии, Новой Зеландии и Японии, Аргентине и Франции, Голландии и Бразилии, Бельгии и Мексике, Австрии и Турции...

И где бы он ни пел — в роскошных концертных залах столиц или на маленьких эстрадах кабаре (случалось и такое!), — публика слышала в его исполнении и родные ему украинские песни.

Многого добился Петр Топчий — имел выгодные гастрольные концерты, к нему пришла популярность. Но не было самого главного, без чего человек не может быть по-



настоящему счастлив, — Родины.

Затем была встреча с молодой женщиной — известной артисткой советского цирка, находившейся на гастролях в Австралии, и настоящая, глубокая дружба...

Петр Евгеньевич Топчий, подданный Новой Зеландии, 1932 года рождения, украинец, уроженец города Киева, обратился к Советскому правительству с просьбой разрешить ему возвратиться на Родину. Президиум Верховного Совета СССР удовлетворил просьбу артиста.

...В мае 1971 года океанский лайнер «Шота Руставели» пришвартовался в рижском порту. Среди пассажиров, спускавшихся по трапу, можно было заметить рослого человека, по лицу которого струились слезы. Вступив на пирс, он опустился на колени и коснулся губами земли...

Петра Топчия вы можете теперь послушать в концертах, а воздушную гимнастку Ирину Щетинину-Топчий увидеть в программах Киевского госцирка, где она выступает вместе со своим отцом — заслуженным артистом Армянской ССР Петром Щетининым.

Б. КОРДИАНИ

Перевод с украинского



ДЕВУШКА И ЗНАМЯ

Половине человечества не исполнилось еще двадцати четырех лет. И эта парижанка Жаннин молода. С Красным знаменем в руках девушка требует: работы — для всех, в том числе и для ее Пьера, одинаковой возможности учиться — для всех, избирательного права — для всех и для всех радости и веселого настроения.

Жаннин требует создания народного правительства.

Она обвиняет империализм, который лишил миллионы людей хлеба, обрек миллионы юношей и девушек на темноту и невежество.

Тысячи юных парижан идут рядом с Жаннин. Они хотят изменить старый мир.

Сегодня вместе с ними—более 100 миллионов юношей и девушек из 98 стран, объединенных Всемирной федерацией демократической молодежи.

СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ АНКА

ШЕЛ МАРТ сорок второго года. Днем, когда припекало яркое солнце, просыпалась на пригорках израненная войной крымская земля. Высоты покрывались зеленью, а по низинам начинали звенеть ручьи. Но услышать ласковый звон весенней воды случалось нечасто.

Не считаясь с большими потерями, гитлеровцы фанатично рвались к Севастополю. На пути врага непреодолимым заслоном встали бойцы Приморской армии и моряки Черноморского флота...

Медсанбат Чапаевской дивизии размещался в Инкерманских штольнях, неподалеку от Севастополя. Днем и ночью сюда с переднего края привозили и приносили раненых. Медсанбат работал с полной нагрузкой.

...Генерал Петров приехал в медсанбат во второй половине дня, когда напряжение боя несколько спало; впрочем, затишье ощущалось только на переднем крае, здесь же хирурги работали без отдыха.

— Где Онилова? — спросил генерал.

— Здесь. — Военврач 2-го ранга Любарский показал на дверь в стене за длинным, узким проходом.

— В противогазе Ониловой нашли тетрадь, — рассказывал начальник медсанбата московскому корреспонденту, приехавшему вместе с генералом. — Наблюдения, размышления о жизни... И еще нашли недописанное письмо киноактрисе, сыгравшей Анку-пулеметчицу в «Чапаеве».

— Тетрадь у вас?

— У комиссара медсанбата.

— Интересно бы почитать... В каком состоянии Онилова?

— Почти в безнадежном. Одиннадцать ран.

Генералу принесли вчетверо сложенную ученическую тетрадь.

«Душа наполнена высоким волнением, а на лице яркая



краска гордости и достоинства... Слава русского народа — Севастополь! Храбрость русского народа — Севастополь! Севастополь — это характер русского, советского человека, стиль его души. Советский Севастополь — это героическая и прекрасная поэма Великой Отечественной войны. Когда говоришь о нем, не хватает ни слов, ни воздуха для дыхания... Любимый... вечный наш Севастополь!»

Генерал много слышал о Нине Ониловой еще в критические дни обороны Одессы, когда командовал 25-й Чапаевской дивизией. Знал он, как часто эта невысокая, худенькая на вид девушка с большой санитарной сумкой на боку появлялась в самом пекле боя, как под губительным огнем перевязывала раненых. Ге-

нерал вспомнил: Нина просила еще тогда: «Хочу быть как чапаевская Анка. Дайте мне пулемет». Потом она училась стрелять из «максима»... Здесь, под стенами Севастополя, Нину Онилову знали уже как отважную и опытную пулеметчицу. Во многих жарких боях участвовал ее расчет, не одну сотню гитлеровцев уничтожил ее не знавший промаха «максим»... Росла солдатская слава Ониловой. В знак особого уважения матросы подарили Нине тельняшку, и она носила ее под гимнастеркой. За мужество и отвагу в Севастополе Нина была награждена орденом Красного Знамени.

И вот сегодня Петрову доложили: Онилова тяжело ранена. Ее расчет оборонял рубеж. Близко разорвалась мина, был убит второй номер расчета, горячий осколок обжег плечо девушки. Но она продолжала стрелять. Немцы попытались взять отважную пулеметчицу в кольцо. Нина бросила гранату. Но гитлеровский солдат на какое-то мгновение опередил ее последний бросок...

И вот теперь отважная комсомолка, ставшая на священной севастопольской земле коммунистом, умирала. Мужество, воля к победе, непримиримость к врагу, проявленные молодой патриоткой, поровну делившей со всеми тяжесть кровопролитных сражений, не могли не тронуть сердце старого солдата...

...Генерал быстро пошел по темному длинному коридору.

Нина лежала в отсеке для тяжело раненных. Когда сопровождаемый военврачом Петров вошел, пулеметчица, забывшись, дремала. Санитар поставил у койки табурет, генерал сел и, глядя на раненую, задумался. Бои под Одессой... Контратаки у Мекензиевых гор, сражения под Инкерманом... И всюду он слышал о Нине Ониловой, бесстрашной одесской девушке. Генерал обратился к военврачу:

— А если отправить в Москву!

Военврач отрицательно покачал головой...

Нина открыла глаза, узнала Петрова, еле заметная улыбка появилась на ее губах, слабый огонек вспыхнул в глазах.

— Здравствуйте, товарищ генерал.

— Здравствуй, дочка. Как чувствуешь себя!

— Креплюсь... Болит очень...

— Молодчина! Ты у нас солдат. Держись...

В тишине отсека стучали на руке генерала часы. Звук их напоминал командарму о том, что тысяча дел ждет его за порогом подземного медсанбата... Он поднялся.

— Спасибо тебе, дочка... от всех! Мы гордимся тобой. Севастополь не забудет твоего воинского подвига!

День этот стал последним в жизни Нины Ониловой — восьмое марта сорок второго. Вечером она умерла.

Юную героиню хоронили в осажденном Севастополе, на кладбище Коммунаров. Салют давали артиллерийские дивизионы Чапаевской дивизии и боевые корабли флота: били по укреплениям, штабам и блиндажам противника...

Указом Президиума Верховного Совета СССР за мужество и отвагу, проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками, старшему сержанту Нине Андреевне Ониловой посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза.

Ф. ТРЕТЬЯКОВ,
полковник запаса



УСПЕХОВ ТЕБЕ, СВЕТЛАНА!

Школьницей Светлана Шинкао увидела на почтовой открытке здание Московского государственного университета на Ленинских горах и решила: «Непременно буду там учиться!» Взрослые добродушно посмеивались: не всем живу-

щим в далекой Карачаево-Черкесской области довелось даже просто побывать в Москве, а тут — учиться в университете... Фантазия!

Летели годы... Светлана полюбила физику, не пропускала ни одного занятия школьного физического кружка. Закончив десятилетку, она поехала сдавать экзамены в МГУ. Но не прошла по конкурсу.

«Ничего страшного, — подумала Светлана. — Пойду работать, это даже лучше. Приобрету трудовые навыки, легче будет учиться».

Прошел еще год. Девушка хорошо зарекомендовала себя на производстве — и как работник, и как активная комсомолка. Ей вручили путевку — на учебу в Москву.

Светлана выдержала экзамены и стала студенткой первого курса физического факультета МГУ.

Учиться на физфаке нелегко. Многие до сих пор считают: физика — удел ребят, тем более теоретическая физика. Но студентка пятого курса Светлана Шинкао все годы учится только на «отлично». Призвание! Может быть... Но известно, что одного призвания мало. Нужны трудолюбие, настойчивость, упорство в достижении заветной цели.

Пять лет учебы позади, впереди — защита диплома.

Мечта Светланы — стать физиком-теоретиком. Но она хорошо понимает, что нельзя стать настоящим теоретиком, не освоив практических навыков, и после защиты диплома хочет вернуться в родной Черкесск, несколько лет поработать рядовым инженером. Лишь после этого, считает она, можно поступать в аспирантуру...

Успехов тебе, Светлана!

Фото А. Егорова

СЛУЖЕБНЫЙ НОМЕР 1895

(Начало на стр. 168)

Если дело очень сложное, надо объяснить его спокойно, по-деловому. А кроме того, милиционер — чисто по-человечески — долго помнит, если кто-нибудь словом или делом помог ему при исполнении служебных обязанностей.

Если бы каждый гражданин перед получением аттестата зрелости хотя бы немного походил в форме милиционера, то это был бы, пожалуй, наилучший урок уважения к представителю власти.

„ПРИВЕТ, СТАРИК!“

...И вот в последний раз я надеваю мундир. Смотрю на себя в зеркало. Есть люди, которые строят мины во время бритья или когда находятся один на один со своим изображением в зеркале. Будто бы это о чем-то говорит. Психологи спрашивают об этом в анкетах.

У меня тоже есть такая привычка. Критически смотрю на себя, потом отдаю честь:

— Привет, старик! Ты был неважным милиционером, но тебе удалось выдержать роль до конца. Спасибо за службу!

ВСТРЕЧА ПОСЛЕ СЛУЖБЫ

Мы договорились встретиться с Таденом в кафе. Мы оба в гражданском. Я уже распрощался с мундиром. У Тадека, одного из моих наставников, дежурство только после обеда.

Мы расцеловались.

— Ну и шуточку ты отколол!

— Ты сердишься на меня?

— Что ты!

— А товарищи?

— Тоже нет. Это было здорово. Никто не ожидал.

— Что у вас нового?

— Много работы.

— Рукопись прочитал?

— Сегодня закончил.

— Ну и что ты об этом думаешь?
— Ты написал все так, как есть. Даже ничего не приукрасил. Тебе удалось схватить самое главное.
— Послушай, старик, скажи мне: что ты обо мне думал, когда мы с тобой вместе ездили?
— Прежде всего я был зол, что мне навязали тебя. Только перед этим я ездил со стажером, приходилось многое за него делать. Потом пришел Владек: помнишь, отличный парень? Не успел с ним как следует сработаться, как у меня его забрали...
— И снова дали «зеленого».
— Вот именно! Вместо того чтобы спокойно сидеть за баранкой...
— Мне очень жаль.
— Не обращай внимания. Ведь было не так уж плохо.
— Скажи, как ты оценивал меня в роли милиционера?
— Я думал: парень активный, старается, хочет научиться. Но все равно ты как-то не подходил к патрульной службе. Скорее я видел тебя в будущем где-нибудь в управлении, в роли офицера-следователя.
— Ты точно не сердишься на меня за эту мистификацию?
— Сказал же, что нет.
— Как ты думаешь, если бы я ездил с вами без мундира, официально в качестве журналиста, удалось бы мне собрать такой материал?
— Никогда. Мы бы чувствовали себя неловко, как во время инспекции. Это было бы мучительно и для тебя, и для нас.
— Наверное, не было бы и разговора о каком-нибудь близком контакте, дружбе?
— Конечно. Чем дольше бы ты с нами ездил, тем больше чувствовал бы себя чужим, потому что с каждым днем нам с тобою было бы труднее.
— Надеюсь, Тадек, это не последняя наша встреча? Созвонимся?
— Обязательно. Может, как-нибудь поужинаем вместе, сыграем в бридж?
— Знаешь, я вечерами заглядываю во все патрульные машины, ищу знакомых.
— Если встретимся, то можешь с нами проехаться. Вспомнишь, как это было на службе...

Перевел с польского
Н. Пащенко

ТЯЖЕЛА ТЫ, АРФА...

ЗАДУМЫВАЛИСЬ ли вы, дорогие мужчины, над такой возмутительной несправедливостью: почему-то женщины спокойно вторгаются в наши, исконно мужские профессии, а мы в ответ только моргаем. Им, видите ли, все можно: и стоять на капитанском мостике, и вести электровоз, и штрафовать нас за неправильный переход улицы... А нам — нет. Ну вспомните, встречали ли вы хоть когда-нибудь мужчину, который решился бы занять место, например, маникюрши? Или воспитательницы в детском саду? Или, на худой конец, арфистки?.. Вот то-то и оно!

Интересно, а что по этому поводу думают сами представительницы прекрасного пола? Сгорая от любопытства, я обратился за ответом к воспитательнице детского сада № 45 Куйбышевского района Ленинграда Татьяне Смирновой, маникюрше из парикмахерской № 123 Фрунзенского района Татьяне Ивановой и арфистке симфонического оркестра Ленинградской филармонии Елене Сердечковой.

— Встречали ли вы хоть одного мужчину, который работал бы в вашей профессии?

Т. СМИРНОВА. Это просто немыслимо. Я замечаю, что, когда отцы приходят в детсад

за малышами, те не очень спешат домой, а вот за мамами бегут вприпрыжку.

Т. ИВАНОВА. С их-то ручищами да в наше тонкое дело?! И потом, как записать в трудовой книжке: «Маникюрш»?..

Е. СЕРДЕЧКОВА. Встречала! Последний мужчина, который играл в Ленинграде на арфе, был солист нашего оркестра Даниил Феоктистович Григорьев. Десять лет назад он ушел на пенсию — и я заняла его место. Кажется, в Москве и Тбилиси сохранилось еще два арфиста. А вообще-то сто лет назад эта профессия считалась вполне мужской.

— Почему же мужчинам все-таки трудно вас заменить?

Т. СМИРНОВА. По-моему, у отцов и на родных-то детей не хватает терпения, а тут — чужие...

Т. ИВАНОВА. Ну где им набраться выдержки, чтобы выслушать до конца хотя бы одну клиентку? Таков уж нелегкий удел маникюрши: знать всю «подноготную» своей клиентуры...

Е. СЕРДЕЧКОВА. Чтобы играть на арфе, надо иметь пальцы, которые не боятся мозолей, и ноги, которые не устают жать на семь педалей. Еще необходимо уметь считать до сорока шести (по количеству струн) и вязать на спицах (наше профессиональное хобби). Согласитесь, что для одного мужчины это слишком много. Тем более что арфу и носить тяжело: все-таки два пуда... Не то что скрипочку.

— Вам по душе ощущение такого превосходства над сильным полом?

Т. СМИРНОВА. Жалко мне их.. Ведь если кого-то из мужчин привести к нам хотя бы на один день, непременно потребует компенсацию «за вредность».

Т. ИВАНОВА. И мне жалко. Недавно собираюсь домой, вдруг вбегает парень: «Сделайте маникюр!» Я ему объясняю, что работу закончила, а он чуть не плачет: «Я же к вам впервые в жизни, понимаете — впервые! Завтра свадьба...»

Е. СЕРДЕЧКОВА. Откровенно говоря, такое превосходство мне по душе. В оркестрах часто устраивают конкурсы на замещение вакантных должностей, и чаще всего отдают предпочтение все-таки мужчинам. Так вот, арфистки всегда спокойны, они вне конкуренции!

— Какой подарок, связанный с вашей профессией, хотели бы вы получить 8 Марта?

Т. СМИРНОВА. Мечтаю, чтобы какой-нибудь из двадцати шести моих малышей в этот день сказал: «Татьяна Ивановна, я вас люблю». Ведь дети всегда очень искренни.

Т. ИВАНОВА. Букет гвоздик и лак для ногтей «Золотистый перламутр».

Е. СЕРДЕЧКОВА. Очень обрадовал бы меня комплект струн, но только не тех, которые изготовляют на Полтавском мясокомбинате.

ТРИ КОРОТКИХ интервью повергли меня в глубокое раздумье. Я шел по улице, ничего не замечая. Возвратиться к действительности заставила трель милицейского свистка. К счастью, на сей раз это относилось не ко мне. Девушка с лейтенантскими погонами что-то настойчиво внушала человеку, который своей комплекцией напоминал тяжелоатлета. Зажав под мышкой футляр со скрипкой, человек терпеливо слушал инструктаж по правилам уличного движения...

Лев СИДОРОВСКИЙ

НЕОБЫЧНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ готовится к работам в Ираке. Археологи собираются в костюмах аквалангистов трудиться на дне реки Тигр. В предстоящих поисках будут использованы ультразвуковые локаторы, миноискатели и геофизические анализаторы грунта. Энтузиасты предполагают, что под слоем ила и песка им удастся найти ассирийских древностей больше, чем их находится сейчас в музеях Парижа, Лондона и Багдада. Такая уверенность пришла после того, как они поработали в архивах. Из документов выяснилось, что знаменитые археологи XIX века, раскопавшие Ниневию, Вавилон, Хорсабад и другие города Месопотамии, все свои находки паковали в сундуки и вывозили на плотах к морским портам в Персидском заливе. До двух третей сундуков при этом из-за небрежности попадало в воду... Предполагают, что на дне Тигра лежат каменные быки с головой бородатого воина, алебастровые статуи богинь, мраморные плиты с изображением батальных сцен, украшения из золота и слоновой кости, посуда из царских дворцов. Ученые мало надеются, что им посчастливится поднять со дна реки глиняные таблички с клинописью. Однако они уверены, что в сундуках находятся документы с клинописью на других, более стойких материалах. Так или иначе, но в древнейшей истории Ассирии могут появиться новые интересные страницы.

САМАЯ СТАРАЯ мумия из всех найденных в Египте обнаружена в прошлом году в 25 километрах от Каира. Ее возраст определяется учеными в 5200 лет. Значение этой находки археологи видят в том, что возможны и другие подобные открытия, которые смогут осветить наиболее древний период в истории этой страны.

НА ТЕРРИТОРИИ ХЕРСОНЕСА (близ Севастополя) советские археологи часто находили небольшие флакончики из глины. Долгое время они считались принадлежностями туалета греческих модниц — сосудами для ароматных масел. После расшифровки неясных надписей на флакончиках выяснилось, что еще в III веке до нашей эры они имели совсем иное назначение: в них хранилось лекарство, сделанное из листьев крымского барбариса. О таком лекарстве известно из многих источников. Оно называлось ликийским бальзамом. Употребляли его при различных лихорадках, воспалениях внутрен-



них органов, им смазывали раны, лечили от укусов змей и бешеных животных.

КАК ИЗВЕСТНО, на стыке разных наук происходят удивительнейшие открытия. Новейшие методы строительной физики, геологии, геофизики, химии, вулканологии и многих других наук позволили ученым коренным образом пересмотреть историю Крита, и в первую очередь назначение знаменитого Лабиринта — Кносского дворца.

Легенда приписывает его создание царю Миносу. В начале нынешнего века археолог

Артур Эванс нашел развалины древнего сооружения. Мировая наука еще раз убедилась в том, что за мифами может скрываться зерно исторической истины. Дворец действительно представлял собой гигантский лабиринт причудливо изогнутых коридоров, переходов, пристроек. Археолог издал книгу, в которой описывается жизнь царей Крита в роскоши удивительного дворца.

Теория Эванса держалась прочно около семидесяти лет. Но вот появились сенсационные работы, где на фактах, подтвержденных лабораторными анализами, доказывалось, что цари никогда не жили в Лабиринте. Сооружение было просто огромным кладбищем. Каждая его комната — либо фамильный склеп знатных критян, либо маленькое святилище. Так как комнатки пристраивались одна к другой в течение тысячи лет, план получился хаотичным, запутанным. При реставрации внутренних помещений бросается в глаза их простота, а не роскошь. Примечательно, что во «дворце» применялись не добротные строительные материалы, а дешевые, малопрочные.

Удалось доказать, что огромные сосуды, которые Эванс считал хранилищами зерна, вина и масла, на самом деле были урнами, а мраморные ванны — саркофагами... Великолепные фрески носят не праздничный, а сугубо ритуальный характер. В частности, на них преобладал голубой цвет, который во всем античном мире считался символом печали и траура. Найденные Эвансом кубки, фигурки быков, изображения скрещенных секир — все это, по религиозным воззрениям греков, относилось к погребальному ритуалу.

Итак, Лабиринт остается лабиринтом, но в его темных, тесных и душных помещениях обитали не цари острова. Это был не дворец, а огромное кладбище.

Теперь археологам предстоит решить другую задачу: где находится место истинного дворца правителя процветавшего когда-то островного государства?

У КОЛУМБА уже много «соперников», претендующих на честь первооткрывателей Нового Света: египтяне, римляне, викинги. В Марокко недавно вышел труд, в котором выдвигается гипотеза, что первыми берегов Америки достигли берберы Северной Африки. Ученые обнаружили документы, где упоминается о путешествии берберских моряков на Запад. Кроме того, в языках индейских племен Центральной Америки обнаружено около 400 слов явно берберского происхождения. В Гватемале еще раньше находили каменные изваяния с чертами африканцев; найдены они и в Мексике.

Выдвигается теория, что в руки Колумба каким-то образом попали карты, принадлежавшие древним жителям Марокко, где были обозначены течения Атлантики и господствующие воздушные потоки.



Отмечается, что Колумб не случайно попал на острова Карибского моря. Именно туда проложили свой путь берберы. Интересно, что само слово «кариб» происходит от берберского глагола, означающего «приближение к земле со стороны моря».



«Пятиминутка» перед началом смены... Молодые работницы-комсомолки складального цеха комбината «Трехгорная мануфактура» (слева направо): комсорг группы Александра Семчина, Тамара Ломоносова, профорг цеха Мария Тарасова и член группы народного контроля Нина Глухова (рассказ о делах комсомольцев «Трехгорки» читайте на стр. 174).

На первой странице обложки «Товарища» — трехгорская ткачиха Нина Каминская.

Фото А. Егорова

Вадим КОЖЕВНИКОВ

В ПОЛДЕНЬ НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРОНЕ

РОМАН

Продолжение. Начало см. на стр. 22

20

Когда они оставались вдвоем, Соня подмечала на лице Петухова восхищенное, открыто жадное выражение, он смотрел на нее начинающими блестеть глазами, она говорила с упреком, отодвигаясь и защищаясь локтем:

— Ты знаешь, Гриша, я тебе никогда не возражаю, но разве только в этом у нас с тобой самое главное?..

Петухов покорно, уныло садился на табуретку, неловко курил, спрашивал подавленно, глупо усмехаясь:

— А что?

— Но ведь я тебя полюбила па фронте не просто так, а за то, что ты не как все, а в чем-то мне особенным казался.

— А теперь не кажусь? — горестно осведомился Петухов. — И геройства нет, и по званию уже рядовой — рабочий.

— Почему рядовой? — возразила Соня. — Рядовой — это тот, кто не старается достигнуть или только себе гребет, а до других ему дела нет.

— Разряд-то у меня, как у выпускника из ремесленного, пока не выше, — напомнил безрадостно Петухов.

— Разрядом квалификацию определяют, а не человека меряют, — сказала Соня. — Я тебе не говорила, а все понимала. В мартеновском ты бы уже сейчас в сталевара выправился, а это, если на фронтовую мерку, командир огневого расчета дальнобойного орудия большого калибра — РГК, не меньше, а вот приказали на раскладушки, пошел, все равно как с передовой в хозвзвод.

— Не приказали, а по партийной линии попросили, — пояснил Петухов.

— Я помню, как ты меня стесняться стал после этого, — вздохнула Соня. — С мартеновского приходил весь потный, подпаленный, лицо от огня шелушится, глаза воспаленные, губы сухие трясутся, а сразу неумытым лез целоваться, хвастался, что до самостоятельного выпуска на шлаковую канву допустили, будто чего-то особенного достиг. «Сталевар, — говорил, — это бог всему. Сколько металла стране дает, столько она и весит». И как после боя, увидев меня, радостно хвастал, так и тут. Я только просила: «Гриша, у тебя труд тяжелый, тебе вредно, не отдохнув после работы».

Петухов сконфуженно улыбнулся, сказал тихо, застенчиво:

— Я ведь у печи тоже все время про тебя думал. Осел как-то свод. Чуть печь остудили, полез с печником ремонт на ходу делать, брови спалил, руки в волдырях. Хотели отмечать нас с печником после смены, люди собрались, а я ушел. Говорили потом — из скромности ушел. А я ведь почему? Побежал скорее к тебе, чтобы перед тобой похвастать. Ты мне важнее, чем все.

— Я тогда так и поняла, — зарделась Соня. — Поэтому занавески задернула и на тебе вся сразу повисла. — Произнесла задумчиво: — Вот когда такое — может, это и есть высшая любовь, если она от радости и радость дать хочется.

— Значит, по-твоему, что получается? — сухо спросил Петухов. — Поставили на раскладушки, на ширпотреб. Кадры малоопытные, вроде пополненцев, зашиваемся. Как только орс откроют с промтоваром, хватают авоськи и туда очередь занимать. Я прихожу уговаривать. А они мне: «Ты чего от нас хочешь? Ширпотреб даем, а сами чтобы без него обходились? Нет уж!» А до меня, говорят, ничего подобного никогда не было. Сознательно себя вели.

Пока смену не кончат, даже за продуктовым пайком не становились, хотя все натощак жили.

— Так тебе что больше обидно, что при тебе дисциплина упала и тебя не слушают, или то, что у людей такая нужда в ширпотребе — войны нет, и им больше невтерпеж себе во всем отказывать?

— Так они сами обязаны ширпотреб людям давать, а не в орс за ним кидаться, работу бросать.

— А они что — не люди? Значит, такая потребность у всех и всюду. Такое может везде случиться.

И Соня сказала, потупив глаза:

— Конечно, Гриша, может, и я должна была тебя пожалеть, приласкать, посочувствовать. Но не могла себя пересилить. Видела, ты угрюмый, злой, не в себе. Но почему? Хотела понять и не понимала. Приходишь и, не как всегда, о людях уважительно, а с насмешкой, с издевкой: хватают, что ни дают, без примерки, без выбора. Жадность только видел.

А как тут к ленинградцам блокадным деликатно, с чувством относились? Забыл, что нам рассказывали? В столовой все поедят, а рабочие-ленинградцы, которые до полусмерти голодали в блокаду, потихоньку недоедки со столов собирают, и в клеенчатые авоськи себе складывают, и потом под станками их прячут, и помаленьку достают из авосек и едят во время работы, хотя уже сытые, а все не наедаются. И в общежитии у них мухи и тараканы развелись. Стали выяснять, в чем дело? У каждого продукты припрятаны. Так разве кто-нибудь посмел это заметить? Учредили только в их общежитии специальный буфет. В других общежитиях буфетов нет, только для ленинградцев. И все обошлось постепенно, хотя некоторые и в буфет не верили, все равно продукты под койкой в чемодане держали, и всю одежду, какую можно, на базаре на продукты обменивали. Когда люди голодную смерть преодолели и отощавшие, слабые работали как все: один — за двоих, за троих, и даже злее, чем другие, — у них жадность на еду — это только как после смертельной болезни слабость, не сразу проходила.

— Так то еда, а не вещи, — хмуро сказал Петухов.

— А вещи что? — гневно спросила Соня. — Они же для нормальной жизни требуются. За войну стольких вещей люди лишились, обносились, разорились, из чашек склеенных чай пьют, бутылки на стаканы резали, ложки сами делали, детям с себя все перешивали. А ты на обувь

глядел? Женщины — в мужской, да и в одежде тоже мужской, а мужчины из старой резины подошвы вырезают, а сколько на деревянных ходят! И на все про все — ватник. Фронтовики в гражданское переодеться не могут. Дома и на работе в одной и той же спецовке. А с бельем! Пока после стирки не высохнет, сидят, выйти наружу нельзя. Вот и хватают в орсе промтовар без разбору не от жадности, а оттого, что отвыкли выбирать. И потом, когда все будет, ты что думаешь — сразу это пройдет? Тоже, как после болезни, не сразу отучатся бояться, что им не хватит... А ты по себе все свел. — Сказала, словно передразнивая Петухова: — С авторитетом парторга не считаются! Несознательные! Барахольщики! — Произнесла мягко: — Нельзя так... Вот ты мне за это и не нравился. Раз людей не понял, значит, мог и меня разучиться знать.

— Так ты только от этого? — жалобно и радостно спросил Петухов. — А я думал, будто ты к Клочкову что-то стала испытывать.

— Не будто, а верно, испытываю, не любовь, конечно, а так, вроде благоговения, что ли, — тихо проговорила Соня. — Он знаешь как правильно директору сказал: хороший руководитель должен не возвышать одного за счет унижения другого, а уметь каждому внушать веру в его возможности. Что, здорово?.. А нам он заметил: только в начале прошлого века часы снабдили секундной стрелкой. Так люди не ценили время. А время — это движение. И сейчас тысячная доля секунды для инженера-экспериментатора величина значительная. И заявил, что полностью согласен с Марксом в том, что всякая экономия в конечном счете сводится к экономии времени. И высшая производительность труда, основанная на совершенной технике, благодаря своей эффективной экономичности освободит людям максимально время для их гармонического совершенствования. Значит, талантливый инженер-конструктор — он тоже политический деятель, потому что делает то, к чему в конечном итоге сводятся цели, он сказал, таких великих ученых, как Ленин.

— Ленин не просто ученый, а вождь, — поправил Петухов. — Ученых до черта, а вождь — один на всех! Рассуждает как беспартийный, только и всего.

— Беспартийный! — рассердилась Соня. — Вот мы все ходили мимо бассейна, из которого завод технической водой снабжается, и все пугались, что его не хватит в лет-

ний период, очень сильно вода в нем испаряется. А Игнатий Степанович ходил возле бассейна, думал и предложил покрыть поверхность водоема жировой химической пленкой, чтобы пресечь испарение воды. Что, по-партийному это или как?

— Влюбилась, — мрачно заключил Петухов и посоветовал: — Ты на себя в зеркало посмотри: глаза, как фонари, и вся сияешь при одном упоминании фамилии...

— Глупо, Гриша, и больше ничего, — обиделась Соня, потупилась. — И вообще. Вот я по поручению комсомола стала его уговаривать, чтобы он посмотрел проект вращающейся сцены в клубе, чтобы как в настоящем театре было. Он меня слушал-слушал, потом сказал обидчиво: «Я вот позвоню в милицию и скажу, что вы украли у меня сейчас большую ценность, пусть вас за это посадят. Время мое украли, вот что!» Ну, я повернулась и ушла.

— И, наверное, специально для этого то платье надевала, которое на тебе такое узкое, тугое, что ты в нем выглядела, словно из воды вышла, вся им облепленная, и еще просвечиваешь, — угрюмо сказал Петухов. Заметил злорадно: — А он, выходит, тебя в этом платье не заметил, не заметил, что ты в нем все равно как без всего. Врезалась оттого, что считаешь — он гений.

— Дурак ты, Гриша, — сокрушенно заявила Соня. — Игнатий Степанович сразу всех предупреждает заранее: «Я вам не гений! Чтобы сразу хоп-шлеп! А трудяга, работой достигаю, трудом. У меня вот мозоли между пальцев от ручки. Переписываешь, перечеркиваешь по тысяче раз и лишь на тысячу первом набредешь на то, с чего следовало начинать работу, и делаешь ее опять так же заново, чтобы снова на тысячу первом варианте открыть, что, может быть, это лучший вариант».

— Наизусть все его изречения помнишь, как раньше стихи запоминала, — сказал Петухов, криво усмехаясь: — А вот я помню, он при всех ляпнул: «Для человека будущего одно будет непостижимо — глупость нынешнего человечества, самоуничтожающего себя войнами». А сам он кто? Оружейный конструктор!

— Так, чтоб этого будущего достичь, нам надо еще сколько от империалистов отбиваться! Не мы же войны затеваем, а они, фашисты, — ехидно улыбаясь, парировала Соня.

— Значит, я тебе теперь, после Клочкова, лилипутом кажусь, — грустно констатировал Петухов.

Соня, загадочно улыбаясь, сообщила:

— Игнатий Степанович говорил: «Юпитер такой здоровенный, что из него можно было б изготовить тысячу триста шаров, каждый из которых по объему равен Земле». Ну и что? Земля против него маленькая, но она самая лучшая, потому что — родная. Такой и ты мне.

— Ну уж! — недоверчиво произнес Петухов. — Будто я тебе теперь поверю. — И с надеждой посмотрел в глаза Соне.

— Так я тебе начистоту! — воскликнула Соня. Прижалась к нему. — Действительно, когда Клочков к себе вызовет, я сначала к зеркалу кинусь, а потом к нему в кабинет. И что? Он на меня внимательно посмотрел как-то и сказал: «У вас, очевидно, от правильного пищеварения цвет лица такой свежий? Почти как у моей супруги, но она вегетарианка». Сравнил со старухой! Ты подумай, а!

— Когда человек сильно любит, — сказал Петухов, — для него все женщины принципиально хуже, чем они есть на самом деле.

— А ты таким будешь, когда я старой стану, принципиальным?

— Ты для меня на всю жизнь всегда как новенькая, — вздохнул Петухов. — И, если меня не задирать, голос твой мне кажется даже каким-то сверкающим, словно вижу голос, а не только слышу.

— Гриша! — шепотом произнесла Соня. — Закрой глаза, я за это сама тебя сейчас поцелую.

— Нет уж, — сказал Петухов упрямо. — Ни подаяний, ни взяток не беру.

— А авансы?

— Тоже!

— Но ты, Гриша, учти, — хитро улыбаясь, сказала Соня. — Когда на женщину вот так, как ты сейчас, сердятся, ей только от этого приятнее делается. Значит, любят! Такой мы делаем вывод.

— Так то женщины!

— А я тебе кто?

— Ну, конечно, — промямлил Петухов. — Но только ты для меня какой была, такая и есть, и чем в тебе бабского меньше, тем лучше.

— Но без обмундирования я поженственней стала.

— Ладно там, — сказал Петухов и попросил жалостливо: — Но ты это платье в обтяжку только дома при мне носи, а больше нигде. — Добавил умоляюще: — Ну пожалуйста, а?

— Все-таки ты хочешь быть хозяином жены, — улыбнулась Соня. — Деспотом!

— Ну и что! — сказал Петухов безнадежным тоном. — Хочу!

21

Почему-то на фронте, где столько мужчин и так мало женщин, Петухов меньше тревожился о Соне, чем теперь, когда женщин на заводе, пожалуй, было больше, чем мужчин. Но тогда на фронте он был фигурой — командир роты. Столько людей под его началом! И даже в дивизии ценили, знали. И он все твердо знал, что ему положено знать как командиру роты, и был всегда самоуверен, если матчасть в порядке, позиции инженерно оборудованы, за противником ведется четкое наблюдение, бойцы сыты, боезапас обеспечен, нарушений никаких нет. И даже перед боем боевым приказом предусмотрено, как действовать, какая задача и какими средствами ее решать. И дисциплина — согласно уставу. Приказал — должно быть выполнено!

А вот, к примеру, Золотухин. Работает он всегда со скорбным выражением, озабоченно поджав губу, — взгляд напряженный, как у снайпера. Дают ему на вечерний сеанс билет от завкома. А он отказывается, говорит брюзгливо: «Неприятностей у меня на работе и дома хватает, зачем же я на них еще буду в кино смотреть?» Обработает деталь, мерным инструментом ее проверит, а потом еще долго ощупывает ее внимательными, худыми, проворными пальцами, словно жаль с ней расставаться. И смотрит на нее умильно, и все поглаживает, словно кожей своей ладони дошлифовывает. Махорку он держит всегда в бутылке, чтобы не сырела. Просится всегда в ночную смену, говорит строго: «Ночью работается лучше, беспокойства мыслей по текущим личным жизненным делам нет». Отказывается надевать защитные очки, сердится: «У меня стружка не брызжет, стекает. Это у кого резец, как долото, так тем и проволочный намордник не поможет».

Как-то Алексей Сидорович Глухов остановился, чтобы полюбоваться его артистически-виртуозной работой. Золотухин оглянулся, спросил:

— Ты что, директор? Хорош! Если делать нечего, пошел бы хоть в «козла», хоть в шашки во дворе играть, а под руку зыркать мне нечего.

И Глухов, смущенно извинившись, отошел.

Золотухина спросили, кого бы он хотел к себе в сменщики. Тот буркнул:

— А я вам не кадровик, ставьте кого хотите, пускай станок ломают. А мне все равно, за кем его чинить. — Сказал сердито: — Была бы моя воля, никого бы за свой станок не допускал. — Потом спросил: — А сколько он стоит? Ну, станок, понятно.

Узнав стоимость станка, вытирая руки о паклю, объявил:

— Могу внести не сразу, а по полполучки, в рассрок.

— Да ты что?

— Ничего! — оборвал Золотухин. — За полстанка в войну заплатил, взяли. А теперь что ж, за станок нельзя? Чтобы к нему никто после меня не касался.

Петухову он сказал как-то презрительно:

— Ты вот с фронта целым пришел. А мои трое не вернулись. Тебе не чета, мастера высшего класса. Не пьющие, не курящие. Всегда до начала смены свое рабочее место приберут, станок блестел, как только что с завода. А вот убили. Всегда вчетвером мы на завод шли и с завода тоже. А теперь один. И жена вот по ним болеет, слегла. А лечиться не хочет.

Вдруг прикрикнул грубо:

— Ну чего стоишь, руки как плети развесил? Давай калечь заготовку, раздалбливай станок! А я погляжу, какой ты громила, вредитель.

Две недели обучал Золотухин Петухова, потом вдруг так же внезапно грубо объявил:

— Ну хватит, кое-чего нахватался, а теперь сгинь насовсем. Нет в тебе дара, как у моих. — Пожевал усы. — Скажешь бригадиру: на разряд тебя одобряю. А то, гляжу, сапоги совсем растоптаны. Возьми мой промтоварный талон на ботинки. Мои вечные, смены не потребуют.

Но вот двух местных девушек, прибывших из дальнего кишлака, застенчивых и плохо говорящих по-русски, Зо-

лотухин обласкал, взял на обучение, вселил к себе, обращался не иначе как со словом «дочки». С ними приходил и уходил с работы. Стирал их белье вместе с бельем жены. Уступив комнату, спал на кухне на раскладушке. Водил регулярно в клуб, хотя дремал как на кинокартинах, так и на спектаклях.

Но если кино было про войну, говорил сипло:

— Вы сидите, глядите, а я выйду наружу, покурю.

И ждал на улице, пока картина не кончится.

Найти подход к такому человеку, как Золотухин, Петухову было не просто, да и мало ли было подобных Золотухину трудных людей и в цехе и на заводе! Но вот когда Петухов на партийном собрании предложил, чтобы каждый рабочий-коммунист взял себе на обучение по одному из новоприбывших из местной молодежи в порядке партийного поручения и все проголосовали за это предложение, Золотухин сказал с места сердито:

— А как быть с теми партийцами, которых самих учить еще надо? А то есть такие — только металл резцом колупают, глядеть на них тошно. Значит, не все в учителя годятся. И ты сам, Петухов, говорил складно и правильно, а по разряду ты не лейтенант, больше рядового не тянешь.

Конечно, услышать такое было обидно и неловко.

Хорошо, что Петухов нашелся и сказал, обращаясь к собранию:

— Правильно товарищ Золотухин заметил. Надо, чтобы каждый коммунист взял на себя задачу повысить свою квалификацию, и это тоже внести в резолюцию.

И это предложение тоже единогласно приняли.

Но Золотухин после собрания сказал Петухову:

— Ловко ты вывернулся, хваткий. — Пообещал зловеще: — Но гляди, через две недели я тебе такой закорючистой конфигурации заготовку дам! Не справишься — разнесу на партсобрании в клочья. — Пожевал ус, подумал: — Ладно, хрен с тобой. Моя Зульфия пока хворает, становись, буду дрючить, на смех перед Фатьмой выставлять. Видал, малютка, пальчики, как у птички, тонюсенькие, а хваткие, аккуратненькие, в кишлаке дома ковры ткала, а за металл хорошо, твердо держится и поженски ловко, бережно, не как вы, дуболомы.

— Спасибо, — сказал Петухов.

— А я не за спасибо тебя беру, — произнес Золотухин. — Надо бы этих моих: Зульфию — в комсомол,

а Фатьму — в партию. Рекомендации собираю. Значит, дашь? — Добавил, конфузясь: — А жена-то моя обезноженная уже встает и даже ходит. Горе-то ее послабже стало, все ж таки не одни теперь, а вроде семейство, по материнской линии о них в заботе и ожила, воспрянула. — Сказал сердито: — А ты что думал, я только чтобы кадры растить? О себе тоже заботился.

Когда Золотухин увидел Петухова с Соней, спросил бесцеремонно:

— Твоя, что ли? Ничего оторвал — красивая. На фронте нашел? Ну, значит, трофей подходящий.

Произнес нежданно ласково:

— Ну раз вас фашисты не убили, вы теперь уж живите хорошо, ладно, без грубостей, а то навидались в боях, как людей убивают, теперь соображайте, как надо всякое человеческое оберегать, в себе возвышать.

Согнул ус, прикусил:

— И запомните — повторимых, заменимых людей нет, каждый сам по себе редкость...

Соня потом сказала протяжно:

— Какой хороший! И такой глубокомысленный!

Петухов промолчал, помня, как поносил его Золотухин за всякую ошибку и неловкость в работе.

А Соня продолжала говорить живо и увлеченно:

— Я как хорошего человека узнаю, так мне сразу хочется, чтобы у тебя тоже такое, как у него, было.

— Вот, — сказал Петухов, — выходит, все во мне для тебя недостаточно, у других я, что ли, занимать должен?

— А что тут плохого? Я же хочу, чтобы ты самый лучший из всех был.

— А мне вот тебя, какая ты есть, вполне на всю жизнь достаточно, — обиженно сказал Петухов, — и ни с какой самой наилучшей мне тебе советовать взять нечего. Вполне хватает.

— Ну и неправильно, — заявила Соня, — я вот все время думаю, как для тебя быть получше. А как — не всегда знаю.

— Надо бы курсы открыть совершенствования человеческих личностей, — усмехнулся Петухов. — И без вступительного экзамена не принимать.

В общем-то, Петухов не ожидал, что Соня займет такое большое место в его жизни, когда все: и дела свои, и помыслы, и тревоги, и мысли, — он привык соотносить

с мнением Сони и жил и работал как бы на нее, то есть все время думал — возвысится от этого он в глазах Сони или нет. Она стала главной мерой у него во всем.

Конечно, не всегда это было в радость. Уж очень Соня была как-то чрезмерно правдивой. Он сообщал с удовольствием:

— Прошло мое предложение на партсобрании насчет подготовки кадров.

— Что значит — твое? — спросила Соня. Пожимая плечами, произнесла укоризненно: — Если единогласно приняли, значит каждый так думал. А ты только огласил то, что все думали.

— Но инициатива моя.

— Неправда! — рассердилась Соня. — Сам же говорил: Золотухин давно двух местных девушек на обучение взял. Только он учил их, а не говорил всюду, что учит. Он делом пример подал, а ты только словами.

— Что ж, по-твоему, слово — это только звук? Оно мысль.

— Но мысль твою тебе Золотухин своим делом подсказал. Ну вот по-честному и надо было сказать: «Поддержим пример товарища Золотухина». И все! А ты минут восемь говорил, и от себя только: «Предлагаю! Долг! Призываю!» Не надо так, Гриша, выставляться, коммунистов агитировать в том, что они коммунисты.

— Но ведь аплодировали!

— Не тебе, а тому, что единогласно проголосовали. Учить-то будут в нерабочее время. Значит, в партию делают добавочный взнос — своей рабочей жизнью за счет домашней. Обрадовались, что все на такую самоотверженность без разговоров согласились, по-партийному.

И вдруг, когда еще обида кипела в Петухове, Соня прижалась к нему и, снизу вверх заглядывая ему в глаза, призналась шепотом:

— Но мне, знаешь, было так приятно, гордо. Ты выступаешь, все на тебя смотрят, потом хлопают, согласны. Я даже не утерпела, толкнула соседку, сказала ей: «Это мой муж!» Она мне: «Ничего, подходящий, в точку клюнул». И я даже покраснела, засовестилась, что тобой расхвасталась. Но все равно приятно.

— А сама ругаешь!

— Я не ругаю, я обдумываю на дальнейшее, чтобы у тебя дальше получше получалось, а не так вот... Сказать то, что все думают, и считать — это твое!

22

Кадровые рабочие и те, кто усвоил рабочие обычаи, брали у кассира свою получку уважительно и даже с благоговейным достоинством, с оттенком заметной гордости, если денежная пачка была потолще, а купюры побольше, и медленно, не спеша пересчитывали, как рекомендовалось табличкой, «не отходя от кассы». А те, кто работал на заводе только по необходимости, а не по призванию души, хотя и у таких бывали получки не меньше, забирали свою зарплату пренебрежительно, не считая, сгребая ее ладонью с кассовой полочки и, кривя губы, совали в карман, словно это была лишь бумага.

Конечно, деньги в ту пору имели скорей условную, относительную ценность. При нормированном распределении продуктов — карточной системе — существовало большое различие между низкими пайковыми ценами и высокими в так называемой коммерческой торговле, и еще выше цены были на колхозном рынке.

Поэтому рабочая карточка сама по себе составляла главную реальную ценность — обеспеченность трудящегося. А деньги, что ж, они скорее символизировали количество и качество затраченного труда, утратив свою возможность быть его эквивалентом.

Все, кто работал, как выдающиеся мастера, те, кто старался в меру своих сил, и те, кто только вытягивал норму, получали равное и главное вознаграждение — рабочую карточку. Она и была чем-то вроде твердой валюты, обеспечивающей жизнь. А сама денежная получка относилась, пожалуй, больше к моральной категории, чем материальной.

Но вопреки всем этим реальным обстоятельствам и даже пренебрегая ими, те, у кого было развито чувство рабочего достоинства, с праздничным удовлетворением брали свою получку и гордились тем, что она побольше, чем у других, как безусловным показателем своего трудового усердия и мастерства.

Петухов отвык от денег на фронте, там их и некуда было употребить. По своей рабочей карточке и по Сониной служащей он, как и на фронте, без заботы получал полное обеспечение и снабжение. Свою получку они спускали в коммерческом магазине в первый же день, приобретая то, без чего можно было жить. Но, получая в кассе свою не очень большую зарплату, Петухов как-то заме-

тил на себе косой, пренебрежительный взгляд Золотухина, который тщательно и озабоченно пересчитывал на виду у всех купюры из своей толстой, рыхлой пачки, задерживая других у окна кассы, чтобы все видели, сколько заработал он, выдающийся мастер Золотухин. И потом, когда Зульфия и Фатьма стыдливо и смущенно хотели, не считая, поспешно взять свои получки и отойти от кассы, он остановил их и сам взялся, не торопясь, пересчитывать их деньги. Окончив считать, объявив сумму, сказал кассиру: «Все точно!» Оглянулся на ожидавших, сказал громко, во всеуслышание:

— Слыхали, сколько? — Выждал, произнес внушительно: — Кто классно работает, тот и есть рабочий класс. И у того соответственно дензнаками труд обозначен. — Потряс пачками. — Вот как оно фактически! А у кого тощевато, тот и работает, выходит, маловато. — Крякнул и повел своих учениц в промтоварный.

Такие, как Золотухин, Зубриков, составляли не только рабочий кадровый костяк завода. По существу, это был заводской начальствующий состав, как бы всеобщее руководство всеми здесь и всем здесь. Они были хозяевами завода и в прямом и в самом широком смысле. Начальствовали они тем, что в мастерстве своем обрели независимость. По тонкостям и обширности знания своего дела они стали настолько недосягаемы, что им никто не мог ни скомандовать, ни приказать.

Изделия их всегда были для всех как бы укором, и цех подчиняли они своей молчаливой умелостью, тем, чего человек может достигнуть величайшей собранностью, сосредоточенностью, пожизненной, ясной и убежденной увлеченностью своим трудом. Именно от них исходили те нормы отношения к труду, которые составляли духовные черты достоинства рабочего. И каждый, видя их работу, рабочие повадки, всегда ощущал точно, чего он пока только достиг и чего можно достигнуть, поднявшись к вершинам мастерства, путь к которому — каждодневная отдача себя постижению в труде искусства труда.

Они были хозяевами завода, потому что, ценя свой труд, свое рабочее время, не терпели хищения его. Поэтому заготовительные цехи — кузнечный, литейный, штамповочный, дающие им заготовки,— входили в сферу их рабочего интереса, как собственный станок. И они требовали от этих цехов такого же качества и рабочего ритма, какими полностью владели сами. Из уважения к безукоризненно-

му труду рабочие выбирали таких изысканных мастеров на все уровни общественных, партийных руководителей. И, соединяя свое мастерство и понимание труда с доверием заводского коллектива, они были той заводской властью, перед которой робел сам директор завода Глухов, облеченный по закону военного времени обширным единовластием с правом входа на самый верх, но вынужденный подчинять себя не только самому верху, но и этой рабочей власти, которая частенько брала верх в сложных, казалось, неразрешимых ситуациях, находя из них выход.

Когда «зашился» сборочный цех, станочники и инструментальщики после своей смены шли на сборку и справлялись не хуже, а даже лучше сборщиков, потому что испытывали удовольствие, собственноручно собирая из своих деталей готовое изделие, и, кроме того, разнообразие в новом труде содействовало преодолению усталости от привычного труда.

И именно мастера по своему рабочему дару, поняв затруднения производства, выручили завод.

Они, приметив работу электромагнита на складском дворе мартеновского цеха, использовали подобный этому электромагнит для сбора стружки в механических цехах, освободив несколько десятков подсобников, занятых уборкой стружки.

Своим мастерством они доказали, что существующие нормы припусков на заготовках — растрата металла, и снизили эти нормы так, что из сэкономленного металла завод дал сверхплановую продукцию фронту. А началось это с чего — с насмешливой иронии мастеров, постигших тонкости и смелость мастерства, с насмешек над теми, кто не чувствовал красоты и изящества, возможного даже при изготовлении грубой заготовки, где в наростах излишних наплывов исчезали очертания будущего изделия. Довести до минимального предела припуск — это ведь тоже лихое тонкое мастерство, и чем лучше мастер заготовки, тем в ней четче выступает облик будущего изделия, тем больше мастер сближает заготовку с будущим изделием, ощущая в его предварительной форме нечто окончательное, почти завершенное.

И когда лучшие мастера механических цехов, инструментального начали отмечать лучших мастеров заготовительных цехов, и публично, на собраниях, выражать им свою личную признательность за удовольствие работать именно над их заготовкой, и свой успех делить по-

ровну с ними, — с этого, собственно, и началось движение по заводу за экономию металла, а по существу, это было выражением профессионального мастерства, рабочей требовательности каждого к каждому, глубокое понимание их взаимозависимости в отношении к труду.

23

Должность руководителя — это прежде всего власть не над людьми, а над... делом. И тот, кто сознает, что он зависит от людей, а не люди от него, только тот может двигать вперед порученное ему дело.

А идейность человека находит себе также выражение и в деловитости, в экономии, бережливости, смелости творческой мысли, как и в самоотверженности, и это все входит в слагаемые умственной, духовной, профессиональной культуры рабочего человека, творца и созидателя мощностей страны, ее всесилия...

Петухов пришел домой с получкой, которую обычно вручал жене, и Соня небрежно, почти не глядя, бросила деньги в коробку, где держала нитки, лоскутки, иголки, деревянный грибок для штопки чулок. Это не то что обидело Петухова, но, поскольку он продолжал испытывать те чувства, которые пережил, стоя у окошечка кассира, то сказал ей строго:

— Продуктовые и промтоварные карточки, небось, в кошельке держишь, а деньгами швыряешься.

— Ты что? — спросила удивленно Соня.

— А то! — сказал внушительно Петухов. — На сто двадцать больше заработал.

— Подумаешь! — сказала Соня. — На базаре курица дороже стоит.

— Я тебе не для курицы, а для того, чтобы заметила. По полторы нормы стал давать — для этого.

— Ну дай я тебя поцелую, Гришенька, от меня в премию. — И Соня потянулась к нему своим теплым и нежным лицом с манящими полуоткрытыми губами.

Петухов повел плечом и отодвинулся.

— Ты что? — спросила, обижаясь, Соня.

Петухов посопел, повздыхал, потом сказал не совсем уверенно, словно размышляя вслух для себя только:

— Вот деньги! Они всегда все-таки деньги. Конечно,

сейчас на них мало что купишь. Но свое обозначение, что они за труд, у них остается.

— Ну и что? — спросила Соня.

— Вот я подумал: когда-нибудь денег не станет, ну при полном коммунизме, а надобность в них все ж должна быть.

— Это зачем же, когда всем все будет? К чему деньги тогда?

— А как знаки! Кто больше и лучше других делает. Одинаковых людей во всем все равно не будет, обязательно все разные останутся. Только получше нас, конечно. Надо же чем-то отмечать.

— Вот я тебе предлагала — чем, а ты не захотел, — улыбнулась Соня.

— Ты подожди, — жалобно попросил Петухов, — послушай. Вот деньги сейчас не в цене. А они не меньше для людей значат, чем когда они в цене были. Значит, заработал! Больше твоя получка — значит, больше другого наработал.

— Иначе как же? — удивилась Соня.

— Я про что тебе? — раздражаясь, сказал Петухов.— Если деньги сейчас мало стоят, но для людей они много значат — если они получка, конечно, — то что получается? Коммунизма нет, а вот что-то от него в людях есть, раз они так к получке, как Золотухин, относятся, — с гордостью, что у него больше других, хотя, может, тоже только на две-три курицы.

— Ты прости меня, Гриша, — встрепенулась Соня, — я ведь совсем не подумала: раз получка чуть больше, значит, ты отличился, справился.

— Да не во мне дело! — досадливо произнес Петухов. — Я вообще... Сколько сейчас жулья, хапальщиков, спекулей всяких на базаре, а некоторые просто от лишений хватают все, жадничают. Но вот то хорошее есть в людях, о чем я тебе сказал. Ну хотел с тобой порадоваться, что такое есть в людях — главное.

— Если б не было так, не воевали бы геройски, — наставительно заметила Соня. — На смерть шли без оглядки. А тут, подумаешь, получку уважают.

— Да не получку, — поморщился Петухов, — а то, что деньги сейчас, хоть и не очень деньги, и затраченному труду они не соответствуют, как ценности, на это люди внимания не обращают, а берут только по существу, как знаки за труд. Поняла, наконец, или нет?

— Так это потому, что всего не хватает, купить нечего. Только нормированное снабжение. Карточки сейчас дороже денег, а прибавится все, небось каждый рубль будут подсчитывать, и копейки, может, тоже, и с уважением, как обработанные заготовки после смены.

— Мелко думаешь! — презрительно сказал Петухов.

— Не мелко, а по жизни, — твердо заявила Соня. — Ты вот Зубриковым восхищаешься, а это что, правильно? Вот лучшие, как Зубриков, а одинаковые снабженческие карточки получают с теми, кто еле-еле тянет. С таким уравнением немного нарешаешь!

— Значит, по-твоему, так надо с государством обращаться — я тебе дал, а ты мне за это все отдай, а то обижусь?

— Почему все? По обстановке. Во время войны не жаловались. После — другое дело. Жизнь-то надо облаживать. Терпят сейчас, потому что надо. Сознают, что надо. Только я так считаю: как не все одинаково на фронте воевали, так и не все одинаково работают.

— Орденами отмечают! Это что, тебе мало?

— Так это за геройство!

— А еще за что давать?

— Я же не про награды говорю, — строго сказала Соня, — а о правилах жизни. Чтобы за труд чутко каждого отмечали, не только выдающихся, а каждого. Чтобы каждый чувствовал все время, что он от труда своего зависит. Раньше людям не до себя было — только бы фашистов разбить. А теперь не по военному времени жизнь должна выстраиваться...

— А как?

— Я еще не знаю, — призналась Соня. — Но хотелось бы, чтобы те, кто получше работает, получше и жили.

24

Петухов привык в армии к равенству во фронтовом быту, к тому, что передовая — общежитие подразделения, и жизнь каждого проходит на виду у всех, и каждый озабочен каждым и взаимозависим. И командир — это тот, чьи приказы выполняют, но не обсуждают, а если и обсуждают, то в пределах того, как выполнить лучше полученный приказ.

И когда он пришел на завод, ему понравилось как раз то, что еще действовало тут по закону военного времени. Директор не кто-нибудь, а генерал-майор. И на совещаниях директор выступал как командующий, и в основных цехах люди по привычке еще оставались на казарменном положении. Поскольку не были еще отменены законы военного времени, ни прогулов, ни невыходов без основания на работу не было, и у всех равное питание, вещснабжение, как на фронте, только что по карточкам. И он чувствовал себя в этих условиях удобно, словно оставался на военной службе.

Выправкой, послушанием, всегдашней готовностью выполнить любой приказ старшего он вызвал к себе особое внимание руководителей цеха, но не душевное расположение коллектива, хотя все его уважали как фронтовика. И то, что он всегда брал сторону руководителей, считали только армейской привычкой к строгой субординации.

Трудности послевоенного времени, которые переживал завод, Петухов воспринимал лишь как трудности в связи с переходом с оборонного производства на мирное. А вот то, что стали говорить о трудностях и неустроенности быта рабочих, о жизнеустройстве послевоенном, Петухов считал только результатом неполадок по реорганизации производства, и от этого, как он полагал, и возникали всякие неправильные настроения. Поэтому он восхищался Зубриковым, терпеливо ютившимся с семьей за занавеской в общежитии, гордился такими, как Зубриков, и каждый раз, когда на собраниях кто-нибудь говорил о бытовых неполадках, угрюмо сидел молча. Но однажды он выступил и горячо заявил:

— Вот товарищ Зубриков, лучший наш производственник, живет, как — сами знаете. Спит с братом-инвалидом на полу между коек, сам себя обстирывает. На столе, где обед готовят, к занятиям в техникум готовится. А о чем он здесь говорил? О своем трудном быте? Нет! Как коммунист взял на себя обязательство двух станочников выучить. Вот что значит по-партийному болеть за производство! Вот у кого надо учиться правильно, делом, преодолевать трудности перестройки.

Собрание аплодировало, но не его выступлению, как думал Петухов, а тому, что все чтили Зубрикова. Его имени и аплодировали.

Зубриков вышел на трибуну, неприязненно посмотрел на Петухова, сказал:

— Я почему попросился по второму разу? Чтобы отвести от себя слова товарища Петухова. Как я нынче живу — это не пример, а отрицательный факт. И некрасиво, неправильно товарищ Петухов меня в пример взял. Знает ведь, я член парткома. Поэтому, чтобы не было личного, про свой быт я молчал. Но это дело не личное, а общее, и не просто бытовое, а и чисто производственное. Мы, кадровики, еще стерпим. А вот взял я молодых на работу, выучу, допустим, дам квалификацию, и с завода мы их упустим. Как поглядят на всякое неустройство, уйдут, где получше им будет. А вообще, суетиться с производственными трудностями нечего, они выгладятся, но только вместе с налаживанием жизни...

Посмотрел сурово в глаза Глухову, сказал:

— Вы нам по реконструкции предприятия умно, хорошо доложили как директор, а вот как коммунист прошлись мимо реконструкции жизни с военного времени на послевоенное. Товарищ Ленин велел коммунисту не только сегодняшним днем жить, но и завтрашним, будущее понимать, видеть и на него нацеливаться.

Помолчал, подумал, добавил сердито:

— На «ура» брать, как вот этот бывший лейтенант бойко кидаться без оглядки нам предложил, так можно и мимо людей проскочить, не заметить, как мимо интересов кровных пройдешь. Такое допустить нельзя.

Сел тихонько на свое место, спросил зло:

— Чего хлопаете? Не хлопать, думать всем надо, как по-умному и туда и сюда пороху-сил хватило бы.

Зубриков потом долго чуждался Петухова. И только после того, как Петухов начал работать в кроватном подсобном цехе, заходил, смотрел молча, как тот управляется на трубогибочном приспособлении, и однажды сказал:

— Заходи как-нибудь ко мне в цех. — Усмехнулся: — Вроде как к станковому пулемету поставлю — на пробу.

Хотя Соня работала чертежницей в конструкторском бюро, после избрания ее в завком — наверное, за то, что она бывшая фронтовичка, — она лучше Петухова стала знать жизнь заводских людей и с самой трудной ее стороны, потому что на долю завкома и приходились

эти самые трудные и многосложные заботы о жизнеустройстве людей.

Но даже доведенные до отчаяния жалобщики, узнав, что Соня фронтовичка, деликатно укрощали свое раздражение и уже говорили о своих бедах спокойнее, и, видя, как она хромает на раненую ногу, и слыша, как в разговоре привычно употребляет армейские слова и по-армейски строго себя держит, сами шли на добровольные уступки, считая, что их нынешние горести и трудности меньше, чем те, какие переживали люди на войне.

Вот именно эта готовность жалобщиков примириться с трудностями, их постигшими, во имя того, что на войне другим было тяжелее, и приводила Соню в ярость, когда она слышала от разного рода должностных лиц в ответ на ее запросы снисходительные слова:

— Страна все фронту отдавала и не в кредит, а ради победы. Вы же требуете так, словно обязаны вернуть задолженность. Бывшая военнослужащая, фронтовичка, а так странно рассуждаете!

Тучный человек в сане коменданта общежития сказал ей удивленно:

— Чего вы тут шумите? Сами сколько лет в окопах, землянках жили, — и ничего. А тут что ж? Барак не отель.

— Перегородки поставить, убрать двухэтажные топчаны. Чтобы кухня, душ, красный уголок...

— А емкость? — спросил комендант. — Помещение по расписанию на восемьдесят душ.

— Но тридцать человек уехали. Места пустуют.

— Ну и что? Приказ никто не отменял — положено восемьдесят на площадь. Этого приказа и придерживаюсь.

— Такие, как вы, на фронте не в ту сторону в атаку бегали, — сказала сквозь зубы Соня.

— Обзываете дезертиром? Хорошо! — обрадовался комендант. — Так и доложу: при исполнении обязанностей получил словами по морде...

— Снять его не только можно, но и должно, — сказали Соне в завкоме. — Но где другого взять?

— Значит, что же? — спросила Соня. — Дуракам людей мучить, а ссылаться на послевоенные трудности?

Соня пришла в общежитие, собрала жильцов, спросила:

— Нужен вам такой комендант?

Выслушав много злых слов, предложила:

— Выбирайте сейчас любого вместо него.

— И выберем, — сказали ей.

Выбрали женщину, мать двоих детей, формовщицу. Комендант заявил:

— Это беззаконие. Приказом дирекции утвержден, приказом дирекции должен быть отвергнут.

— Вот протокол собрания, — сказала Соня. — Берите копию как приказ. Ясно?

Ей крикнули одобрительно:

— Вот это по-военному! Правильно!

— Не по-военному, — поправила Соня, — а по-советски. Ваше общежитие, вы в нем хозяева. А завком директору не подчинен. Он сам только член завкома.

— Доложим! — сказал комендант, сощурясь.

Соня побывала у директора базара, бывшего фронтовика, инвалида. Спросила его:

— Почему ваш базар называется колхозным рынком? Разве колхозы спекуляцией занимаются?

— Да, тут колхозников не бывает, — согласился директор, — одни спекулянты.

— А вы свяжитесь с колхозами, пусть свои ларьки откроют по честным ценам.

— А что, можно! — сказал директор.

В бывшей бане размещалась экспресс-лаборатория завода.

Соня пришла к замдиректора завода, спросила вежливо:

— У вас разрешение горисполкома есть на занятие бани под лабораторию?

— Какое там разрешение! Война — даже школьные помещения под госпитали занимали.

— Так вот, — сказала Соня. — Или освободите баню, или мы привлечем вас к ответственности за то, что занимаемое помещение не оформлено по закону.

Замдиректора вызвал юриста. Тот развел руками, сказал уныло:

— Вообще, что ж, товарищ Петухова права. Если строго по закону, могут привлечь.

— За что?

— Во время войны юридические нормы нарушались. Но сейчас оправдание могут и не принять во внимание в любой инстанции.

— Вы, что же, заводская и против завода действуете? — спросил замдиректора. — Ну-ну...

На заседание завкома пришел сам Глухов. Его появление здесь было чрезвычайной редкостью. Сказал шутливо:

— Профсоюзы — школа коммунизма. Пришел подучиться маленько, а то до меня слухи доходят: считаете — не доучен партией.

Но в ходе заседания ссутулился, опустил глаза и все время торопливо записывал в блокнот, что тут говорили.

— К вам Мухина приходила, развелась с мужем, — сказала ему член месткома, пожилая работница. — Кобель, которых донжуанами прозывают. Просила ему в общежитии койку дать. А вы что на ходу сказали жилотдельцу? «Нашли время для разводов, пусть вместе живут. Не классовые враги, смирятся». Суд развел, принял все во внимание, а вы выше советского суда себя поставили. И что в итоге? Мухина в другой город уехала, а ведь какая разметчица! Без завкома, самовластно решили, вот и нажглись! Хотя у вас по военному времени право было: без вашей резолюции ни метра жилья — так теперь хоть такое единовластие себе не позволяйте.

С баней ясно. Могли бы и по суду вернуть людям.

Общежитие! Сами выступали, говорили, сколько эвакуированных уехало. Раз людей стало меньше, значит, кризиса острого с жильем поубавилось. Надо нормально расселять людей в улучшенных помещениях, а то и другие уедут.

Был в школе госпиталь. Военные освободили, а вы ее к себе прибрали по линии военного ведомства, поскольку завод оборонный. Контора там. Школу надо вернуть. В три смены дети больше учиться не будут.

— А контору, что же, в сквер, под тент? — огрызнулся директор.

— Потеснитесь в здании дирекции. Далее. Военпредов нет, а военпредовские квартиры заводские есть. Лучших ударников туда вселить.

— Мы еще военный заказ имеем, — напомнил директор.

— Ничего, на такой заказ могут из своего гарнизона принять!

— Значит, с армией поссоримся.

— Простят! За войну мы армии изо всех сил служили... Еще детсад — первоочередная задача.

— Ну уж, — перебил директор, — всех наличествующих младенцев обеспечивали всю войну и первоочередно. Свой особняк, персонально мне выделенный, сдал под ясли. Живу, сами знаете, в двухкомнатной, тут критику не приемлю!

— Так о дальнейшем думаем! Война кончилась. Детей рожать стали больше, а судя по декретным отпускам, будет еще больше.

— Значит, доложить правительству, сколько у меня рожать собираются? — усмехнулся директор.

— А там такие же, как и мы, люди сидят, — сказал сухо председатель завкома. — Скажут: шутники в руководстве большим человеческим делом не требуются!

— Ну-ну, полегче! — прикрикнул директор. Произнес строго: — Вы вообще, товарищи, не зарывайтесь! А то вот снимаете работников без согласования с должности, утвержденной директором. За такое нарушение можно и к ответственности привлечь!

— Ну и привлекайте! — вскочила Соня. — Я вашего коменданта сняла, потому что он сволочь!

— Слышали? — спросил директор. — Ну и ну! Вот это профсоюзный деятель, воспитали, называется.

— А я своих слов обратно не возьму! — горячо заявила Соня. — Сволочь он!

— Против именования такими словами бывшего коменданта я не возражаю, — сказал директор, насмешливо глядя на Соню. — Лично вы можете любыми словами кидаться по своему усмотрению. Но вы представляли не себя, а завком. А действовали как благородная налетчица, что ли, но все равно как налетчица. — Вздохнул. — В комендантах я виноват, назначал, исходя из административных соображений, чтобы только порядок был. Нет нарушений — значит, сойдет. А то, что они там командовали, а не жизнеустраивали людей, инструкция тоже моя, виноват. С военной списал по положению казарменному. Так кто я, по-вашему, теперь? — спросил директор Соню, выждал, произнес со вздохом: — Перестраиваться нам, конечно, всем надо, чтобы по мирным возможностям обустроиться во всем.

Ну ладно, вот упрекаете — единовластно распоряжался, даже вот с этой Мухиной. Нехорошо! Согласен! Петухова... Хоть ее выходка с комендантом мне сильно не

понравилась, даже больше чем не понравилась, но по-человечески скажу: то, что горячо взялась, — нравится! Но что плохо? У нас с вами получается: дыр много! Поищем — еще больше найдем. Но чем их латать, спрашивается? И только ли латками заниматься?

Сейчас бой на заводе идет, и трудный бой: с меньшими людьми дать больше продукции. Войны нет, по-военному не прикажешь. Оборудования дополнительного сразу не получим. Тот завод, из которого мы здесь наружу вылупились, сейчас на своем старом месте заново на ноги становится, его оборудовать надо. Свое он здесь насовсем оставил. И по всей стране так: что с запада привезли, то на востоке осталось. По существу, двойной прирост промышленных мощностей. А что это значит? Значит, вышли из войны не слабее, а сильнее, чем мы были, гораздо сильнее.

Теперь еще что? Освобожденные, разоренные войной западные районы восстановить полностью надо, а как? Вернуть туда то, что вывезли? Переэвакуироваться? Но ведь здесь на какую промышленную высоту вывезенными предприятиями жизнь подняли! Нельзя! Тришкин кафтан получится! Значит, что? Единственное — дать быстро в должном количестве отсюда, что произвести можем.

А если все будут давать, то будет откуда взять. На войну давали без отдачи, за одну победу. А смысл мирной жизни в том, что она на отдаче построена, чтобы победа по всем линиям — и в дом и в жизнь каждому во всем пришла. Значит, как было главное, так и есть — производство.

Но! — директор поднял палец. — Вот вы мне сейчас этим самым указали на все промахи и недостатки. Указывать — пальцев у всех нас не хватит на дыры. Будем собственноручно пока справляться. Сверху ничего пока не упадет. Давайте сначала на жилье нацелимся совместно. За ремонт сельхозтехники местное руководство должно нам помочь. Я уже договорился, чтобы своими силами нам сборочный цех поставили. Сельхозмашины габаритные — в старом тесно. От раскладушек есть сверхплановые накопления. Поставим четыре дома. Ордера вы будете выписывать только по производственным показателям. А сильно нуждающимся надо и в исполком стучаться. А то привыкли к моему военного времени единовластию — отвыкать надо, товарищи. Профсоюз — тоже власть народа, а вы все просите, как на бедность...

Конечно, произнес эту речь Глухов, понимая, что он несколько выкручивается от той критики, которой был здесь подвергнут, и за самовластное решение построить по-хозяйски дома с него могут и взыскать по служебной линии. Но он понимал, что лучше ему получить взыскание, чем потерять уважение коллектива завода, без которого руководителю не устоять на своей должности.

25

Секретарь обкома Камиль Нуралиев был сухощав, по-армейски статен и с чрезмерно ранней для восточного человека его возраста сединой. На лице его почти всегда можно было увидеть улыбку со множеством самых различных оттенков. Он был страстно любопытен к людям и памятен на всех, кого когда-либо и где-либо встречал.

— Партийная работа, — любил говорить он, — это люди. Плохой организатор тот, кто не умеет открыть, зажечь в людях лучшее. Для того, кто не хочет, не умеет понимать людей, для такого партийный билет, как для слепца фонарь, — только бремя.

Мечтательная улыбка долго оставалась на его лице после встречи с человеком, который жил порученным ему делом и, докладывая, как у него идут дела, рассказывал не о себе, а о тех людях, которые смело, дерзко, умно, настойчиво ищут новое. Он сердито требовал, чтобы таким людям не мешали, и решительно заявлял: «А помогать я им буду сам. Не получится, с меня тогда спрашивайте».

Потирая руки, Камиль Нуралиев говорил увлеченно:

— Лев Толстой писал: «Спокойствие есть душевная подлость». — Спрашивал, сощурясь, с улыбкой: — Что, резковато? Ему можно — гений! Но чрезмерно спокойные люди подобны покойникам, двигать живое дело не способны. А у нас есть такие живые покойники. Ходят в саване из бумаг, на все у них ответ — по бумаге. И говорят с людьми, читая по бумаге списанное с другой бумаги.

Когда после войны значительная часть эвакуированных стала разъезжаться с завода, в обкоме забили тревогу.

Нуралиев сказал на бюро:

— Прежде всего надо организовать торжественные проводы! Поблагодарить за то, что они нам подарили свой завод, опыт, знания, вырастили нам людей. Второе: подумать, может, мы не все сделали для того, чтобы они могли остаться здесь навсегда. И третье. Те, кто остался, прирос к другой земле, — это драгоценные для нас всех люди, и у них надо учиться тому, что для советского человека Родина — это не только то место, где он родился и вырос, а вся страна...

Откровенно говоря, хотя Глухов и был растроган столь торжественными проводами уезжавших с завода, преодолеть тревоги, вызванной этими проводами, он не мог. Сказал уныло секретарю обкома:

— Конечно, благодарю, как говорится, за внимание к нашим бывшим работникам, за цветы и прочее. Но как бы другим тоже такие проводы не понравились! А с кем работать? Рабочих рук не хватает, а вы тем, кто уехал,— цветы!

— Вы считаете, повестки надо было вручить, вызвать в милицию, задержать?

— План-то может быть сорван, а у меня директива,— неопределенно ответил Глухов.

— У меня тоже эта директива в сейфе лежит, — сказал Нуралиев. — И я тоже, как и вы, отвечаю и беспокоюсь.

— Беспокоитесь, а вот отпустили. И еще с оркестром!

Нуралиев опустил глаза, загадочно улыбаясь, спросил:

— Завод оказывал помощь колхозам техникой, кадрами, его люди курсами сельских механизаторов руководили. Теперь колхозы окажут помощь заводу.

— С продснабжением у нас в норме, не жалуемся, — сказал Глухов.

— Свыше трехсот молодых механизаторов дали согласие пойти работать на завод, тем более, что производство сельскохозяйственных машин отвечает полученным ими специальностям, — улыбаясь, объявил Нуралиев.

— Это дело! — просиял Глухов.

— Вот именно! — согласился Нуралиев. Сообщил доверительно: — На бюро меня тоже, как и вы вначале, упрекнули было за эмоциональность в решении о проводах и за отсутствие делового подхода к этому вопросу. Но эмоции — это не только продукт чувства, но и мысли. Почему у нас такое высокое чувство благодарности

к тем, кто уехал? Много сделали, многих выучили! Так? Так! Это эмоции. А мысли? Мысль простая и ясная. Ученики должны стать на место учителей, и быть достойны их, и доказать, чему они у рабочего класса завода научились. Отсюда наше обращение к молодым сельским механизаторам: завод — вам, вы — заводу.

— Камиль Нуралиевич! А я ведь каждый станок оплакивал, который в МТС давал, — чистосердечно признался Глухов. — А про кадры и говорить нечего — рыдал! Фронт требует, а мне еще хомут повесили — деревню обслуживать.

— Знаю! — сказал Нуралиев. — С кровью, с мясом отрывали. Нам, обкомовцам, стыдно было просить, и все же просили. Но главное — народ колхозный понимал, как заводу трудно, как фронту нужно оружие, но без хлеба, без хлопка тоже воевать нельзя.

Потер задумчиво лоб ладонью:

— Война исторически ускорила рост сознания общенационального единства всех советских народов как на фронте, так и в тылу. Наши люди породнились навечно советским строем. Но рост этого единства ускорился в войне, упрочился в войне, испытан в войне. И это историческая революционная победа в духовном мире людей, самая решающая победа. Поэтому проводы отъезжающих рабочих завода — это не просто долг вежливости, обычай.

Конечно, те товарищи правы, которые говорили, что с отъездом эвакуированных на заводе возникнут новые трудности с кадрами. Практически это так. И здесь я вас понимаю и разделяю ваше опасение. Но вот мы сказали уезжавшим все слова благодарности, какие они заслужили, поставив здесь своими руками завод, которого у нас никогда не было, вырастив в своем коллективе из наших людей мастеров рабочего класса, которых у нас не было, и мы вместе с ними здесь давали оружие для победы, а не только хлеб, хлопок, — такие слова и такие проводы отвечают чувствам и мыслям наших людей. Поэтому с такой готовностью пошла наша сельская молодежь на завод. Они не просто провожали, а пришли, как рабочая смена рабочей смене. Вот как я оцениваю эти проводы.

Сейчас вся проблема в том, чтобы оставшиеся товарищи помогли быстрее нашим молодым механизаторам овладеть новым для нас делом. А будет больше сельско-

хозяйственных машин, значит, будет больше сельских механизаторов.

— Машины мы должны в первую очередь дать освобожденным, разоренным после войны районам, — напомнил Глухов.

— Знаю! — сказал Нуралиев. — Именно об этом мы говорили в кишлаках, призывая молодежь на завод. Там, где сражались их отцы, как памятник, вечно живой, их подвигу, — машины, сделанные руками сыновей и дочерей, теперь посеют хлеб, взойдут нивы, вернется красота и сила земли. А на нашей земле еще работают те машины, которые были сделаны тем заводом, который теперь стоит здесь и давал оружие фронту, а сейчас снова будет строить машины. Диалектика, а? — улыбнулся Нуралиев.

— Диалектика! — согласился Глухов. — Но вот с жильем плоховато, клуб тесный. Бытовые учреждения сильно от потребностей отстают. Культобслуживание тоже. Стадион не достроен, фондов не хватило. А мне надо завод расширять. Оборудование износилось. Вообще трудностей хватает... Завком за горло взял — давай, а где взять?

— На местную казну целитесь! — усмехнулся Нуралиев.

— Так ведь сами же говорили: мы — вам, вы — нам. По-братски!

— С вами, хозяйственниками, не пофилософствуешь. Сразу на практику сворачиваете.

— Так уж жизнью обучены, — притворно скорбно вздохнул Глухов.

26

На завод прибыла группа военных специалистов-оруженцев во главе с генералом. И, как это всегда бывает, чем значительнее миссия, тем меньше говорят о ней. И тем большее волнение испытывал Алексей Сидорович Глухов, мечтательно предполагая, что, возможно, этот визит связан с тем, что завод будет возвращен на прежнюю стезю.

И он уже опасливо думал о том, чтобы это решение попозже дошло до обкома партии и он, Глухов, успел бы освоить и присвоить все то, что было выделено из местных ресурсов для нужд завода, почти все, что он

просил. Но если завод станет снова оборонным, то тогда он всецело перейдет на иждивение ведомства, которому будет строго подчинен, а при таких условиях обращаться непосредственно за помощью к местным руководителям более чем не рекомендуется.

Глухов уже прикидывал, как потактичнее и половчее исключить из своей информации ту помощь, которую он получил от обкома, с тем чтобы, перечисляя трудности, не забыть и те из них, о которых докладывал в обкоме, и при составлении нового бюджета получить средства, соответствующие нуждам завода.

И эти свои хитрые помыслы он оправдывал тем, что в конце концов завод, какому бы он ведомству ни принадлежал, чем мощнее и культурнее развернется, тем больше будет его отдача местным людям, потому что завод не только дает продукцию, но является высшей школой рабочего мастерства, университетом рабочего класса, при заводе уже существует техникум, а теперь следовало бы открыть филиал института.

Составив памятку планов и предложений, Глухов терпеливо ждал, когда выскажутся прибывшие военные, скрывая от них до поры свои мечтательные помыслы, чтобы они не подумали, будто он рад возвращению на прежний профиль, а, напротив, даже огорчен, расстроен, потому что без солидных новых капиталовложений невозможно перестроить уже полностью налаженное производство сельскохозяйственных машин, хотя оно до конца и не было еще налажено. Но ему надо будет доказать им, что оно налажено именно полностью.

И он очень был доволен тем, что военные согласились отдохнуть несколько деньков на берегу солончакового озера, где по требованию завкома были поставлены щитовые коттеджи, оборудована грязелечебница и где сейчас отдыхал, по требованию супруги, Игнатий Степанович Клочков.

Собственно, идея отдыха на берегу озера родилась после того, как генерал выразил желание повстречаться с Клочковым, и это подкрепило предположение Глухова о том, что завод будет возвращен к прежнему производству. Пока военные будут отсутствовать, он примет все меры для того, чтобы доказать им, что завод уже полностью освоил производство новой продукции, и, значит, переналадка его потребует значительных затрат.

Все эти дни Глухов не выходил из цехов. Бодрое, ра-

достное настроение директора заразительно передавалось людям. Тем более, что благодаря помощи обкома уже кое-что удалось сделать по благоустройству. Уточнить же, кто содействовал этому, Глухов почему-то не удосужился.

Кроме того, торжественные проводы уехавших как бы приподняли у оставшихся чувство своего достоинства, своей значительности и, главное, ответственности, потому что во всеуслышание первым секретарем Камилем Нуралиевым было сказано, что они здесь — носители братства советских народов и творцы этого братства. Пополняя ряды рабочего класса и выращивая людей рабочего класса из хлопкоробов, колхозников, содействовали этим самым новой сильной социальной структуре населения республики.

Хотя за обучение новичков рабочим, мастерам не по должности, а по тонкости овладения своей профессией причитались кое-какие деньги, они, не сговариваясь, основали из этих средств, отпущенных на персональное обучение, премиальный фонд лучшим ученикам. И обучающие ревниво, негласно соревновались, чей ученик окажется лучше, чтобы этим самым доказать превосходство постижения своего мастерства над другими мастерами, но уже руками своих учеников.

К удовольствию Глухова, в цехах более или менее все шло нормально, а там, где существовали узкие места, он поднажал на кого-то, пошумел, погрозил, расщедрился премиями, приказами с благодарностью. Машины, предназначенные к сдаче, приказал извлечь из-под навесов склада готовой продукции, расположенного вдоль железнодорожного пути, и выстроить их на заводском дворе для полной ясности.

27

Солончаковое озеро выглядело сказочно.

Ветви кустарника, погруженные в его воды, обросли солью и были, как кораллы; побережье озера, выстланное стеклянной скорлупой соли, блестело и переливалось многоцветно под лучами солнца, как бы отделанное алмазами, и вода его была розоватого оттенка, словно само солнце растворилось в нем.

Загорелый, тощий, долговязый, с головой, обвязанной полотенцем, как чалмой, сидя на циновке, по-восточному

скрестив ноги, Игнатий Степанович Клочков походил на факира.

Почти у самых его ног возлежал генерал, блаженно широко раскинув руки и ноги и плотно зажмурившись от лучей палящего солнца.

Внимательно оглядев мощную белотелую генеральскую фигуру, Клочков спросил:

— И не щипет?

— Кто?

— Вода.

— А почему?

— Уж очень вы основательно расписаны ранениями, кожа на шрамах должна быть особо чувствительна.

— Ничего, замозолились, — сказал генерал. Подрыгал ногой с укороченной ступней, сказал: — Только здесь маленько чувствительно. Но, говорят, полезно.

— Смотрите, спалитесь.

— Шкура на мне прочная, не облезет.

— Хоть голову прикройте.

— А на мне шевелюра лучше всякой шляпы.

— Здесь уток много. Вы не охотник?

— Не переношу вида крови, сразу тошнота, да и всего живого жалко.

— Для военного такая сентиментальность не очень, знаете ли.

— Ничего, пока войны нет, недостаток терпимый.

— А может быть?

— Что?

— Война.

— Так войны начинаются с чего обычно? Переоценивают свою мощь и недооценивают противостоящую.

— А если есть реальное превосходство?

— У кого?

— Ну вот в ядерном оружии?

— Если вы имеете в виду их, то еще надо иметь, чем его добросить.

— Авиацией?

— Дальний стратегический бомбардировщик — громоздкая штука. Если вы охотник, то поймете, — он пока, как гусь против ястреба: истребитель его сшибет и с земли огнестрельным достать можно. Как говорят хозяйственники, нерентабельно.

— Может, еще и шапкой сшибить можно? — иронически осведомился Клочков.

— Шапкой ударной волны от ракетной боеголовки — вполне.

Генерал сел и пристально поглядел в глаза Клочкова:

— А вы что, за сеялками и веялками свою последнюю систему совсем забросили?

— С сеялкой я, собственно, потерпел неудачу, — уклончиво ответил Клочков.

— Чего же так? Вы для нас бог-создатель, и вдруг такое творение не удалось!

— Из абстрактных решений исходил, аграрного опыта нет, ну и сфантазировал, как правильно кто-то сказал, беспочвенно!

— Бывает, — сказал генерал. Предложил: — Искупаемся?

Лежа в тугой воде, словно в гамаке, они колыхались рядом, зажмурив глаза, чтобы не попадала в них соль.

Генерал, не открывая глаз, сказал:

— Игнатий Степанович, а ведь я прибыл к вам как искуситель-соблазнитель.

— Что вы имеете в виду? — не раскрывая глаз, сонно и безразлично спросил Клочков.

— Да вот насчет гусей. Сегодня он пока гусь, а завтра может быть чем-нибудь более хищным и такое яйцо обронит, что на том месте жареной яичницы не останется — пепел.

— А говорили — гусь!

— Так все совершенствуется в природе. Бегали мы когда-то волосатые, на четвереньках. А теперь в вертикальном положении передвигаемся. Не хотелось бы снова на четвереньки становиться.

— Вы это к чему?

— А к тому, что был у человечества такой понедельник, после того, как в конце второй мировой войны прошел праздничный день — воскресенье, девятого мая. Понедельник, шестое августа 1945 года! Такую черную дату знаете? Так вот, в сей день, или, точней, в семь часов утра и девять минут этого дня самолет «страйт флаш», пилотируемый летчиком Клодом Эзерли, достиг японского города Хиросима. Ну а дальше вы сами знаете...

— Да, совершилось подлое преступление! — воскликнул Колчков, в волнении забыв, что он в воде, хотел встать и погрузился в воду.

Генерал вежливо подождал, пока Клочков отплевывался, отфыркивался, тер глаза, потом сказал насмешливо:

— В ответ на угрозу ядерной войны наше бесстрашное население бросилось запасаться спичками, мылом, солью, керосином — так сказать, есть у кого брать уроки реалистического оптимизма.

— То есть? — сердито спросил Клочков. — Что вы имеете в виду?

— Вас, — беспечно заявил генерал.

— А чем, по-вашему, я запасался? Тоже этим самым? Извините, но я не привык.

— Да вы не обижайтесь, — простодушно сказал генерал. — Системка-то ваша жить просится, а вы ее под сукно! А мы ее, хоть и в одном первичном экземпляре, еще на фронте возлюбили.

— Откуда вы ее знаете?

— Пулял, дозволили, — усмехнулся генерал. — Нужное, знаете ли, приспособление, весьма дальнобойное, разрушительное и устрашающее. Дым, пламя, как все равно извержение под ногами. Это у самой установки, а в конечном ее соприкосновении с целью — эффект бесподобный.

Клочков сказал, несколько польщенный, но все-таки сердито:

— Это весьма крупный ее недостаток — чрезмерная огневая вспышка при посыле и недостаточная точность в наведении. Но, по существу, это был только зародыш идеи.

— А в младенчика он не подрос?

— До некоторой степени.

— Познакомите, а? — жалобно попросил генерал.

— С кем, собственно?

— С младенчиком! Может, подрастим и вроде сына полка возьмем на армейский кошт.

— Это в каком смысле?

— В обыкновенном. Возглавите научно-исследовательское конструкторское бюро с полигончиком в отдаленной местности и воспитывайте, растите нам всем, армейским, на случай от всевозможных превратностей и всяких непрошеных залетных предметов в наше небесное пространство.

— А почему вы так странно со мной разговариваете? Я привык, знаете ли, к соответствующему уровню, когда говорят о предмете моих познаний в определенной области.

— Так ведь это я нарочно, — признался генерал, —

чтобы вы сразу поняли. С нашей стороны никакого вмешательства. Вам полный карт-бланш. Что хотите, как хотите, когда хотите. Мы только к вашим услугам.

— Из деликатности?

— Из хитрости, — сказал генерал. — Чтобы сразу стало ясно: мы вам — все, а вы нам, как получится. — Произнес с лукавинкой: — Кое-чем подходящим мы уже располагаем. Поспешать особо нечего. Но рыбка ищет, где глубже, а человек — где получше. А путь к совершенствованию безграничен. Так как? — спросил генерал.

— Что как?

— Значит, договорились?

— А почему вдруг такая стремительность и нетерпеливость?

— Так ведь командировочные идут, а загорать — я на курорте не загорал, и здесь тоже не пристанет. Только если из-за вас опалюсь, слезет шкура, соберу в конверт — и вам на память презент.

— Все-таки почему вы такой искромсанный? — спросил Клочков, не желая отвечать на прямо поставленный вопрос.

— А все по этому самому, из-за вас лично, — усмехнулся генерал. — Выпустили бы с самого начала войны свою штуковину серийно, а не под конец, был бы я парень весь целенький, гладенький.

— Ну уж, — сказал Клочков.

— Абсолютно так. Как новая усовершенствованная боевая техника приходит, мы сейчас санбатам команду — сворачивайте часть коек. Потерь будет значительно меньше, чем по прежней технике было подсчитано.

— Шутите!

— Шучу, но со смыслом, — сказал генерал. — В наших руках сильное оружие — это не только средство нанесения удара. Но сам факт его существования может предотвратить необходимость применения оружия, потому что предполагаемый противник не дурак, чтобы с шальной головой, не подумав, во что ему это обойдется, на нас кидаться. — Спросил развязно: — Понимэ? — Пояснил смущенно: — Это мой командир огневого взвода так любил выражаться, обучая обращению с сорокапяткой. Шлепнет по фашистскому танку снарядом, обернется, спрашивает: «Теперь понимэ?»

— Ну если ваш взводный при таких обстоятельствах подобным выражением пользовался, такой термин прини-

маю, — согласился уже было обидевшийся Клочков и добавил благосклонно: — А вы мне нравитесь живостью характера.

— Не столько от противника принимал страдания на фронте, сколько вот от такого характера, как вы ему диагноз поставили: сангвиник! Но ведь это лучше, чем холерик или меланхолик.

— Лучше! — твердо сказал Клочков. — Гораздо лучше! И я, позвольте вам сообщить, сам сангвиник и крайне несдержанный при некоторых обстоятельствах бываю... Холерик.

— Ну, чего там? Поладим, — проговорил генерал. — Лишь бы не меланхолик. Вот кого не люблю, так не люблю.

Вернулись на берег и, не обсыхая, не обтираясь, пошли под навес и сели за столик.

Потягивая кумыс, генерал сказал:

— Очень одобряю этот напиток — и полезный, и, если сильно им напузиться, — как сто грамм, фронтовая норма.

Склонился, доверительно спросил:

— А супругу вашу тоже надо агитировать? А то я для этой цели свою привез — она умеет.

— Позвольте, но еще нет моего окончательного решения.

— Значит, предварительное имеем. Все! Вполне удовлетворен, — сияя, генерал стал озираться, объявил: — Хотел бы тостик двинуть, коньячок прихватил. Может, сбегать?

— Нет уж, пожалуйста, кумысом! — попросил Клочков, хоть в этом не уступив настойчивой наступательной энергии генерала...

Вечером они вышли погулять при луне, и озеро серебристо светилось все, как расплавленная луна, от берега до берега. Генерал сказал поспешно:

— Природа — всегда красота.

И, не отрывая глаз от лица Клочкова, изменившимся сухим и отчетливым голосом точно, ясно стал докладывать об оборудовании научно-исследовательского конструкторского бюро, проявив такие тонкие и обширные технические познания, что в конце концов Клочков развел руками и спросил:

— А вы сами инженерным творчеством не занимаетесь?

— Ну что вы! — с какой-то даже досадой сказал гене-

рал. — В пределах обязательного ныне по должности и званию смыслю, а дальше ни-ни. Серое вещество лимитирует. Если повысят, дополнительно, что положено, одолею. Сейчас в армии такой уклон — в инженерию и высшую технику. Если демобилизуют, вполне можно и по гражданской линии начальником цеха или даже дальше продвинуться. В армии будущего, твердо считаю, без высшего образования даже младшим офицером не удержаться. И главный задел для будущего — знания. Чем полнее и совершеннее они будут, тем армия будет подготовленнее. Такой задел у нас и совершается. Нас не тронь, и мы не тронем. Лозунг самый надежный и устойчивый.

— Но ядерного оружия у нас пока нет.

— А кто его знает, кто над чем у нас работает? — усмехаясь, на известный мотив пропел генерал. — Мое дело, я вам доложил, преодолевать любые дальние расстояния в наикратчайшее время способами, и вами примененными в вашей установке, и иными, еще разрабатываемыми и уже опробованными довольно-таки эффектно. Так что арена для соревнования весьма широкая. Надеюсь, ваша фирма будет и на наивысшей высоте, и на наивысшей дальности.

— Скажите откровенно: вы сомневаетесь в устойчивости мира на земле?

— Отнюдь, — сказал генерал. — А мы-то с вами для чего? Для безопасности. На всякий пожарный случай. — Показал рукой на коттеджи. — Вон! Видали? Для чего-то огнетушители повесили, хоть и вода рядом. Вот и мы с вами должны их иметь в полном комплекте.

— Позвольте, а как же завод? Я же возглавляю конструкторское бюро.

— А со мной полковник Гарбузов прибыл, вооруженец. Раньше на Сельмаше конструктором работал. Скинет мундир, с вашего разрешения, и в партикулярном обличии приступит ко всему тому, что он на Сельмаше делал. Завод знаменитый. Высокая марка!

— Но, позвольте, Алексей Сидорович Глухов для моей установки специальный участок в инструментальном цехе выделил, и лучшие, изумительные мастера, с которыми я сюда прибыл, уже над ней работают. Как же так — сразу брошу?

— Ох этот Глухов! Как был оруженцем, так и прилип и отлипнуть не желает, — досадливо произнес генерал. —

Ну ладно, на месте осмотримся, поторгуемся с ним — может, кого из людей уступит.

— Но предприятие понесло уже определенные затраты.

— Ого, хорошо деньги считаете, — одобрил генерал. — А то ведь мы все какие? Любим, чтобы подешевле да получше. А вы, конструкторы, обычно денег не считаете — мол, это дело бухгалтера, давай, и все.

— Но если вы собираетесь лимитировать?.. — заторопился Клочков.

— Поторгуемся, — сказал генерал, — как цыгане. Вы миллион потребуете, мы — половину. Хоп-шлеп по ладошкам — и сладим.

— Миллион? Из каких же расчетов такая сумма слагается? — деловито осведомился Клочков.

— Ну, раз о деньгах заговорили, значит, окончательно договорились. Руку, — потребовал генерал.

Но Клочков не решался протянуть руку, сказал строго:

— Но все-таки вы еще раз расскажите мне подробно об оборудовании.

— Реестр привез, инвентарную опись. Кроме мебели, все записано! — объявил генерал самодовольно. — Человек без инструмента что может? Ничего. С инструмента и человек начался. Так в антропологии, по слухам, написано.

Генерал всю ночь не мог уснуть от ломоты в переломах, от зуда в рубцах и швах. Одевшись, он вышел к озеру и, прихрамывая на укороченную ступню, побрел по тропинке, кольцевавшей озеро. Глаза его запали от боли, от сановитой стати и выправки не осталось и следа. Он брел, спотыкаясь, ссутулясь, кряхтя и поеживаясь.

Потом он сел на бревно, густо присыпанное соленой чешуей, и стал покорно и печально глядеть на озеро. Часть его окрасилась розоватой полоской рассвета, другая, еще голубая, в звездах, лежала, как кусок светящегося ночного неба. На отмелях бродили цапли, нырки, и в отдалении величаво плыла лебединая пара, словно белые паруса, движимые ветром. Лебеди бесстрашно приблизились и, заплетаясь шеями, стали оглаживать друг друга клювами, желто-розоватыми, словно слепленными из воска.

Глядя на них, генерал заулыбался, поцокал губами.

Лебеди вскинули тревожно шеи, прислушались, потом стали снова нежно прибирать друг друга, оглаживая друг

другу оперение. И, прерывая это занятие, оглядывали себя, словно любуясь собой и друг другом. И пушинки, падающие с них, плавали на воде, словно крохотные, малюсенькие лебедята.

И хотя стояли тишина, безмолвие, в движении этой лебединой пары генерал увидел музыку. Пришла она зрительно и потом возникла в нем самом.

Но, поскольку генерал считал себя чуждым всякой сентиментальности, он тряхнул головой и сказал вслух, удивленно:

— Вот, поди ж ты, мерещится! Как все равно ненормальный!

И музыка исчезла. И тут генерал вспомнил другого генерала, которого он знал генералом, когда сам был только комбатом. И тот генерал как-то сказал ему:

— Музыка возвышает человека. Формирует его эмоциональную культуру, делает тоньше, восприимчивей.

На что генерал, будучи тогда комбатом, бодро ответил:

— Так точно. Но я больше люблю, когда дивизионная артиллерия своим огнем мой батальон сопровождает. Лучше такого оркестра нет. — И спросил: — Могу рассчитывать завтра на такую музыку?

Генерал упрекнул его:

— Не надо ничем бравировать в жизни. Война может ожесточить, но не оглупить. А ни то, ни другое к нам не применимо.

...А сейчас нате вам! В безмолвной тишине, в мерном движении лебедей сначала увидел, а потому услышал музыку. Такого от себя генерал не ожидал. И даже потрогал ладонью лоб, не поднялась ли температура, что обычно сопровождало его недомогание, когда он пренебрегал своим здоровьем, как пренебрег сегодня.

Он сидел на обсоленном бревне и смотрел то на небо, истекающее светом, то себе на грудь под распахнутой пижамой, где виднелся сизый рубец с нежными точечками швов. Когда он получил эту осколочную рану, она была глубокой, страшной. И он подумал, какое здесь солнце, подобное своей яркостью гигантской операционной лампе, и вспомнил хирурга Ивана Яковлевича, который, ткнув пальцем ему в пупок, спросил:

— Это пулевая скважина, или так всегда было? — Потом заявил, словно обижаясь: — Вы не обязаны смеяться каждой моей остроте. Но даже не улыбаться? Простите, но это хамство.

И в этот момент что-то холодное, твердое коснулось его в глубине раны. Он вздохнул, чтобы обругать хирурга за боль, вздохнул через марлевую маску и очнулся, снова увидел склоненное лицо Ивана Яковлевича, который говорил ему насмешливо:

— Привет Лазарю! — Потом произнес на ухо: — У вас сверхъестественно красивая супруга, а вы все под огонь лезете. Я обещал ей ничего лишнего у вас не удалять. Но предупреждаю последний раз. — Заметил деловито: — Кстати, вы третий раз на стол ко мне лезете. Таким образом, выходит, выражаете свою привязанность ко мне?

И, говоря все это, быстрыми, прыткими пальцами ощупывал ему шейные позвонки, спину, голову... И видно было, как Иван Яковлевич утомлен. Под ввалившимися глазами темные пятна, словно тени от черных очков. Но стекла в его очках были нормальные — светлые.

И он, оглядывая его тело, говорил, как всегда иронически, задиристо:

— В человеческом организме всего-навсего содержится три-пять граммов железа. Но для солидности, для возможного, как и у меня, генеральского чина я вам оставил кое-что для служебного веса — зарастет тканью, беспокойства не будет, просто сувениры для памяти.

И он, генерал, никогда не чувствовал в себе этих осколков. И только видел их на рентгеновских снимках, присланных ему однажды от Ивана Яковлевича с шутливой надписью: «Если вам такая начинка не нравится, заходите, возьму обратно и без очереди. Ваш И. Я.»

Иван Яковлевич умер от инфаркта после того, как он оперировал летчика-испытателя в течение пяти часов, борясь за его жизнь, собирая, сшивая разломанное, разорванное его тело.

Он вышел из операционной, шатаясь, бессильно опустился на стул. Спросил сестру:

— Вы видели фильм ужасов, как сумасшедший хирург создает из мертвых кусков трупа живого человека? Нет? Так вот сегодня это сделал я! — Слабо вздохнул, охнул с виноватой улыбкой и сполз на изразцовые плитки пола предоперационной...

Но воскресить Ивана Яковлевича, как он воскресил летчика, уже никто не мог.

Окончание следует



Тамара ВОЛЖИНА

НИЧЕГО, ЧТО ХАТА С КРАЮ...

Поле сжатое кругом.
А вдали, за полем — дом.
Дом — на краешке села.
В этом доме я росла.
Я росла. Ходила в поле
По колючей по стерне.
Полюбила я до боли
Все в родимой стороне:
Грохот грузного комбайна,
Тяжесть сытного зерна,
Лемехов блестящих тайну...
Я любви своей верна.
На лужайке обнимаю
Золотистую траву...
Наша хата, верно, с краю.
Да не с краю я живу.
Я за это вот родное
Подмосковное село
Проходила полем с боем.
Время след боев смело...
Засеваю, убираю
Землю милую свою.
Ничего, что хата — с краю.
Лишь бы я — не на краю!

* * *

Все время настигает нас
Наш молодой,
Наш сорок третий,

И мы в землянке на рассвете
Не сводим покрасневших глаз
С кастрюльки,
Где кипит картошка...
Еще совсем-совсем немножко —
Начнется новая бомбежка
И кто-то не придет из нас...

Все время настигает нас
Наш молодой,
Наш сорок третий...
По плоскости промчится трепет,
Когда ты дашь предельный газ...
На старт!
И ввысь ушла машина...
Глаза ли нам запорошило,
Иль вправду солнца свет погас?..

Был на земле,
Как пламя, светел
Победы день, победы ветер!
Зачем же рыться нам в золе?..
Но ходит, ходит по земле,
За нами ходит
Сорок третий!..

❂



Софья **ПЕТРЕНКО**

В СМОЛЕНСКОМ ЛЕСУ

Партизанский блиндаж,
Обвалились гнилые стропила,
И печурка торчит,
Как заржавленный древний шелом.
Под высокой сосной
Одинокая чья-то могила,
Это все от войны,
Это все говорит о былом.

Его время заносит,
Этот лагерь,
Навеки затихший.
Только старая правда,
Суровая правда живет.
Ветерок над окопом сухую осоку колышет.
Черный сломленный сук,
Как нацеленный пулемет.

СКОРОСТИ

Поезд мчится,
поезд мчится,
поезд мчится,
Окна, словно кадры кинохроники.
Чьи-то взгляды,
чьи-то губы,
чьи-то лица,
Чьи-то садики и маленькие домики...

Лайнер плавно отрывается от взлетной,
И маршрут его сквозь ветры — напрямик.
Расстелил под ним зеленые полотна
Плоский,
как на карте, материк...

Скорость,
скорость
нарастает ошалело.
Ну, а мне бы вот
Суметь остановиться,
Мне ни капельки глядеть не надоело
В это небо,
в это море,
в эти лица.





Рис. В. БЫЛИНКИНА

Сергей БАРУЗДИН

СВЕТКА, АЛЕШКА И МАМА

РАССКАЗ

ОНИ всю жизнь спорят. Так уж повелось с детства, как Алешка себя помнит. Пусть Светка старшая сестра, все равно она многого не понимает. И вообще она задавака, хотя и замуж вышла!

Вот взять хотя бы озимые и снегопад этот.

Снегопад был страшный, поразительный. Такого никогда прежде не было.

Снег несло с моря огромными хлопьями, несло по горизонтали, а вовсе не по вертикали или под углом, когда бывает обычный снег, даже сильный. Ветер с моря нес его на сушу, и снег не успевал лечь на крыши домов, на сады, на рыболовецкие снасти...

А она говорит:

— Ну и что? Почему ты считаешь, что такого не было?

— А потому, — говорит Алешка, — что ты...

— Что я?

— Ну... в общем... Вот пойдем сейчас, я тебе покажу... Пойдем, Свет!

Алешка становится почти ласковым. Тон его просительный. А это не часто бывает.

Светка не понимает, зачем ей надо куда-то идти по такой дурной погоде.

— А что ты мне покажешь? — спрашивает Светка.

— Озимые, — говорит Алешка.

— А-а, озимые! И что же с ними?

— А про рыбу что ты знаешь?

Светка молчит.

Алешке хочется объяснить, что такое озимые. Они — это хлеб, они не рыба, которая идет в сети или не идет...

— С ними-то ничего, а вот посмотри, пойдем...

Светка согласилась.

И Алешка был счастлив, что она пошла с ним по его просьбе, хотя и ничего она толком не понимает, а ему нужно, просто необходимо ей все объяснить.

В конце концов не дурака он валяет, а на самом деле знает то, чего не знает она. И про рыбу, и про озимые, и про колхоз, и про скот. А то, что он младший брат, не его вина...

— Вот ты говоришь, — сказал он, когда они вышли из поселка к полям. — Посмотри, Свет! Ну посмотри! Ты говоришь, что снег такой бывает. А туда посмотри! Всюду снег, правда?

— Ну и что? — сказала Светка.

— Как что! — возмутился Алешка. — Ты посмотри, почему там снег есть, а там, слева, его уже нет? А-а! Вот и не знаешь!

— Подумаешь! А что тут знать?

— Как что? А то, что тут вот озимые! Они и сейчас живут, растут, а там — бурьян, просто поле дикое. Оно на зиму замерзло. И никакого тепла в нем нет, если хочешь знать. Вот так! А ты говоришь!

— Ты просто хвастун, Алешка! Хвастун, и все!

Светка пытается что-то сказать Алешке еще, чтоб поразить его, быть на высоте, и вдруг вспоминает:

— А вот скажи мне, что такое трансплантация органов? Знаешь?

— Конечно, знаю! — Алешка даже удивлен. — Ты ж сама мне говорила! Это когда почку или там еще что-нибудь пересаживают с места на место. Перевозят! Транспорт — трансплантация! Что, неверно?

— И все равно, — говорит Светка. — Не перечь мне. Я в конце концов твоя старшая сестра!..

— И все равно, — перебивает ее Алешка, — ты оторвалась от жизни. В медицину пошла, а колхоз забыла. И про озимые ничего не знаешь, хотя в школе вас учили. И про рыбаков. А вот мама говорит... И вчера — приехала? Приехала. А когда сейнера с моря пришли, не пошла встречать. Устала? Да? А все ходили, как всегда. И мы с мамой ходили, пока ты спала...

Они спорят и спорят. И год назад спорили, и два года назад, и раньше, сколько Алешка себя помнит.

* * *

Где-то у Алешки есть воспоминание. Он только родился, а рядом с мамой, рядом с папой уже была сестра... Папа пришел с промысла. Мама встречала его. От них пахло морем и рыбой. Конечно, тогда Светка была почти как он сейчас, но, в общем, не то, что мама и папа. Просто девчонка с пионерским галстуком...

Чуть он подрос, сразу они начали спорить.

Алешке, конечно, обидно, что Светка всю жизнь, споря с ним, подчеркивает, что она старшая. Подумаешь, ей больше на одиннадцать лет! Ну и что? Родились в разное время! Конечно, чуть завидно, что Светка родилась раньше. Тогда война была и все не так, как сейчас, когда просто школа и отметки. Тогда и папа был.

Папы нет уже больше года. Алешка давно уже сам выгоняет корову и коз в стадо, и Светка здесь ни при чем. Может, когда-то и выгоняла. Но уехала в институт, в город, и давно уже только приезжает сюда словно в гости. Но он рад ей. Сказать, чтобы скучал, нет. Школа, и дома много забот. Но когда она приезжает, он радуется, как маленький, а потом они спорят, и ругаются друг с другом, и объясняются — долго объясняются...

И потом вот — ее Сережа. Хороший парень! С ним интересно...

* * *

Почему у них так в семье получилось — одиннадцать лет разницы между Светкой и Алешкой?

Мать, Вера Ивановна, никогда ничего не объясняла, только часто повторяла:

— Война была, а потом — после войны...

Отец, конечно, мог бы что-то объяснить, но его нет.

Алешка вспоминает его похороны. И еще слова матери:

— Поехал тушить, там все и случилось... На сейнере! Светка говорит:

— Бывает, что тут скажешь? Беда!

— Ты мне говори, говори, ты ведь ничего не видела, — мрачно подхватывает Алешка. — Ты на похороны приехала... А раньше?

— А ты?

— Что я? Я видел все. Мама не пускала, а я все видел:

и как обгорели они все, и как... Только папу я тогда не мог узнать.

Светка молчит.

Алешка тоже молчит. Ему очень хочется восстать против Светки, сказать ей даже какие-то грубые слова, и он думает:

«Эх ты! О папе говорим... А ты в медицинском и все знаешь. Операции, покойники, привыкла ты ко всему... А тогда не только папа погиб, а еще радист и моторист. Помнишь? Их вместе с папой хоронили, обгорелых. Гробы закрытые были, а потом их открыли. Мама не просила, а другие женщины потребовали. И открыли. И мы с мамой не могли понять, где папа... А тебя не было. Ты ведь только на кладбище успела, а там... Там так хорошо говорили о папе и обо всех. И о том, что они спасли сейнер... А вчера этот сейнер с другими вернулся. И весь колхоз встречал рыбаков. А сейнер этот особый, и потому встречали его особо. И жены, и дети тех — радиста и моториста, и мы с мамой встречали. Улов хороший. Рыбы много. И сейнер давно уже отремонтирован и покрашен — красивый сейнер. Как будто на нем ничего и не было».

Алешка молчит. Не знает почему, но молчит. Не хочется ему обижать Светку? Наверное, так.

— Понимаешь, — вдруг говорит Светка, — я вчера... Конечно, вчера я должна была пойти, но я не думала, что там будет и папин сейнер...

— А Сережа не приедет? — спрашивает Алешка.

— Сережа не может, никак сейчас не может! — оживляется Светка. — У него диплом, понимаешь? Нет, ты, конечно, не понимаешь. А летом он на целину ездил. Даже медаль получил...

— А что ж не показал? Сколько раз приезжал и ни разу не показал...

— Ну вот, знаешь что, будешь взрослым — поймешь, — говорит Светка, переходя на обычный тон. — Скромность украшает человека! И я, например, сказала Сереже...

* * *

Алешке — четырнадцать.

А Светке? Выходит, Светке — двадцать пять. Почти. В декабре, шестого числа, будет двадцать пять.

«Математика! Скорей арифметика», — думает Алешка. И еще:

«Точно! Шестого декабря Светке двадцать пять. Надо

не забыть рисунок ей нарисовать. И чтоб там было что-то о ней и о Сереже. О ее Сереже обязательно. Муж как-никак! Хорошо, что Светка сейчас сказала про Сережину медаль. Эту медаль как-то надо тоже нарисовать. Но как она выглядит? Где найти ее?.. Светка должна быть на рисунке. Это ясно. Рисунок ведь для нее. Рядом Сережа. Но как изобразить медаль?»

Вспомнив, Алешка побежал к дяде Феде, шоферу. Ведь он каждый год ездит на целину. Он знает.

Дядя Федя живет совсем один. Семьи у него почему-то нет.

— Дядь Федь! А какие медали вам дают за целину?

Дядя Федя — отличный человек. Иногда он заходит к ним домой, когда не в рейсе. И Алешку он любит давно, о чем Алешка знает, и вообще дядя Федя — это дядя Федя. Не так уж много таких, как он. К маме он очень хорошо относится. И тогда на кладбище, когда хоронили папу, он был все время с мамой и не давал ей плакать...

— Медали разные бывают, Алешенька, — сказал дядя Федя. — А вот за целину? Это медаль «За освоение целинных земель». Хочешь, покажу?

— Покажите, пожалуйста...

Дядя Федя показал.

Красивая медаль, как и все. Значит, и у Светкиного Сережи такая же.

— И вот еще одна, — сказал дядя Федя. — Ленинская, юбилейная. Вот и все мои награды. Видел?

У Алешки было такое чувство, что дядя Федя хочет ему что-то сказать, пожаловаться...

— Не видел, — сказал Алешка. — А что?

И он заторопился.

Дядя Федя смутился. Вроде бы не знал, что делать.

Алешка уже уходил, когда дядя Федя сказал:

— А Веру Ивановну, маму свою, ты поздравил? Мы всем колхозом поздравляли...

Алешка удивился:

— С чем? С планом?

— И с планом, само собой, и с орденом! По итогам восьмой пятилетки!

Про орден Алешка ничего не знал. Светки еще не было, когда три дня назад мама ездила на какое-то собрание в город, и вернулась поздно, и была очень довольна, что он приготовил ей еду и все прибрал...

Значит, не только у Сережи медаль, но и у мамы орден?

* * *

Вот тут-то он и поймал Светку!

— А ты знаешь? Знаешь? — спросил он.

Мама была на работе. Принимали вчерашнюю рыбу.

— Подожди, а что я должна знать? — спросила Светка и сразу же добавила: — Только не спорь со мной, пожалуйста! Не бросайся! Я — старшая...

— Я про Сережу только что узнал, а ты?! Ты даже про маму не знаешь!..

* * *

Светка уехала из колхоза давно. Совсем давно, когда почему-то решила, что медицина без нее не проживет. Врачом решила стать. Врачом, когда никаким еще врачом быть не могла.

Алешка ходил тогда в детский сад, а Светка в школу, в девятый класс. Но школа здешняя Светку не устраивала, хотя всех устраивала и устраивает. И для Алешки даже сейчас, в восьмом, школа — это школа. Нужно так нужно!

Светка же тогда почему-то сказала, что ей нужна школа с медицинским уклоном, и такая школа есть в городе, и она поедет в город. И уехала. Это было давно. Очень давно, как помнит Алешка. Мама и папа были тогда. Вместе.

Мама плакала, отговаривала Светку. Папа молчал. И Алешка молчал. Хочет — так хочет. Пусть. Потом жалел, когда Светка уехала в город. Скучно стало без Светки. Иногда даже очень скучно — без споров с ней и всяких баталий.

Школу Светка давно кончила, а Алешке еще страдать и страдать. После школы работала где-то в больнице, потом в институт поступила.

С тех пор сколько времени прошло!

Алешке, если признаться по-честному, сейчас еще больше грустно без Светки, чем раньше, когда она только что уехала. Одно и то же: корова, козы, дела по дому. Школа, наконец! Не последнее дело! Раньше он всего этого не замечал...

И как-то все просто было, когда Светка жила здесь. Мальчишки из ее класса приходили к ним домой, и Алешка играл с ними. Мама ругалась, а он играл. Позже и другие, чужие ребята бывали у них дома. То уроки делали

со Светкой, то с ним играли. Возились ох как! Эти из города приезжали...

И среди них — Сережа. Он и с Алешкой играл, и маме помогал — в магазин сбегать или что-нибудь в городе купить. Они очень подружились. Даже на «ты» перешли. Но это, правда, не сразу. Сережа со Светкой приезжали по субботам и иногда оставались ночевать, и тогда воскресенья были самыми счастливыми для Алешки днями. Светка — само собой, а тут еще и Сережа...

* * *

В позапрошлом году Светка с Сережей поженились. Сначала они приехали домой, а потом все и Алешка с ними поехали в город и были там, где их поженили.

Была музыка, на Светке красивое платье, много народу, но больше всего Алешку волновал Сережа.

«Неужели теперь он не будет со мной играть?» — думал Алешка.

Мама плакала. Но плакала хорошо и тоже была очень красивая — в новом платье и белом платке на плечах, которого у нее никогда раньше не было...

Светка даже тут задиралась перед Алешкой, острила, шпыняла его, но он не поддавался.

— Поженилась! — говорил он. — А-а? Ну и пусть тебе будет хуже!

И добавил, когда она ему что-то ответила:

— Мы, например, с Сережей все равно друзья. Скажешь, нет?

И после женитьбы, когда Светка с Сережей приезжали из города, а иногда Сережа приезжал и один, если Светка была занята, они всегда играли и возились на полу, как маленькие, и устраивали состязания игрушечных машин и почти настоящую войну со знаменосцами и солдатами, а потом занимались математикой, и физикой, и химией. По этим предметам у Алешки как раз дела печальны. До шестого класса еще было как-то ничего и в седьмом. А вот в восьмом...

Сережа все знает. И самый сложный пример, самая трудная задача оказываются простыми, когда Сережа рядом.

Но и Светка и Сережа приезжают все реже. Мама волнуется. Алешка понимает это. И ему грустно, хотя день заполнен с утра до вечера, и есть ребята, и скучать вроде некогда.

* * *

Сейчас хотя бы Светка дома. Пусть они про озимые поспорили, про снег и про эту трансплантацию органов, в которой он, конечно, понимает меньше, чем в математике и физике с химией. Жаль, что Сережа не приехал. Но раз диплом — это важно.

Вернувшись от дяди Феди, Алешка спросил:

— Свет, а диплом у Сережи скоро?

— Весной, как обычно, — ответила Светка. — На будущий год, весной.

Алешка явно огорчился:

— Только на будущий год! Ну и сказала! Тогда почему же он сейчас не приехал?

— Ничего ты, Алехин, не понимаешь! Взрослый парень, а ничего не понимаешь! Эх ты! — принялась за свое Светка.

И тогда Алешка взорвался:

— А ты? А ты? Ты понимаешь? Говоришь: «медаль Сережина!» Говоришь? А маму ты с орденом поздравила? Забыла? Я ж тебе говорил!

— С каким орденом? — удивилась Светка. — Ты ничего не говорил...

— А вот с таким, важным... По итогам восьмой пятилетки!

Алешка был совсем спокоен. Одно его тревожило: он ведь и сам еще не поздравил маму с орденом.

И потому, хотя Светка все еще что-то говорила, он пошел к себе и нарисовал: свечку красную, рыбацкий сейнер, гнома и ворота с фонариком.

От Светки рисунок спрятал, да она и не интересовалась.

А потом они опять поспорили и уже устали спорить, когда Алешка предложил:

— Свет, давай что-нибудь придумаем, пока мамы нет. Ну, приготовим что, а? Ведь орден — это праздник, правда? И у Сережи — медаль! Нет его, жалко...

* * *

Было еще светло, когда стол накрыли. Вместе бегали в магазин. Вместе все купили. У Светки, оказывается, есть деньги. И не только те, которые мама дает. Стипендия.

Светка очень устала.

— Я полежу чуть-чуть, Алехин, ладно? — сказала она, и Алешка не узнал ее.

— Давай лежи, — разрешил он. — А вообще-то ты растолстела, вот и устала. Спортом надо заниматься! Понимаешь? И мама сейчас придет!..

— Понимаю, — сказала Светка, — а мама придет, я встану и буду молодцом. Хорошо?

Мама пришла вскоре и почему-то не одна, а с дядей Федей:

— Вы не сердитесь, что мы с Федором Иванычем? Подумали, день сегодня такой...

И она похвалила их, Светку и Алешку, что они сами все придумали, и купили, и накрыли стол...

Алешка был рад, что пришел дядя Федя. Все-таки мужчина, и человек хороший, и с ним легко.

— Сегодня такой день, — говорила мама. — Не грех и за столом посидеть, отметить...

И Алешка понимал, что, конечно, мама права. Она получила орден. И сейчас он вручит ей подарок — рисунок.

Но когда они сели за стол и Алешка все думал: вот сейчас достать рисунок и отдать маме или позже? — мама вдруг сказала:

— Алешу нашего сегодня приняли в комсомол. Я учительницу встретила. Обидно, конечно, что мне он ничего не сказал. Но, может, и хорошо? Сам решил. Сам вступил. Хорошо! Вот у нас сегодня и праздник.

Светка растерялась. Алешка еще больше. Подумал: «Ну и что?»

Старшая сестра бросилась поздравлять Алешку.

Младший брат оправдывался:

— А я что, Свет? А почему я должен? Я, правда, сам...

Потом он осмелел и опять стал нападать на Светку:

— Когда ты с Сережей поженилась, ты ж со мной не советовалась.

Светка что-то отвечала.

— А Сережи нет сейчас, нет! — огорченно говорил Алешка.

Ему очень хотелось, чтоб Сережа был сейчас здесь, — они спрятались бы от всех, поиграли, поговорили бы, а потом в конце концов и задачи порешали — по математике, физике, химии. Сережа все понимает...

Вспомнили про маму. Поздравили ее с орденом. А мама вспомнила про Сережу. И сказала про его медаль. А потом опять про Алешкин комсомол.

Дядя Федя говорил меньше всех.

Светка и Алешка о чем-то спорили, но Светка быстро устала, сказала:

— Мам, я пойду. Ладно?

И пошла в соседнюю комнату, и легла.

Мама ходила к ней, вернулась, и они еще сидели втроем — мама, дядя Федя и Алешка. Только тут Алешка вспомнил про рисунок и отдал его маме.

Дяде Феде и маме рисунок очень понравился. Свечка красная, рыбацкий сейнер, гном и ворота с фонариком.

— Отца не забывает, — сказал дядя Федя. — И вообще...

А сейнер Алешка и правда рисовал ради папы. И хорошо, что дядя Федя понял, угадал...

* * *

После этого Светка долго не приезжала. Зато часто приезжал Сережа, и они играли с Алешкой, занимались по математике, физике и химии.

Мама тоже ездила в город. Всегда передавала от Светки приветы.

Очень часто заходил дядя Федя. Это отлично. Они подолгу разговаривали с Алешкой о жизни — о рыбацких делах, о школе, о дальних рейсах, о маме и о Светке, об отце и о Светкином Сереже, о дипломе его, и оказалось, что дядя Федя все знал про них... И за коровой, за козами помогал ухаживать, когда мама была в городе, и они часто оставались с Алешкой вдвоем.

* * *

Это было уже в декабре. После Светкиного дня рождения. Светка не приезжала. Алешка послал ей рисунок. Не такой, как маме. Вроде интересней.

Вчера Сережа вместе с мамой собрались уезжать в город, и пришел дядя Федя, чему Алешка был очень рад.

Прощаясь с Сережей и мамой, Алешка, конечно, не мог не сказать:

— Светке привет, но вот... Чего это она не приезжает? Могла бы! У Сережи диплом, и то он все время здесь, а Светка?..

Он скучал по Светке. И сердился на нее. Когда приезжала, все больше ложилась отдохнуть. Тоже медицина! А вот уже три недели ее нет! Подумаешь, институт! А что, школа легче? И вообще она...

* * *

Их не было целую неделю. Дядя Федя приходил, они вместе ели. Правда, в эту неделю вышел у него рейс на три дня в Харьков, но потом он вернулся, обветренный, пахнущий бензином, и первым делом спросил:

— От Веры Иванны ничего не слышно, от мамы? И от Светланы?

— Нет, ничего, — ответил Алешка.

— Странно, — сказал дядя Федя, — а вроде бы уже пора...

До ночи так никто и не вернулся. Дядя Федя остался ночевать вместе с Алешкой. Всю ночь, ну не всю, ясно, а почти до утра они проговорили. Дядя Федя рассказывал про новые машины, которые получил сейчас колхоз, и про то, как он ездит в рейсы, и что это так же интересно, как уходить в море за рыбой...

И вдруг они приехали. Приехали утром на машине, когда дядя Федя уже ушел на работу: у него опять рейс.

Приехали и привезли что-то завернутое в одеяло, и стали все хвалиться перед Алешкой, как все произошло, а Светка даже не спорила, а поцеловала Алешку и сказала:

— Вот тебе племянник! Смотри, какая лапочка! Такой славный, правда?

Алешка заглянул в одеяло, увидел сморщенную мордашку какого-то человечка и вдруг с грустью подумал, что теперь Светке и Сереже будет совсем не до него, раз есть этот маленький человечек.

— А дядя Федя не приходил?

Мама, счастливая, как и Светка, как и Сережа, сейчас, спросив о дяде Феде, стала более румяной.

— Он в рейсе, — ответил Алешка. — А так все время приходил...

— Ну и хорошо, что его нет, — сказала мама.

Светка и Сережа, а с ними и мама возились над одеялом, что-то говорили, пеленали ребенка и восторгались его красотой.

— Он тебе нравится? — Светка подскочила к Алешке и опять поцеловала его.

— Конечно, — сказал Алешка.

А сам подумал о дяде Феде. Дядя Федя вечером вернется из рейса и придет к ним. А рейсы у него не менее интересные, чем в море за рыбой. Конечно, он придет после рейса.

— Мам! — сказал Алешка.

— Что, сынок? — спросила Вера Ивановна.

— Ты бы это...

Алешка не знал, как сказать.

Наконец решился:

— У Светки Сережа есть, да?

— Конечно, есть, — ответила Вера Ивановна, — а теперь не только Сережа, а вот и малыш, твой племянник...

— А я хочу, — окончательно решился Алешка, — хочу, чтоб дядя Федя у тебя был.

Светка все услышала, повернулась к ним:

— Правда, мама! Выходи за дядю Федю. Он, конечно, не совсем...

Тут уж Алешка вступился. И опять между ними начался спор. Светка спорила, забыв сына в одеяле. Алешка спорил, даже не заметив, как мама ушла к малышу.

Они спорили о дяде Феде, и про озимые не забыли, и тот давнишний снегопад вспомнили, а потом поспорили, как назвать малыша, маленького человечка в одеяле, который появился в их доме, и уж тут началась настоящая словесная схватка...

Вера Ивановна качала внука. В соседней комнате.

«Тише! Он спит!» — хотела сказать она. — Но промолчала.

«Завтра, — решила. — Объясню им завтра и про дядю Федю, и про все. Только подумать надо, как объяснить лучше. Что не люблю его? Нет, он хороший. Что отца их больше любила и забыть не могу? Пусть сами отца не забывают. Так и скажу, что не могу выйти замуж, раз любви нет. И что про любовь настоящую никто не знает...»

А Светка с Алешкой продолжали спорить. Долго спорили. Пока силы не иссякли.

И тут Алешка невзначай вспомнил:

— Мы с тобой тут спорим, а мама где?





Евдокия ОЛЬШАНСКАЯ

* * *

Лес зима обволокла
Снежной бахромой...
Спросит он:
— Куда пришла? —
Я скажу:
— Домой!

И, ответ услышав мой,
Вспыхнув серебром,
Спросит:
— С чем пришла домой? —
Я скажу:
— С добром!

Тут, нисколько не сердит,
Отбивая такт,
Пестрый дятел подтвердит
Весело:
— Так-так!

Скажет лес:
— Я рад вполне:
Душу отогрей! —
И пошлет навстречу мне
Стайку снегирей.

* * *

Ни прежнего сада, ни старого дома —
Высокие здания в блеске стекла...
А эта акация все же знакома:

Она ведь
на улице Детства росла.

Все те же зарубки и старые складки
Сейчас на коре этой четко видны...
Как были цветы ее пряные сладки —
Особенно после недавней войны.

Нехитрое лакомство, взрослым на зависть,
Дарила она детворе, и тогда
Уже почему-то мне старой казалась.
(А мама была еще так молода!)

Акация снова надела сережки,
Как будто бы вовсе не мерзла зимой...
Я здесь постою, подожду хоть немножко:
А вдруг
позовет меня мама домой?..

*



А. ЛЕВИН

УСТРЕМЛЕННОСТЬ В БУДУЩЕЕ

В ноябре прошлого года в Москве состоялась Всемирная встреча трудящейся молодежи. Она привлекла к себе огромное внимание со стороны различных прогрессивных молодежных организаций мира. Когда в 1970 году на VIII ассамблее Всемирной федерации демократической молодежи делегация Ленинского комсомола и советских молодежных организаций выступила с инициативой проведения такого форума, это предложение было одобрено не только Исполкомом ВФДМ и ее членскими организациями, но и объединениями трудящейся молодежи, не входящими в состав федерации. Наряду с братскими коммунистическими союзами молодежи приехать на встречу выразили пожелание представители социалистических, социал-демократических, демохристианских и католических течений.

Миллионы людей на земле объединяет труд — естественная потребность человека.

Труд приносит радость, если он свободен, но становится тяжким бременем, если он подневольный. Сделать его свободным, навсегда уничтожить эксплуатацию, как она уничтожена в странах социализма, — вот цель, которую ставит перед собой прогрессивная юность мира. Чтобы добиться этой цели, нужно объединение усилий молодежи всех стран. И одним из шагов к объединению и выработке единого плана борьбы за свои права был для молодежи московский форум. На нем шел пристрастный и заинтересованный разговор о положении молодых трудящихся в обществе, о проблемах их борьбы за социально-экономические права и свободы, за международную безопасность и мир, за счастье народов.

Участие в дискуссии людей с самыми различными политическими взглядами и убеждениями, широкий представительный характер форума (на нем присут-

ствовали делегаты от 271 национальной молодежной организации из 115 стран и от 15 международных и региональных организаций), а также итоги и выводы, сделанные в ходе работы, ярко свидетельствуют о том, что прогрессивная и в первую очередь трудящаяся молодежь становится весомой силой в борьбе народов против сил войны и реакции, за коренные социально-экономические преобразования в изжившем себя капиталистическом обществе.

Молодежь ныне стоит в первых рядах антиимпериалистической борьбы, вносит активный вклад в дело укрепления солидарности народов, которые борются за свою независимость, демократию, прогресс и мир.

Растущая политическая сознательность молодежи находит свое выражение в поисках ответов на острые проблемы современности, эффективных средств борьбы против социальной несправедливости, путей к прогрессу. Все это объективно выдвигает на повестку дня вопрос о единстве действий, о координации усилий в общей борьбе. «У людей труда, прежде всего у рабочего класса, есть испытанное оружие — сплоченность, единство действий, интернациональная солидарность», — говорилось в послании Генерального секретаря ЦК КПСС Л. И. Брежнева участникам Всемирной встречи трудящейся молодежи.

Сплоченность — великое оружие. Выковать это оружие, сделать его действительно сильным и эффективным — такую задачу и ставили перед собой участники форума.

И не случайно местом встречи была выбрана столица нашей Родины — Москва. Это говорит о постоянно растущем авторитете Советского государства, о том, что молодежь различных стран видит в своих советских сверстниках пример, достойный подражания.

* * *

Три с половиной тысячи лет назад на гробнице египетского фараона Аменофиса III были высечены такие слова: «Молодые строптивы, без послушания и уважения к старшим. Истину отбросили, обычаев не признают. Никто их не понимает, и они не хотят, чтобы их понимали, несут миру гибель и станут последним его пределом».

Аменофиса сменил не один десяток фараонов, человеческое общество прошло долгий и тернистый путь развития от каменного топора до эры космических полетов и проникновения в тайны атома, но мир, как мы можем в том убедиться, не погиб, и не нужно быть проницательным оракулом, чтобы предсказать нашей планете еще долгое и долгое существование.

Веками брюзжали разные скептики, обвиняя молодое поколение во всех смертных грехах и пытаясь свалить на него ответственность за те неурядицы, которые происходили на земле. Последователи этих скептиков, явившиеся ныне миру в лице «спецов» по молодежным проблемам, «доброжелателей», «освободителей» молодежи от «гнета» «взрослого» общества, по причинам вполне естественным, стали поумнее и похитрее своих предшественников.

Ревниво охраняя интересы крупного капитала, они восхищаются максимализмом и критицизмом — чисто психологическими каче-

ствами молодежи, — выдавая их за новейшие, в корне отличающиеся от взглядов старшего поколения концепции. Так появилась «теория молодежи как класса».

Выдвигая на первый план элементарную разнородность вкусов и привязанностей, житейских, бытовых, нравственных представлений, поднаторевшие на софизмах буржуазные теоретики не без умысла проходят мимо других, более серьезных противоречий, которые заключаются в столкновении идеологических и политических платформ. А это уже относится к области классовой.

Но попробуйте убедить молодого человека в любой капиталистической стране, который подвергается нещадной эксплуатации со стороны владельцев предприятия, где он работает, в том, что его интересы в корне отличны от интересов его соседа — пожилого рабочего, подвергающегося столь же жестокой эксплуатации. Вряд ли из этой затеи что-нибудь выйдет!

Нынешняя прогрессивная и в первую очередь трудящаяся молодежь прекрасно понимает, что и с кем ее связывает.

Обстановка в мире сейчас такова, что соотношение сил постоянно изменяется в пользу антиимпериалистического, революционного движения. И в борьбе, которая определяет характер нашей эпохи, все более активное участие принимает молодежь, зрелая, идейно закаленная, убежденная в правоте своего дела.

На Всемирной встрече трудящейся молодежи мне запомнился разговор с посланцем итальянского комсомола Риццини Грациано, рабочим из провинциального городка Брешия. В свои 22 года он уже пользуется огромным авторитетом у товарищей. С 16 лет — член профсоюзного комитета своего завода. В 1971 году его избрали в ЦК Итальянской федерации коммунистической молодежи. Этот парень мыслил зрело, приводил экономические выкладки, со знанием дела говорил о методах, о тактике борьбы. Это был политик, экономист, теоретик.

— Скажи, Риццини, где ты учился? — спросил я его.

— В школе, — улыбнувшись, ответил он. — Мне удалось закончить пять классов. В семье было туго с деньгами, и пришлось идти работать.

Этот пример весьма характерен. Он свидетельствует о резко возросшем политическом сознании юношей и девушек, которое определяется их нынешним положением в обществе.

Ежегодно в капиталистических странах тысячи и тысячи юношей и девушек начинают свою самостоятельную жизнь с мучительных поисков хоть какой-нибудь оплачиваемой работы. Но найти ее удается немногим. В Англии, Бельгии, Голландии почти половина молодых людей, попадающих на рынок труда, не может найти работу. Во Франции каждый год без работы остаются более 20 тысяч молодых рабочих.

Отсутствие высокой производственной квалификации, специальности широкого профиля усиливает у них страх перед безработицей, чувство неуверенности в завтрашнем дне. Недавно во Франции был проведен опрос учащихся под девизом «Молодежь. 2000 год». Оказалось, что подавляющее большинство молодых французов испытывает серьезное беспокойство за свое будущее.

Наличие огромной промышленной резервной армии в капиталистических странах ведет к массовой эмиграции молодежи. Так, на-

пример, в последнее время более 2 миллионов итальянцев в возрасте 20—25 лет покинули страну в поисках работы. Столь же велика эмиграция молодежи из Греции, Испании и Португалии.

Поиски своего «места в жизни» — это трагедия для современного молодого поколения в капиталистическом обществе. К безработице добавляются проблемы низкой заработной платы, тяжелые условия труда на капиталистическом предприятии, отсутствие времени для приобщения к духовным и культурным ценностям. Все это вызывает активный протест молодежи, способствует формированию ее революционных убеждений.

За последние несколько лет резко возросла активность молодежи развивающихся стран. Вот что говорил об этом посланец из Гайаны Нарбада Персуад:

— Британские колонизаторы оставили нам тяжелое наследие: политический раскол, экономическую отсталость, безработицу. Каждый четвертый молодой гражданин нашей страны не имеет работы. Мы организовываем марши безработных по всей стране, добиваемся последовательной демократизации политической жизни, требуем принятия справедливого законодательства.

Не видя выхода из создавшегося тупика, эксплуатируемая молодежь обращается к идеям социализма, с надеждой смотрит на страны социалистического содружества, где созданы все условия для всестороннего развития юношей и девушек, для непосредственного их участия в решении важных государственных задач.

— Наш дальнейший путь ясен, — заявил на Всемирной встрече трудящейся молодежи посланец Коммунистического союза молодежи Великобритании Робин Корбетт. — Содружество социалистических стран и в первую очередь Советский Союз являются непобедимой силой в борьбе за мир, прогресс и социализм. Поэтому задачей нашего союза является укрепление связей с социалистическими странами.

* * *

Два года назад по инициативе Ленинского комсомола VIII ассамблея Всемирной федерации демократической молодежи приняла решение о проведении широкой кампании «Юность обличает империализм».

Эта кампания вызвала большой интерес в молодежном и студенческом движении. Раскрывая ее суть, первый секретарь ЦК ВЛКСМ Е. М. Тяжельников говорил на VIII ассамблее ВФДМ:

— Марши протеста и манифестации, демонстрации и митинги, региональные и всемирные встречи, конференции и семинары по актуальным проблемам антиимпериалистической борьбы, сбор и публикация материалов о преступной деятельности империалистических государств — все это позволит вынести на суд мировой общественности вопиющие злодеяния империализма, наметить новые пути борьбы за социальный прогресс.

Кампания «Юность обличает империализм» предполагает самое широкое проведение различных молодежных мероприятий в национальном, региональном и международном масштабах. Это и солидарность с борющимися народами Индокитая и арабских стран, это и поддержка народов, выступающих против диктаторских режимов в Греции, Парагвае, Гватемале и других странах.

В рамках этой кампании проводится сбор средств на строительство в Ханое детской больницы, которая будет носить имя вьетнамского героя Нгуен Ван Чоя. Молодежь всего мира собрала уже 500 тысяч долларов. Это еще одно яркое проявление интернационализма молодого поколения.

Важными вехами в жизни молодежи мира были Международная встреча солидарности с народами Вьетнама, Лаоса и Камбоджи, проходившая в сентябре 1971 года в Сантьяго, а также встреча в Париже под девизом «Молодежь Европы — Вьетнам — Индокитай — Победа!».

Большое значение для дальнейшего углубления сотрудничества отрядов прогрессивного молодежного движения имели Международная конференция молодежи по вопросам безопасности и сотрудничества в Европе, состоявшаяся во Флоренции в декабре 1971 года, а также Конференция молодежи европейских стран в Хельсинки (август 1972 года).

Ход дискуссий и выводы, сделанные на этих конференциях, наглядно продемонстрировали существование реальных возможностей для более тесного сотрудничества по конкретным проблемам.

Отличительной чертой классовой борьбы молодежи на современном этапе является усиление ее размаха, значительный рост числа участников классовых боев: сегодня это многомиллионная армия.

Другой особенностью современной классовой борьбы молодежи является крепнущая пролетарская солидарность. Об этом, в частности, свидетельствует всеобщая стачка летом прошлого года в Англии, поддержанная рабочими других стран. Причиной ее послужил арест пяти лондонских докеров за участие в забастовочных пикетах. Вскоре стачка охватила всю страну, полностью парализовала порты. К бастующим присоединились машиностроители, горняки, печатники, водители грузовиков и др. Самое активное участие в этой забастовке приняла трудящаяся молодежь Англии, выдвинувшая целый ряд требований против массовых увольнений молодых рабочих. Наряду с рабочей молодежью огромную помощь бастующим оказывали студенты. В забастовочный фонд поступали крупные суммы от студенческих и молодежных организаций Англии. Молодые докеры Франции, Голландии, ФРГ объявили бойкот английских судов. И в результате — победа: «тори» сдались и были вынуждены отпустить арестованных лидеров забастовки и удовлетворить целый ряд других требований бастующих.

Английская молодежь добивается введения дополнительных перерывов во время работы, молодые рабочие Франции выступают против чрезмерной интенсификации труда на конвейерных линиях. И снова вспоминается разговор с делегатом Всемирной встречи трудящейся молодежи в Москве Риццини Грациано. Он рассказал о стачке, которую провели молодые рабочие его завода. Бастующие выдвинули конкретные требования: повышение заработной платы, большее участие молодежи в решении производственных вопросов, право на создание цеховых и общезаводского молодежных советов, гарантия стабильного ритма работы, улучшение здравоохранения, установка воздухоочистительных устройств в цехах с вредным производством. После острой и напряженной борьбы администрация завода была вынуждена удовлетворить эти требования.

И еще одну отличительную черту современной молодежи хотелось бы подчеркнуть: умение глубоко анализировать волнующие ее проблемы, вырабатывать наиболее эффективные методы борьбы. На Всемирном форуме трудящейся молодежи шла речь и об установлении конституционным путем ее права на труд, и о создании условий для ее участия в решении социально-экономических вопросов, и о проведении общегосударственных мероприятий, направленных на то, чтобы обеспечить занятость трудящейся молодежи, и о многом другом. Все это говорит о глубокой заинтересованности молодых людей в осуществлении коренных преобразований капиталистического общества, в создании условий, при которых плоды труда будут максимально использованы в интересах прежде всего тех, кто создает материальные ценности.

Если стенограммы выступлений участников международной конференции «Трудящаяся молодежь в современном обществе и ее борьба за свои права, социальный прогресс, национальную независимость и мир», проводившейся в рамках Всемирной встречи трудящейся молодежи, собрать воедино, то получится внушительный труд: на заседаниях выступило свыше 200 делегатов. И это не просто доклады на определенные темы. За каждым выступлением — труд, борьба, личный опыт и активное участие в деятельности молодежных организаций. В каждом выступлении — конкретные предложения, направленные на дальнейшее укрепление единства рядов молодых трудящихся мира.

Тщательная подготовка встречи, широкий круг вопросов, поднятых в ходе дискуссии, свободный и откровенный обмен мнениями — все это предопределило успех форума. Единодушие и энтузиазм, с которыми делегаты приняли заключительные документы, свидетельствуют о том, что встреча имеет непреходящее значение в объединении всех отрядов трудовой молодежи планеты.

— Я уезжаю отсюда убежденный в том, что полного удовлетворения требований, нужд и стремлений молодежи можно добиться только при условии тесного соединения демократического молодежного движения с борьбой рабочего класса, всех антиимпериалистических сил, — сказал в последний день встречи представитель делегации молодежи Африканской партии независимости Гвинеи и островов Зеленого Мыса Андре Гомес.

С полным пониманием и одобрением встретили участники встречи заключительное выступление председателя КМО СССР Г. И. Янаева, который так определил значение этого важнейшего международного форума:

— Каждый из нас, дорогие друзья, смог обогатить свои знания фактами и анализом положения трудящейся молодежи в других странах и континентах. Конференция в целом позволила увидеть широко, во всемирном масштабе картину положения и роль трудящейся молодежи, ее нужд и ее чаяний, ее возрастающей трудовой и социальной активности.

С особым удовлетворением руководители и других молодежных организаций, принимавшие участие в работе форума, отмечали, что, несмотря на различия идеологических позиций, взглядов его участников на отдельные политические вопросы, несмотря на разное их отношение к конкретным формам и методам борьбы, конференция проходила в обстановке откровенности и многое дала каждому из ее участников, многому научила.

Естественно, что было бы нереалистично рассматривать эту встречу как мероприятие, которое способно одним махом устранить существующие расхождения во взглядах между различными отрядами прогрессивной молодежи мира. Но эта встреча, конечно же, явилась одним из важных этапов на пути сотрудничества трудящейся молодежи, актом доброй воли и стремления к единым действиям, достижению взаимопонимания и согласованных действий.

Очевидно, мы еще не раз будем обращаться к резолюции конференции, к тому опыту борьбы трудящейся молодежи, который предстал здесь в выступлениях и беседах делегатов и который теперь нужно проанализировать и обобщить. Правда, уже и сейчас можно с уверенностью сказать, что она успешно выполнила свою главную задачу: ярко продемонстрировала возрастающую роль трудящейся молодежи, позволила обсудить перспективы расширения совместной деятельности молодежных и профсоюзных организаций различной ориентации в борьбе за права молодых трудящихся, за идеалы свободы и социальной справедливости.

Итоги конференции приводят к выводу о необходимости и возможности дальнейшей координации усилий различных отрядов трудящейся молодежи и укреплении сотрудничества профсоюзных и молодежных организаций. Важную роль в этом плане должны сыграть те международные мероприятия, которые последуют за Всемирной встречей трудящейся молодежи. В частности, уже в этом году на X Всемирном фестивале молодежи и студентов можно будет продолжить и углубить обсуждение проблем, которые были предметом дискуссии на московском форуме.

Оценивая итоги встречи на Исполкоме Всемирной федерации демократической молодежи, который состоялся в ноябре прошлого года в Москве, Генеральный секретарь ВФДМ Ален Теруз отметил, что эта встреча была своеобразным трамплином для расширения борьбы трудящейся молодежи против империализма.

Высокую оценку роли молодежи в едином фронте антиимпериалистической борьбы дал Генеральный секретарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев, который, в частности, писал в своем послании участникам Всемирной встречи трудящейся молодежи в Москве: «Отрадно сознавать, что трудовая молодежь — растущий отряд создателей материальных и духовных ценностей — все более решительно вступает на путь борьбы за осуществление требований и жизненных интересов всех трудящихся, за мир и безопасность, за национальное и социальное освобождение народов, против гнета монополий и империалистической агрессии. Это укрепляет уверенность в том, что молодежь, вливаясь в ряды рабочего движения, вступая в профсоюзы и массовые демократические организации, способна внести важный, прямо скажем, необходимый вклад в решение исторических задач нашего времени».

Эти слова вдохновляют молодежь всего мира на новые героические свершения в великом деле борьбы за мир, свободу, демократию и социализм.





Василий ЗАХАРЧЕНКО

К ФОРМУЛЕ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ

(МОЛОДЕЖЬ И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС)

Научно-технический прогресс... Научно-техническая революция...

Эти слова не сходят сегодня со страниц газет и журналов. Об этом говорят, пишут. На это ссылаются политики и общественные деятели. С этими словами связаны надежды, радости, сомнения и страхи человечества.

Сколько раз во время зарубежных встреч и дискуссий я сталкивался с самыми невероятными суждениями молодежи о последствиях научно-технической революции!

Взрыв атомной бомбы и атомная электростанция. Расцвет кибернетики и опасения, что придет час, когда машина поработит людей. Смелый бросок в космос и проблемы пока что бесплодного поиска разума во вселенной. Демографический взрыв и одиночество человека в капиталистическом обществе.

Буржуазные теоретики, ссылаясь на бурно протекающий в мире научно-технический прогресс, пытаются найти в нем выход для своего обреченного общества. Какие только названия не пытаются подобрать они в связи с этим современному капитализму!

Но незыблемы Марксовы законы развития общества. Научно-техническая революция не сглаживает, а обостряет противоречия, органически присущие миру эксплуатации и частной наживы, ведет его к неизбежной гибели.

Великая Октябрьская революция положила начало развитию общества, конечной целью которого стало построение коммунизма.

Социализм, коммунизм опираются не только на новые отношения в общественной сфере, но и на величайшие достижения науки и техники в сфере материальной.

Прошлое — настоящее — будущее стали объектом

самого пристального изучения. Это своеобразный путь к формуле завтрашнего дня.

Футурологи, научные фантасты и прогнозисты прокладывают пунктирные трассы в будущее, пытаясь заглянуть в завтрашний день планеты.

Слов нет, научно-техническая революция «переселилась» в область большой политики. И если когда-то первое в мире — наше социалистическое государство, созданное Лениным, заявляло о прекрасном будущем как о перспективных возможностях Страны Советов, то сегодня выдающиеся ее успехи стали реальностью — ярким примером конкретных достижений социализма.

Об использовании преимуществ социализма в научно-технической революции говорил в Отчетном докладе на XXIV съезде партии Л. И. Брежнев.

Все это заставляет нас еще и еще раз задуматься о сущности процессов, происходящих в мире, о месте человека в бурно развивающейся общественной жизни.

В гостях у полусильного Гамлета

Я столкнулся с Гамлетом по пути в Эльсинор. Какой-то предприимчивый хозяин построил возле дороги модерновый отель, назвав его именем датского принца. «Приезжайте в Эльсинор, и вы приобщитесь к великому сыну Шекспира!» — взывала подсвеченная люминесцентными трубками гостиничная витрина.

Что поделаешь, подлинным местом жизни датского принца до сих пор считается древний замок Эльсинор в Кронберге. Сюда неотвратимо тянуло и нас.

Наша машина мчалась мимо домов, которые были украшены сентиментальными надписями, цветами, колоннами и резьбой. На выбор — по вкусу хозяев. Здесь мало что говорило о прошлом. Это настоящее благополучной Дании, где, по словам гидов, автомобили почти полностью вытеснили велосипедистов.

Но память о принце датском превыше машин, зеркального шоссе и обольстительных вилл. Даже зажатый портовыми кранами и ржаво-красными глыбами строящихся кораблей, забитый гулом многотонных трайлеров и грузовиков, замок Эльсинор продолжает господствовать над Кронбергом как самая привлекательная реликвия государства.

Высококвалифицированные гиды с видом парламентских спикеров неторопливо и торжественно рассказывают грустную историю принца датского. Они показывают залы, по которым бродил юноша. Комнату матери и шторы, за которыми якобы скрывался коварный Полоний. Они пространно намекают на то, что тень отца Гамлета бессмертна и даже сегодня, в век атома, космоса и кибернетики, она изредка появляется в гулких галереях романтического замка.

Щелкают фотоаппараты, стрекочут модные в наше время кинокамеры, шелестят страницы блокнотов. Душа наполняется элегическим спокойствием — ты посетил места, овеянные легендой.

Именно легендой. Ибо безжалостная история достоверно повествует о том, что замок этот был построен лишь через 300 лет

после смерти злосчастного принца. Поэтому все красноречие гидов и широковещательные рекламы — всего лишь мистификация.

Но следующая встреча с Гамлетом была куда реалистичней. Это произошло на улицах Копенгагена, возле каналов, среди зданий, сочетавших средневековую торжественность с броскостью современных витрин, на стихийном слете хиппи, прибывших в датскую столицу в солнечные дни прибалтийского лета.

Нет, не десятки, не сотни, а многие тысячи небритых молодых людей с потухшим взглядом. Пестрые толпы девиц в затертых джинсах, с лоснящимися от грязи босыми ногами. У кого-то распущенные по плечам волосы, кто-то по-солдатски, наголо пострижен под первый номер машинки.

Когда-то мне приходилось слышать, что хиппи, или, как их еще называют, хальбштаркен, что по-русски значит «полусильные», якобы очень похожи друг на друга. Участники экзотического сборища в Копенгагене вопиюще восставали против такого несправедливого обвинения.

Девицы в невообразимо коротких супермини-юбках. В цветных джинсах. Одетые, как монахини, и обнаженные, как вакханки, с открытой грудью и плечами.

Хиппи сидят на скамейках, небрежно валяются на асфальте. Уныло бросают пальцы на струны дребезжащих гитар.

Какой-то юнец с мутными глазами тут же у вас на глазах вонзает сквозь брюки крохотный шприц в ногу. Откинувшись к стене, затихает. В глазах его медленно начинает пробиваться огонь — недолгий, болезненный, смятенный...

Вместе с Херлуфом Бидструпом мы бродим среди этой скучающей, ленивой, бесцельно существующей толпы.

Узнав, что я из Москвы, длинноволосые парни охотно рассказывают о себе. Мое внимание привлек один из них, датчанин, — рыжий гигант в красных сапогах на деревянной подошве. Он тащил за собою небольшую тележку, нагруженную книгами.

— Когда-то я учился на втором курсе университета, — говорит он доверительно. — Вынужден был бросить. Влюбился и понял: учеба ни к чему в этом проклятом мире. Ведь мы все живем под страхом атомной бомбы. Сейчас мы живем втроем: я, жена и собака. Прокормиться трудновато. Пес — он не считается ни с чем — ест слишком много мяса.

— На что же вы живете?

— Я торгую книгами...

— Что за литература? — спрашиваю я.

— Это рассказы маленьких ребятишек, записанные без всякой литературной обработки, — отвечает рыжебородый. — Мы работаем втроем: мой товарищ делает запись, другой друг печатает невыдуманные истории в небольшой частной типографии, а я их продаю. Так и живем.

Парень грустно замолкает.

— Нам куда труднее, чем тем парням, — и он показывает глазами на двух ребят, лежащих на асфальте.

Внешне это обычные хиппи в залатанных джинсах, босиком. Грязные цветастые рубахи завязаны узлом на пупке, обнажая половину живота и добрую треть спины. Длинные вихры спадают на глаза, как у шотландского пуделя.

— Эта пара кормит не только себя, но и многих товарищей, —

поясняет рыжебородый. — У них богатые родители где-то в Англии. Они ежемесячно шлют парням деньги.

Я подсаживаюсь к малолетним богачам, развалившимся на асфальте. Весь их облик напоминает мне заброшенных, ощетинившихся щенят. Кто-то, видимо, из активно подкармливаемых друзей подобострастно ставит на землю перед ними две чашки кофе, принесенного из ресторанчика.

— Вы что, — обращаюсь я к ребятам, — решили вернуться к волосатым предкам?

Парни скалят зубы. Одни из них аккуратно, словно накладывая театральный грим, размазывают по лицу какую-то пасту из тюбика: хиппи положено быть грязным, надо соблюдать традицию. (Тюбики парфюмерной грязи продаются в специальном киоске вместе с набором экзотической, искусственно изодранной и измазанной одежды хиппи.)

— Нам надоел этот гнусный мир, делающий деньги, — сквозь зубы говорит старший.

— Но ведь вы ими пользуетесь?

— Это не главное. Главное, ненавидеть мир и презирать его.

Две полураздетые девицы подсаживаются к парням. Видимо, это их старые друзья.

— Ненавидеть мир? — повторяю я.

— Не только ненавидеть, но и любить, — говорит второй, уверенно кладя руку на худенькое плечо девицы. — Через любовь к полной свободе!

«Это не ново», — думаю я. И вспоминаю модную дискуссию, развернувшуюся недавно на страницах датских газет. Обсуждался вопрос о «новой ячейке человеческого общества». Ячейка, которая якобы должна лечь в основу будущей «организации мира». По словам создателей этой новой теории грядущего общества, новая ячейка лишена всех предрассудков старого мира, она сверхсовременна.

Схема построения ее крайне проста. Три парня и три девушки создают единую семью. Общий кошелек, общая квартира, общая постель, общие дети, общие интересы.

— В этом случае пропадает низменное чувство ревности, — философствуют создатели новой теории. — Нет болезненной привязанности к ребенку.

«Куда уж дальше!» — подумалось мне.

Но, увы, находятся, как говорится, теоретики, которые всерьез считают такую весьма сомнительную семью основой грядущего мира. В частности, американский фантаст Фредерик Поол. Он говорил о датском опыте на Международном симпозиуме фантастов как о новаторском эксперименте, связанном с проблемами морали будущего общества.

Диву даешься, беседуя с хиппи, какой политической шелухой забиты незрелые головы ребят.

— Через свободу любви — к свободе политической!

— Мы дети атомного века, все кончится взрывом. Торопись! После нас хоть потоп!

— Цивилизация зашла в тупик — она страшит и пугает. Назад, к пещерам!

Здесь, в пестром месиве человеческих отпрысков капиталистического общества, в замшелом соре перемешавшихся течений, идеек и теорий, я и столкнулся с Гамлетом.

Даже внешне он чем-то напоминал шекспировского принца. Молодой, голубоглазый, в замшевом камзоле и несвежих кедах, натянутых на старенькие лыжные штаны-эластик, он понравился мне своей спортивной фигурой: из такого получился бы неплохой гимнаст! Он сидел задумчиво на каменном парапете и молча смотрел на свинцовую воду канала.

— Проблема все та же: быть или не быть? — отрубил он коротко на вопрос: «Как живете?»

— Как это понять?

— Быть ли нам участниками жизни завтрашнего дня или испариться?

Его звали Герхардом. Он, по его словам, «ходит в хиппи вот уже второй год».

— Одно время мне казалось, что подобный протест против вселенской тупости благополучной жизни имеет резон. Ну и что же? Второй год бродяжничества. Изредка работа. Иногда случайная любовь. Скучно... А я хочу жить. Понимаете ли, жить! Точнее, выжить в этом мире.

На моложавом лице усталого Гамлета я замечаю искреннюю скорбь.

— Как-то я видел в кино взрыв атомной бомбы, — продолжает он после паузы. — Я не мог заснуть несколько дней. Мне надоело думать о войне. Понимаете, надоело... А ведь американцы вот уже сколько лет ведут ее во Вьетнаме.

— Почему вы не учитесь, Герхард?

— Зачем? Для того, чтобы выращивать микробов для будущей войны? Для того, чтобы «по-умному» убивать себе подобных, как это делают в Индокитае?

Гамлет низко опускает голову.

— Понимаете, я не хочу участвовать в этой грязной игре, я хочу всего лишь выжить... Не смейтесь: быть или не быть? — главный вопрос для нас, молодых.

— Это почти по Шекспиру. Помнишь?.. Так вопрошал Гамлет.

— Помню. Я где-то видел фильм. Гамлета играл неплохой советский актер. Но я о другом. Я о двадцатом веке, о нашем...

Поздно вечером на улицах Копенгагена прежнее оживление. В маленьких кафе осоловевшие парни пьют кофе, сидя на полу. Уткнулся лицом в асфальт окончательно обалдевший морфинист. Игриво поеживаются в скверике полуобнаженные девицы.

Принц Гамлет в замшевом камзоле по-прежнему задумчиво сидит на парапете возле канала. Он смотрит на воду и думает.

О чем думает этот заскучавший парень, у которого как-то незаметно украли голову? Кто подскажет ему жизненный путь? Кто направит его совесть к свету и ясности? А ведь без этого нет и не может быть настоящего пути в жизни. Пути к заветному слову «быть»! И только к нему одному!

А не посоветоваться ли ему с теми широкоплечими ребятами, что работают грузчиками в порту? У них-то ясности куда больше...

Письмо о главном конвейере

22 августа 1918 года в газете «Правда» было опубликовано написанное Лениным «Письмо к американским рабочим».

Это «Письмо» было ответом на послание американских рабочих из портового города Сиэтла русским рабочим, совершившим Великую Октябрьскую социалистическую революцию. Они не только выразили горячую солидарность с русской революцией, но и дали безжалостную характеристику пресловутой капиталистической демократии.

«Ваша борьба по самому своему существу — наша борьба, ваша победа — наша победа. И поражение, понесенное вами, будет ударом в лицо нам», — говорилось в послании. И еще: «Такой вещи, как свобода слова, свобода печати, свобода собраний, не существует в Америке, и демократия, о которой болтают капиталисты, только ловушка».

С большими трудностями советские моряки доставили это письмо В. И. Ленину.

Владимир Ильич поблагодарил их за то, что они наладили связь с пролетариатом Америки, и написал ответ авторам послания из Сиэтла.

Говоря о новом, высшем типе демократии — диктатуре пролетариата, он писал: «Впервые демократия служит здесь для масс, для трудящихся, перестав быть демократией для богатых, каковой остается демократия во всех буржуазных, даже самых демократических республиках».

Сегодня эти ленинские слова так же актуальны применительно к Соединенным Штатам, как тогда, в дни первых революционных выступлений американского пролетариата, вдохновленного победой Великой Октябрьской социалистической революции. «По мере того как борьба в Соединенных Штатах все больше бросает вызов господству капитализма, — говорит Генеральный секретарь Коммунистической партии США Гэс Холл, — этот исторический документ приобретает возрастающую актуальность и значение для американских рабочих и молодежи».

Вспоминаются дни моего пребывания в Соединенных Штатах Америки несколько лет назад. Город Дирборн — здесь Форд делает свои автомашины — непохож на крупнейшие города Америки, где обязательно есть свои небоскребы, свои знаменитые сооружения. Дирборн молод и существует не сам по себе, а при заводе. А завод — это не только место, где рождаются автомобили, — это огромный комплекс предприятий. Здесь производится все, начиная от проката металла для кузовов и кончая изготовлением стекла для автомобильных фар.

Главный конвейер завода поражает своей грандиозностью. Это растянувшаяся на километры механическая река. Здесь все работает, подчиняясь железному ритму — 38 секунд. За эти мгновения рождается один автомобиль.

Мы идем вдоль главного конвейера. К нему подходят боковые ветви. Одна... другая... десятки... Они тоже работают в ритме «38».

Все ветви связаны с центральным пультом управления. Здесь специальные счетно-решающие устройства регулируют поступление необходимых деталей на главный ствол. К зеленому кузову должны вовремя подойти зеленые колеса — и они подходят. И это несмотря на то, что только что перед глазами проходил автомобиль комби-полугрузовичок. Никаких ошибок, никаких задержек!

Тысячи людей включены в железный ритм конвейера. Ни на секунду нельзя отвлечься, ни на мгновенье опоздать. Нельзя

закурить, оглянуться, нельзя бросить слово товарищу. Железное течение ритма подавляет все. Люди стали придатком машин.

Мы идем вдоль желтой линии, проложенной параллельно конвейеру, не имея права ее переступить. Через каждые 50 метров в микрофон, помещенный в специальном шкафчике, инженер произносит несколько фраз. У рабочих нет даже секунды, чтоб поднять глаза на посетителей завода.

Рядом с белыми работают негры. Здесь полное равенство. Перед нашими глазами — механически-бездумные движения рабочих. Быстрее!.. Быстрее!..

Экскурсовод подобострастно говорит о достоинствах фордовской системы. Он воодушевлен. Он почти декламирует.

Выбрав момент, он подходит к нам:

— Ну как?

— Здорово! Однако как люди выдерживают такой темп?

— Господь бог создал человека, но не успел сделать к нему запасных частей, — говорит экскурсовод. — Здесь надо глядеть в оба. Ремонтировать некогда. А изнашиваются «машины» быстро.

Экскурсовод посмеивается, удовлетворенный злой шуткой. А мы все идем и идем вдоль желтой линии. Через каждые два часа остановка конвейера на 10 минут. Обессиленные люди буквально оседают у рабочего места. Кое-кто безразлично жует принесенный из дому бутерброд — перерыва на обед не будет...

— Мы будем проводить дальнейшую автоматизацию главной линии, — говорит сопровождающий нас инженер, когда, доведенные почти до головокружения стремительным мельканием колес, кузовов и крыльев, мы попадаем наконец к устью главного конвейера.

— Черта с два! — с неожиданной злобой шепчет нам экскурсовод. — В прошлом месяце хозяева попытались это сделать, да ничего не получилось — сразу же встал вопрос об увольнении трех тысяч человек!

— А разве хозяева задумываются об этом?

— Конечно, нет. Но об этом задумываются рабочие. Вот они и объявили генеральную забастовку. Так что от дальнейшей автоматизации пришлось отказаться, — неожиданно заканчивает разоткровенничавшийся гид.

Через несколько часов мы покидаем одно из крупнейших предприятий Америки. Все еще кажется, что сами продолжаем двигаться в стремительном темпе «38».

Когда через несколько дней мы попали на самую знаменитую улицу Нью-Йорка — Бродвей, тот же образ конвейера вновь всплыл перед глазами.

Бродвей сияет рекламой круглые сутки. По вечерам она вспыхивает и гаснет с особым ожесточением, перескакивая с фасада на фасад. Реклама стремится поразить воображение.

Главный «конвейер» Бродвея уносит вас дальше и дальше: мимо ярко освещенных витрин, забитых порнографической литературой; кинотеатров, в которых демонстрируются фильмы об ужасах и убийствах; танцевальных салонов, где снуют разбитные молодые люди, предлагающие вам любой товар, вплоть до наркотиков и женщин; мимо магазинчиков, где «ради шутки» вы можете купить чудовищные маски убийц, уродов, повешенных и застреленных; мимо киосков, где вашему вниманию предлагают будто бы засушен-

ные головы южноамериканских дикарей, сделанные из резины и капрона. Все это мелькает, вспыхивает, движется у вас перед глазами в одном и том же ритме конвейера.

К Бродвею подходят боковые линии. «Совсем как у Форда», — думаю я. Но здесь меньше света, меньше реклам. И, хотя боковые линии работают в том же ритме на основную, у этих улиц и переулков есть второй конец. Он упирается в трущобы — туда, где живут люди, давно выброшенные с парадной линии главного конвейера. Опустившихся, небритых, распухших от вина и голода, их можно видеть лежащими на тротуаре в районе Бавери или сидящими с безнадежным выражением лица в дешевых кабачках. Авось кто-то сжалится и поднесет стакан вина, кусок хлеба...

Нищета обнажена и не прикрывается ни крикливой рекламой, ни ритмичными вспышками неонового света. Она гораздо трагичнее всего, что я видел в Америке. Это тоже конвейер деградации человека, прикрываемый словами о демократии и благоденствии. За этой нищетой стоит ужасная цифра — 4,5—5 миллионов безработных в стране.

В Америке, в этом так называемом «свободном мире свободной инициативы», основой основ провозглашается культ силы, право сильного подавлять слабого. Молодежи твердят о том, что только «супермен», откровенно напоминающий гитлеровского «юберменша», имеет возможность пробиться в жизни.

Об этом трубят 60 миллионов ежемесячно продаваемых комиксов и 4 тысячи детективных рассказов, пьес, постановок и фильмов с убийствами, ежедневно передаваемых по станциям американского радио и телевидения.

Пропагандисты «силы» отлично знают, куда направить жертву, увлеченную правом безнаказанно подавлять слабого. На улицах многих американских городов можно увидеть крупные плакаты: «Морская служба сделает тебя человеком!», «Учись водить танки!», «Будешь военным — весь мир откроется тебе!»

Ну что ж, пользуйся правом сильного — развлекайся и гуляй, торопись на военные базы, разбросанные по всем частям света, — там все дозволено... Именно на этой рекламе безнаказанного насилия и выросли американские убийцы мирного населения вьетнамской деревни Сонгми. А разве не этот же чудовищный стиль «американского образа жизни» просматривается в убийстве президента Джона Кеннеди и его брата Роберта? До сих пор не разоблачены и остались безнаказанными подлинные организаторы «преступления века». И все это в Соединенных Штатах называется «демократией буржуазного общества».

Вспоминаются встречи с молодым американским певцом Дином Ридом, активно выступающим за мир на земле, за прекращение военных конфликтов. В настоящее время он вынужден жить в Италии.

Вернувшись из поездки в Латинскую Америку, Рид рассказывает:

— Решение пришло само собой. Я взял корыто, стиральный порошок и вышел на улицу. Против здания американского посольства движение транспорта было особенно значительным — оно могло помешать мне. Но, с другой стороны, меня это устраивало, — чем больше шума, тем удачнее пройдет операция. Спокойно я засунул звездно-полосатый флаг в корыто и успел выстирать его до того, как полиция пришла меня арестовать.

Красивое лицо Дина освещается улыбкой.

— Я объяснил нагрянувшим журналистам, что смываю с американского флага кровь вьетнамцев, следы преступлений американской политики в странах, народы которых хотят жить свободно. Освободили меня через несколько дней под давлением общественности. Лишь на аэродроме, когда меня высылали из страны, полицейский агент сунул мне в руки свернутое американское знамя. Я ведь американец — и я требовал, чтобы мне вернули чистым флаг моей родины.

И только в Риме, — смеется Рид, — жена, встречавшая меня в аэропорту, сказала: «Ну, Дин, без газет я так бы и не узнала, что ты умеешь отлично стирать!..» С тех пор я сам стираю свои рубашки, — улыбается он.

Через мгновенье тонкое лицо его становится серьезным.

— Мир болен сегодня. Здоровой его частью являются социалистические страны во главе с Советским Союзом. Буржуазный же мир поражен неизлечимой болезнью. В нем сочетаются сказочное богатство одних с беспросветной нищетой других, лживые разговоры о демократии с преследованием негров, притеснением других народов, стремящихся к свободе.

Мне приходилось слышать от некоторых поборников американской демократии, — продолжает Рид, — что якобы Советский Союз идет не в ногу со временем. Ну что ж! Это истинная правда! Ваша страна постоянно опережает время, по крайней мере, на полшага. И в этом движении не в ногу с постоянно отстающим временем Запада — сила вашего народа, его отличительное свойство — устремленность в Завтра.

На ближних подступах к высоте

Я познакомился с Валентином Устиновым неожиданно. Красивый, рослый парень, сверкнув белозубой улыбкой, спросил меня в лоб:

— Ну что, нравится?..

Он как-то неожиданно появился рядом с необычным летательным аппаратом, привлекшим мое внимание. Это была странная машина — какой-то гибрид вертолета с самолетом. Вместо крыльев огромный винт над головою. А за спиной небольшой мотор с пропеллером.

— Нравится! Это ваше детище?

— Не совсем мое. Нас двадцать. Я лишь возглавляю студенческое КБ.

Так на ВДНХ мы познакомились с одним из энтузиастов Рижского Краснознаменного института инженеров гражданской авиации имени Ленинского комсомола.

Студенческое конструкторское бюро этого института сделало почти невозможное — спроектировало и построило автожир, на создание которого не замахивались даже наши профессиональные авиационные специалисты.

— Все это началось года четыре назад, — повел рассказ Валентин. — Наш институт готовит эксплуатационников, не конструкторов, а нам хотелось создать что-то свое, к тому же необычное. Помнится, я предложил автожир. Это своеобразный воздуш-

ный мотоцикл, самый легкий из всех летательных аппаратов. Идея ребятам понравилась. Вероятно, с этого момента почти стихийно и возникло наше самодеятельное конструкторское бюро студентов.

Может быть, всего этого единения «безумцев» и не получилось бы, — заканчивает Валентин, — если бы не Донат Павлович Осокин, преподаватель нашего института. Он-то и вдохновил нас, заставил поверить в свои силы.

Я пристально всматриваюсь в лицо этого, еще очень молодого парня. Как сумел он в предельно стиснутые учебной программой сроки увлечь ребят на необыкновенно смелое дело?

— Вначале нас считали почти авантюристами, — рассказывает Валентин. — Говорили: «За что беретесь? Промышленность и та отказалась!..» Но когда наш первенец был наконец собран и, оторвавшись от земли на два метра, пролетел две стометровки над полем, затихли даже самые закоренелые скептики.

«Первая высота — всего лишь два метра, — думаю я. — А ребята замахиваются на то, чтобы построить машину, способную подыматься на высоту четырех километров и летать со скоростью до ста восьмидесяти километров в час при дальности полета до трехсот километров. Здорово...»

Но путь к такой высоте не легок.

Увлеченность — вот, пожалуй, главное, что ведет ребят. А откуда она, эта увлеченность?

Такое приходит из глубины. Именно за последние годы среди нашей молодежи стало популярным научно-техническое творчество. Раньше увлекались больше самодеятельностью художественной.

Мы, в то время студенты Московского энергетического института, в хор не подались. Не было у нас ни слуха, ни голоса. А увлекались мы тогда делом совсем другим — хотели построить аэросани. Но смотрели на нас косо, никакой поддержки не оказывали. И где-то тлевший огонек технической смекалки потихоньку угас. Будущие инженеры ушли на производство, растеряв по дороге романтику студенческих увлечений.

Прошли годы...

Научно-техническая революция властно захватила племя молодых романтиков технического творчества.

Сегодня никто уже не удивляется тому, что комсомол или профсоюзная организация приглашают способных ребят попробовать свои силы на общегородском, а то и на всесоюзном смотре нового вида самодеятельности — научно-технической. Иные времена — иные увлеченья.

Однако вернемся к детищу рижских студентов.

Вот отрывок из письма Центрального Комитета комсомола Латвии главному конструктору вертолетов Н. И. Камову: «Студенты ставят своей задачей создание легкого многоцелевого автожира для применения его в народном хозяйстве страны. В целях определения актуальности проведенных в этом направлении работ просим Вас дать заключение о целесообразности создания такого аппарата и перспективности его применения».

— Нас поддержали, — продолжает свой рассказ Валентин Устинов. — И не только дали нам консультацию, но вселили в нас уверенность. А это главное.

Я слушаю рассказ о том, как увлеченные новой проблемой студенты делают основой своей дипломной работы проектирование легкого автожира. Е. Махоткин, Е. Савельев, В. Литанский, члены студенческого КБ, добились того, что их дипломные проекты стали своеобразным выражением их творческих стремлений.

Шли месяцы...

На небольшом аэродромчике ДОСААФ проходили необычные испытания. За автомашиной, словно змей на канате, взмывал в воздух винтокрылый аппарат — ротошют. Так сидевший за рулем Владлен Цейтлин, не раз подымавшийся ранее на самолетах в качестве пилота, выводил в свет новое детище студенческого КБ.

С бетонных плит аэродрома испытания перенеслись на водную гладь.

— У нас в Латвии много рек и озер. Они вполне могут заменить дефицитную дорожку аэродрома, — уверенно говорит Устинов.

И вот над озером, увлекаемые катером, поднимаются в небо винтокрылые аппараты на поплавках. Все выше и выше взмывают они. Пора освободиться от привязи. Нужен мощный мотор — и автожир сам уйдет ввысь.

— Так, шаг за шагом, поднимаясь со ступени на ступень, отрывались мы от земли, — улыбается Валентин, поднимая глаза к облакам.

Мы стоим около последней законченной конструкции принципиально нового летательного аппарата, созданного в неучебное время группой молодых энтузиастов. Машина выставлена на площадке ВДНХ. Именно здесь, в столице, и был организован Всесоюзный смотр научно-технического творчества молодежи. Главный рывок сделан. Для достижения подлинной высоты нужна практическая цель, нужна поддержка тех организаций, которым необходима эта машина, чтобы использовать ее в народном хозяйстве.

— Но здесь мы натолкнулись на новое препятствие, — продолжает Устинов. — Необходимо преодолеть барьер застарелых традиций, преграду некогда установившихся мнений. А вдруг что случится и кто-нибудь разобьется? Как-никак мы летаем... Но взгляните, какие отзывы дают нам. — И Валентин протягивает мне пачку документов.

Читаю:

«Министерство сельского хозяйства Латвии считает возможным использование автожира для обработки небольших площадей посевов и многолетних насаждений, для диспетчеризации управления машинно-тракторным парком, для проверки всходов, для аэрофотосъемок и др.».

«Министерство лесного хозяйства лесной промышленности Латвии считает, что разработку конструкций легких многоцелевых автожиров следовало бы продолжать».

— Как видите, — говорит Устинов, — положительных отзывов много. Теперь нам нужна конкретная материальная помощь. Но кое-кто, столкнувшись с делом непривычным, боится взять на себя ответственность. Но не беспокойтесь, — спохватывается Валентин, — у нас тоже крепкий характер. Эту «мягкую» стенку мы пробьем.

В его словах столько уверенности, что невольно веришь успеху

этих ребят. Да и время сегодня такое, что невозможно удержать творческое стремление нашей научной молодежи. Это стремление подобно конденсатору. Словно заряды, накопляет оно силы, чтобы в один прекрасный момент разрядиться яркой искрой подлинного творческого открытия.

У директора Всесоюзной выставки народного хозяйства Константина Ивановича Михайлова свое отношение к молодежному творчеству. Всесоюзный смотр проходит под его крылом, и профессор, лауреат Ленинской премии отлично понимает, как важно вовремя поддержать движение, охватившее нашу молодежь.

— Семь лет прошло со времени Первого Всесоюзного смотра, — рассказывает Михайлов. — Вспоминаю те годы. В двух-трех павильонах ребята показывали свои технические новинки. А сегодня все павильоны ВДНХ заполнены необыкновенными экспонатами. Их свыше десяти тысяч прибыло со всех концов Советского Союза. Вы можете себе представить, какие пласты научно-технического творчества были подняты за эти годы. Вот уж подлинно массовое движение!

Невольно вспоминаю я нашего профорга Сашу, вдохновенно приглашавшего нас когда-то идти в студенческий хор, обещая вывести нас этим путем на всесоюзные подмостки.

Нисколько не умаляя успехов художественной самодеятельности, надо признать: время позвало молодежь к новому творчеству — научно-техническому.

В городе Горьком по инициативе двух Героев Социалистического Труда: А. Косицына и С. Кузнецова — рабочих автомобильного завода — возник почин «Ни одного отстающего рядом!». Овладеть передовым опытом работы, искать в своем труде творческое начало — вот что привлекло молодежь многих других областей и республик к тому, чтобы следовать почину горьковчан.

В Казахстане молодежь объявила поход: «Ручной труд — на плечи механизмов». Свыше 3 тысяч штабов создано для руководства этим походом. К нему подключились студенты, преподаватели институтов. Только в Карагандинском политехническом институте 30 студенческих дипломных работ были посвящены вопросам малой механизации.

На Украине возникло движение «Сегодня — рубеж новатора, завтра — комсомольская норма!». Поднять производство на основе автоматизации и механизации — вот цель этого движения.

В Белоруссии — почин «Темп, качество, мастерство!».

В Армении — «Наша марка — наша честь!».

Пожалуй, нет во всей стране сегодня ни одной республики, где бы молодежное движение новаторов, умельцев, искателей нового не приобретало бы свои формы, свое направление.

Рабочий эстонской мебельной фабрики Л. Рыбане выступил с инициативой произвести усовершенствование на каждом участке производства. Поддерживая его, молодые новаторы дали десятки предложений. Внедрив часть их, предприятие получило 50 тысяч рублей годовой экономии.

Сколько таких примеров можно было бы привести!

Я беседую с Олегом Ивановичем Высокосом — заведующим Отделом рабочей молодежи ЦК ВЛКСМ.

— Всесоюзный смотр научно-технического творчества молодежи, — рассказывает он, — является одним из главных моментов, составляющих движение под девизом «Пятилетке — ударный

труд, мастерство и поиск молодых!». Только за последний год в стране создано свыше тысячи клубов технического творчества, около 10 тысяч кружков НТТМ, 4 тысячи школ молодого рационализатора.

Вы представляете себе, — продолжает О. И. Высокос, — какой размах приобрело наше творческое движение? Только на предприятиях, в учебных заведениях, в районах, городах и республиках было проведено сорок семь тысяч выставок молодых умельцев. А школы передового опыта? А конкурсы профессионального мастерства? А шефство кадровых рационализаторов над молодыми новаторами? И наконец, наставничество. Наши пожилые умельцы, изобретатели берут на себя заботу о творчестве молодых, об их воспитании.

Невольно вспоминаю слова, сказанные Леонидом Ильичом Брежневым на XXIV съезде партии, о том, что у нас научно-техническая революция должна использовать преимущества социализма.

Ведь подобное же стремление проявить себя творчески существует ныне не только у нас — во всех социалистических странах. В ГДР я был на открытии в Лейпциге выставки «Мастера завтрашнего дня». Диву даешься, в какие глубины технологических процессов внедряется молодежная мысль!

В болгарском городе Пловдиве проходила в прошлом году четвертая молодежная выставка умельцев. Я был потрясен разнообразием представленных на выставке работ. Здесь и проекты постройки зданий с помощью дирижаблей, и новые автомашины, сделанные из пластмасс, и необыкновенные станки-автоматы.

В Чехословакии молодежное движение новаторов имеет символическое название «Зенит». В Венгрии существует молодежная фирма «Мастер на все руки». В Польше — турниры «молодых чемпионов техники».

Новое движение, развившееся среди молодежи, присуще сегодня всем социалистическим странам.

Поддержанное партией, комсомолом, профсоюзами, это движение ширится и растет. Оно характеризует собою не только научно-технический прогресс в странах социализма, но и активное участие в нем молодежи. Как разительно контрастирует это с попыткой некоторых мечущихся молодежных кругов капиталистических стран выйти из тупика, в который завело их буржуазное общество!

Там тоже развитая техника. Свои успехи имеет наука. Но в этом обществе эксплуатации нет сил и стремлений, характерных для нашей социалистической молодежи. Новое общество рождает нового человека. И стремления его закономерно отражают пути социального развития этого общества. Поиском заветной формулы завтрашнего дня мы можем назвать эти чудесные стремления.

✻



Валерий БОЛТРОМЕЮК

ОДНАЖДЫ И НАВСЕГДА

...Кто-то однажды сказал: удел человеческий — одоление пути, каждому из нас отмеренного судьбой; жизнь человеческая — дорога.

Далеко по земле, далеко за ее пределы уводят нас выбранные нами пути. Но, куда бы ни забросило нас ветрами странствий, звезды каких бы экзотических широт ни светили над нами, однажды пусто, холодно делается нам на проспектах пусть даже самых красивых, но чужих городов. И тогда возникает в нас и с каждой минутой крепнет тоска по родным местам. И мы радостно сознаемся себе, что легко, без сожаленья, без боли готовы отдать всю пышную праздничность чужих берегов и небес за неяркий блеск семи звезд Большой Медведицы над березняками Лопасни или за мокрый от тихого грибного дождя ракитовый куст на берегу медлительной Шани, миру безвестной, но нашему сердцу бесконечно дорогой, за одну только возможность снова услышать плеск голубиных крыльев над тем старым московским двором, который когда-то проводил нас в дорогу.

Победителями или побежденными, счастливцами или неудачниками — как у кого сложится, — но непременно возвращаемся мы в единственные на земле родные наши места. В города нашего детства, в города нашей первой любви, первых стихов, первых жизненных планов. В края, сокровенная память о которых живет на самом донышке сердца, как совесть наша, всю жизнь...

А он говорит, что трудно делить ему любовь и привязанность, потому что два города навсегда вошли в его биографию, в его творческую и человеческую судьбу.

В Ленинграде пришла к нему однажды и на всю жизнь тяга к творчеству. Новосибирск — город его второго рождения: здесь он стал тем, кем хотел быть,

приехав сюда выпускником мухинского училища с дипломом художника-монументалиста в кармане.

Что было за душой у него к тому, теперь давнему, первому дню? Было ясное понимание главного дела своей жизни, своего человеческого и художнического предназначения: он, художник, должен украшать землю на радость всем живущим на ней, украшать, не оскорбляя и не подавляя ее своим вмешательством, но помогая ей славить то непреходящее, что создала и создает она сама, творец из творцов. Было еще множество планов и замыслов такого размаха, какой свойствен только юности, когда все дороги — в самом начале и еще так велик запас нерастраченных сил.

В Новосибирск его привела, по сути, чистая случайность: кроме одного-двух мухинцев, окоренившихся здесь годом раньше, у него не было в этом городе никого из родни или знакомых. Решая, где начинать самостоятельную жизнь, он просто однажды задумался над этим словом «Сибирь» и как-то разом припомнил все, что знал, видел и слышал о ней; край переживал новый, небывалый научно-технический взлет, как бы заново начинал свою биографию, созвучны каким-то тайным струнам души оказались суровая неброская красота здешней природы, кремневая крепость сибирских характеров, в которых виделось ему что-то родственное характеру собственному, — это и решило окончательный выбор.

Стать, однако, сибиряком, то есть человеком, принадлежащим этой земле душой, оказалось делом не скорым и не простым.

Город, в биографию которого время навечно вписало имя В. И. Ленина; город, давший племени советских летчиков трижды Героя Советского Союза Покрышкина; город, в числе основателей и первостроителей которого был один из лучших для своего времени инженеров, умный и тонкий писатель Гарин-Михайловский; город, в герб которого уже вписала свои инициалы наука — первые отряды ученых будущего Сибирского отделения АН СССР уже осваивали тайгу, намечая места для фундаментов будущих лабораторий, а глава отделения, «старик Лаврентьев», как его тут называли, сам, говорили, рубил сторожки на местах будущих стройплощадок, — все это лежало перед молодым художником-монументалистом тайной за семью печатями, а должно было стать тем полотном, на котором он напишет главную в своей жизни картину, если достанет на то таланта и сил.

Лицо города, его непростой характер еще нужно было разглядеть и понять. Нужно было вжиться в него, став живой клеткой его организма, сделать своими его мечты и заботы.

...Он искал черты характера этого города в архитектуре старых и новых построек, в секретах планировки и взаимосвязей его улиц и площадей, в лицах встречных, в случайно и не случайно услышанных разговорах; стремясь понять настоящее и увидеть будущее, сосредоточенно всматривался в прошлое города, папками пожелтевших документов осевшее в хранилищах областных архивов. Часами, как прикованный, наблюдал он за степенными стариками, за беззаботной возней детей. Пристрастным взглядом художника всматривался в лицо города днем, при ясном и чистом солнце, и ночами, когда неверный свет фонарей все вокруг так неуловимо меняет. Вслушивался в голос города в будни и в дни всенародных праздников. Он вживался в образ города, как вживается в образ своего героя актер. Это была непростая работа. На нее ушло несколько лет.

Однажды он поймал себя на том, что говорит, думает, дышит, радуется, негодует, гордится этой землей как истый сибиряк — человек, ощущающий себя живой частью ее.

Период накопления знаний и подготовки себя к следующему шагу вперед закончился. Теперь нужно было делать этот шаг.

* * *

Как рождается замысел? Что такое та искра, от которой ослепительной вспышкой загорается накопленный душевный заряд, отливаясь в конкретную форму, у каждого художника — свою? Об этом много написано и, наверное, много напишут еще, но точно не знает этого, пожалуй, никто.

Вот и он тоже в ответ на мой вопрос только медленно пожимает плечами.

Мы сидим в просторной и как бы несколько пустоватой его мастерской. Он от природы не терпит никаких «загромождений», и поэтому тут у него только узкий и жесткий, как солдатская койка, топчан, электрическая печка, на которой он варит себе кофе, несколько полок. На одной — книги; по их виду легко определить, что хозяин каждую из них берет в руки часто. Среди книг — тома «Истории Сибири», Шишков, Паустовский, монографии, книжки поэтов-сибиряков. На соседней полке грампластинки, верхняя в стопке — «Поэма экстаза» Скрябина («унес из дома, чтобы ребята случайно не разбили. Это одна из самых любимых»). На полке рядом несколько забавных безделиц: причудливо изогнутый корень («ходили с сыном рыбачить и вот нашли, забавный»), скупо сделанный на ходу шутливый рисунок, памятный, должно быть, этой своей моментальностью. На стенах — эскизы задуманного, а на станке — куб из светлого, мраморного оттенка бетона, и из монолита смотрят в упор о чем-то настойчиво спрашивающие глаза Маяковского. Ощущение цельности, силы, мощи характера исходит от этой работы, начатой два года назад, рождающейся трудно, ждущей своего часа. Он, автор ее, рядом с нею кажется маленьким и незаметным, и только две вещи в нем сразу бросаются в глаза, неуловимо и необъяснимо связывая одной цепью автора и его творение: резкий упрямый очерк скул и тяжелые, крупные, с широкими кистями и сильными пальцами руки каменщика или молотобойца. И я вспоминаю, как, показывая мне свою работу, ту самую, о которой мы сейчас говорим, он сказал мимоходом: «Посчитай, сколько в этом панно блоков. Каждый весит триста-четыреста килограммов. Бетон для них сам месил...»

— Хочу сказать сразу вот что. Чтобы была полная ясность. Всем своим творчеством я накрепко связан с молодежью. Я говорю это не потому, что комсомол оценил мою работу высшей своей наградой. Я кровно связан с ним с тех самых дней, как начал себя помнить. Комсомол в свое время не дал оступиться мне, мальчишке, предоставленному, по сути, самому себе. Комсомол помогал мне учиться, расти, формировал мои убеждения, мое отношение к жизни. То, что я теперь хочу своим искусством сказать, выношено и выверено нами вместе. Ну а как это было?.. — Он говорит теперь вполголоса, словно прислушиваясь в себе к отголоскам тех дней, что уже стали для него прошлым, хотя и незабытым. — Да если честно сказать — не знаю! — Он смеется, разводит руками.— Вот, бывает, ходишь сто раз мимо одного и того же, допустим, старого дерева. И постепенно перестаешь его замечать.

А потом что-то вдруг происходит — вокруг тебя или в тебе самом. То ли вдруг солнце как-то по особому высветит это дерево. То ли небо у него за спиной расчистится и заиграет красками. Или как будто в тебе самом какая-то подсветка вдруг сработает. Поглядишь и ахнешь: да ведь это дерево старое, гляди, о чем-то с тобой без слов говорит!.. Вот примерно так это и было тогда.

Мы говорим об одной из первых серьезных его работ, которой он заявил о себе уже не как о Саше Чернобровцеве, подающем надежды, а как о художнике со своим четким отношением к жизни.

— На Красном проспекте — видел? — стоит у нас Дом Ленина. Известное здание, даже значок такой памятный — «Дом Ленина» — есть. Построили его вскоре после смерти Ильича на деньги, собранные самим народом, в память о нем. Позади дома сквер, а в том сквере братская могила ста четырех большевиков-новосибирцев, замученных колчаковцами перед бегством из города. И могила старейшего коммунара Адриена Лежена — последние свои годы он прожил в Новосибирске. И могилы первых борцов за Советскую власть в Сибири, а среди них — могила легендарного Щетинкина, командира красных сибирских партизан. Сто раз я в этот сквер заходил. В сто первый такую увидел картину: два мужичка сидят в компании с четвертинкой, и идет у них разговор для этого места, прямо сказать, кощунственный... И как будто в первый раз я увидел, что фоном у этих могил — серая каменная стена. Марсово поле у нас в Ленинграде вспомнил, и как по сердцу ударило: вот сейчас забегут сюда школьники, просто так забегут, увидят эту развеселую пару. Ну этим двоим, может, ни до чего уже интереса нет, а в душах у ребят что отложится? А ведь, если разобраться, место святое: то же, считай, Марсово поле, история тут сошлась, сюда молча приходить надо, совестливо — люди лежат, которые за нас, за живых, головы сложили... С того дня покой потерял. Что ни делаю, а все этот сквер в голове. Бросился я в архивы: нет ли там чего об этих ста четырех? Нашел протокол опознания, его составили, едва красные части ворвались в город, на окраинах еще бой шел. Потрясла меня в протоколе строчка. Одного из расстрелянных никто опознать не смог, так и записали: «Рыжий в подштанниках». Рыжий в подштанниках, и все! Но нет же, не безродный, не безымянный он человек, не должен он быть забытым ни нами, ни теми, кто будет после нас! Так и родилась тогда идея панно...

Художник изобразил на панно сцену опознания замученных колчаковцами большевиков. Беззвучно, онемев от горя, плачут над ними женщины в черном — матери, жены, сестры. Товарищи погибших, еще не остывшие от горячки боя, склонили над ними головы. Юноша с восторженным чистым лицом — сегодня он безоговорочно принял революцию. Неизвестный из толпы смотрит: так вот они, большевики, какие... В центре панно, в наиболее светлой его части сцена клятвы над телами убитых. Бойцы тесно, плечом в плечо, стоят как бы у самой братской могилы. Над каменными глыбами взметнулась к небу в последнем усилии рука с факелом, освящающим павших; эта часть возникшего в сквере имени Героев революции мемориального комплекса — работа неизвестного скульптора двадцатых годов.

* * *

Он говорит убежденно: «Все сделанное мной — это моя совместная с комсомолом работа», и в словах этих ни тени натяжки.



Скульптор А. ЧЕРНОБРОВЦЕВ.

С первого дня своего появления в Новосибирске он новосибирскому комсомолу свой человек. Его хорошо знают в школах города и области, в вузах, техникумах и пионерских лагерях: помощник областного комсомола в выполнении интересно намеченной программы эстетического воспитания молодежи (он считает ее своим кровным делом, ибо и в разработку ее вложил немало времени, выдумки и сил), Чернобровцев прочитал и продолжает читать множество лекций по эстетике и искусству. А еще не сосчитать, сколько праздничных вечеров он помог оформить и провести; не сосчитать почетных грамот, дипломов, памятных значков для участников различных областных конкурсов, которые выполнены по его эскизам. За эту работу берется он с такой же самоотдачей и страстью, с какой приступает к любой своей серьезной работе. «Я многим комсомолу обязан и теперь только возвращаю свой долг...»

Ребята в обкоме озабоченно спрашивают друг друга: «Ты не видал Чернобровцева?», если несколько дней кряду он не появляется в обкомовских коридорах.

Здесь, в товарищеских разговорах по душам, а подчас и в горячих полемических сшибках он лучше уясняет себе то главное, чем живет молодежь, которой он посвятил свое творчество.

Он говорит: вот так однажды, в хорошем, крепком товарищеском разговоре здесь, в одной из обкомовских комнат, у него окончательно оформилась идея еще одной его работы — монумента Славы, за который вкупе с панно ему и было присвоено звание лауреата премии Ленинского комсомола.

...Тридцать с лишним тысяч только новосибирцев-горожан, каждый десятый житель довоенного Новосибирска, не вернулись с полей сражений. Солдатские их могилы разбросаны на пространствах от Волги до Берлина, от скал Заполярья до берегов Адриатики. Мужеством своим эти тридцать тысяч заслужили солдатское право на вечную благодарность тех, кто остался жить.

Они незримо присутствуют здесь, на этой строгой и торжественной площади, открытой вольному обскому ветру. Вечный огонь памяти людской пылает над ними. К ним приходят молодожены. К ним несут новорожденных. Сюда приходят принимать первую свою присягу на верность родной земле новосибирские пионеры. Седая старая женщина, мать, похожая на всех на земле матерей, в немой скорби склонила голову.

«Помните!» — говорят строгие лаконичные формы монумента.

«Помните!» — взывают к живым тридцать тысяч врезанных в камень имен.

«Помните!» — в глазах старой матери.

Комсомольцы Новосибирска помогали скульптору восстанавливать по старым документам имена погибших, добровольно работали на сооружении монумента.

Он поднялся над городом символом благодарности павшим, клятвой сегодняшней молодости ничем не запятнать гордой славы отцов.

* * *

Мысль о портрете Маяковского родилась у Чернобровцева, когда ему предложили принять участие в оформлении кинотеатра имени поэта. Впрочем, сказать «предложили» будет не совсем точным. На работу, конечная цель которой — облагородить облик

города, как он сам говорит, Чернобровцев буквально напрашивается сам. Я знаю, как ему было самым форменным образом плохо, когда, проходя по улице, увидел он бесцветно оформленный край центральной площади города, примыкающий к гостинице «Центральная». Ему было стыдно за эту работу. Позже секретарь Центрального райкома партии Ю. И. Летюшкин сказал мне, что Чернобровцев сам, не ожидая ничьих предложений и никаких компенсаций за это, вызвался разработать вариант оформления площади.

Так что вернее будет сказать: мысль о портрете Маяковского возникла у Чернобровцева, когда он добровольно предложил свою помощь в оформлении кинотеатра, решением исполкома названного именем замечательного советского поэта.

Чернобровцеву никак не хотелось делать портрет традиционно-монументальным — это, по мысли художника, должен быть слепок с характера, с настроения поэта, из камня должно смотреть на нас живое, живой человеческой мыслью одухотворенное лицо. Маяковский должен встать у кинотеатра не элементом украшения проспекта — хозяином дома, который его именем назван. Вместе с панно это станет пересказанной языком художественных символов страницей нашей истории. Истории, на которой, по твердому его убеждению, должно воспитывать молодежь.

Если учесть его способность работать в мастерской по восемнадцати часов в сутки и посчитать, хотя бы бегло, количество найденных и им же самим беспощадно забракованных вариантов решения задуманного, легко представить себе, как он работает и каких сил стоит художнику эта работа, которая напряженно идет у него вот уже два года.

* * *

...Все мы — родом из детства, и самым лучшим, самым светлым и чистым в себе обязаны, по сути, ему. И счастливы среди нас те, кто до седых волос умеет сохранить в себе мальчишескую веру в добро, мальчишескую способность восторженно встречать прекрасное, каждый раз заново, взволнованно и восхищенно открывать для себя мир, видеть его радостным и светлым.

В детстве любого из нас обязательно было что-то такое, что одним из самых дорогих воспоминаний живет в нас всю жизнь, в трудные минуты согревая сердца.

У него самым праздничным воспоминанием о детстве, начинавшемся в Ленинграде и оборванном войной, остался существовавший в те дни по-своему уникальный Дом занимательной науки и техники.

Собственно, поначалу это был даже не дом — несколько тесных комнатенок в одном из старинных особняков на Фонтанке. Но приходить туда по утрам значило для ленинградских мальчишек каждый день встречаться с чудом. Здесь, среди подобранных с большой выдумкой и знанием ребячьей психологии экспонатов, в лабораториях, главным предназначением которых было разбудить в детях жажду познания, даже те, кто никогда всерьез не собирался посвятить себя инженерной или научной деятельности, начисто забывали о привычных мальчишеских развлечениях. В доме, инициатором создания которого был крупнейший и известнейший в нашей стране популяризатор науки Я. И. Перельман, с ребятами работали люди, верившие в необходимость своей работы так же

свято, как верил он сам. Многие ныне широко известные всему миру ученые начинали свой путь в науку в том доме; до сих пор с огромной благодарностью вспоминают они старый особняк на Фонтанке, где впервые открыли в себе неутолимую жажду знать.

Воспоминание о том доме, давно уже не существующем, многие годы хранилось где-то в самых сокровенных уголках его души. Однажды это завладело им безраздельно, как безраздельно берет его в плен каждая идея, за осуществление которой он берется.

Чернобровцев теперь, что называется, спит и видит возрожденным Дом занимательной науки и техники — прекрасное средство воспитания детворы. О чем ни говоришь с ним, с настойчивостью одержимого он все равно переводит разговор на этот дом, идея которого давно уже лишила его покоя.

Новосибирск — крупнейший научно-технический центр страны — благодатнейшее место для воплощения в жизнь этой, бесспорно, очень нужной, идеи.

В числе единомышленников Чернобровцева — областной комсомол, видные ученые не только Сибирского отделения АН СССР. Готов поддержать нужное дело областной комитет КПСС. Положительно отнесся к идее создания Дома занимательной науки и техники Центральный Комитет ВЛКСМ.

Дело это сложное, связанное в первую очередь со значительными капиталовложениями. И тут для дела начинаются трудности. С хозяйственниками, даже если они и романтики в душе, говорить сложно. А решать этот вопрос так или иначе надо.

Наверное, в число первоочередных, требующих уже решения, а не обсуждения проблем должен поставить вопрос о Доме занимательной науки и техники комсомол. Речь идет о воспитании подрастающего поколения — кому, как не комсомолу, принимать самое горячее участие в его судьбе?

* * *

...Когда от усталости начинает ломить виски и руки холодеют, он уходит из мастерской на улицы города. Он может бродить по нему часами. «Улицы города — вот главная моя мастерская. И мое полотно, на котором я, быть может, что-нибудь доброе и нужное для всех еще напишу».

Или он снова и снова отправляется «в обход» всех тех учреждений, организаций и руководителей, от кого в той или иной степени может зависеть судьба его идеи дома чудес.

Он старается жить так, чтобы ни дня, ни часа не уходило без пользы. Он вошел в прекрасную пору творческой и человеческой зрелости, он ощущает это в себе и хочет еще многое успеть сделать.

Ему все настойчивее кажется, что главная работа у него впереди. Наверное, так оно и есть. Так оно и должно быть, если человек — художник, а значит, творец, кем бы он по профессии ни был. Если он ощущает себя творцом.

Настоящий художник живет с этим ощущением до последнего своего дня.

г. Новосибирск



Анатолий **НИКУЛЬКОВ**

МОЛОДАЯ ЛИТЕРАТУРА СИБИРИ

Михайло Ломоносов сказал: «Могущество Российское прирастать будет Сибирью». Это изумительное по своей дальновидности пророчество сбывается на наших глазах.

Перефразируя ломоносовские слова, можно сказать, что ныне и литература советская «прирастает Сибирью». Среди наиболее активно работающих писателей много уроженцев Сибири, посвящающих и сейчас свое творчество родному краю, — Г. Марков, С. Сартаков, А. Коптелов, С. Залыгин, В. Шукшин, В. Распутин, В. Чивилихин, В. Лихоносов. Для примера достаточно и этих имен одних только прозаиков.

Сибирь притягивает к себе молодых писателей из Москвы и Ленинграда, из других городов Советского Союза. Исподволь, год за годом, сложилась коллективная эпопея, раскрывающая современную Сибирь.

В 1966 году ЦК ВЛКСМ и Комитет по печати при Совете Министров РСФСР приняли к 50-летию комсомола совместное постановление об издании пятидесятитомной библиотеки «Молодая проза Сибири». Поручено это было Западно-Сибирскому книжному издательству в Новосибирске. Основанием библиотеки послужили книги и рукописи, одобренные на зональных семинарах молодых писателей в Кемерове и Чите, которые были проведены ЦК ВЛКСМ и Союзом писателей РСФСР.

Одна из главных целей этого серийного издания — привлечь внимание молодежи к Сибири, которая так нуждается в молодых силах для освоения и строительства, для ускоренного развития.

Вышло уже около сорока томов. «Молодая проза Сибири» сложилась, обрела лицо, и, вероятно, пришла пора оглядеть в целом это интересное явление современной советской литературы.

Здравствуй, Димка! Здравствуй, Галочкин!

В романе Владимира Орлова «Соленый арбуз» действие происходит на комсомольской стройке — в тайге прокладывается железнодорожная линия. Автор достоверно и живо изображает обстановку, в которой приходится героям романа трудиться и в непролазной грязи, и при снеге с дождем, и во время осеннего разлива реки Канзыбы.

При этом два типа молодых людей сопоставляет автор. Букварь — очень чистый, чуткий к товарищам, но предельно наивный и несколько неуклюжий парень. Его безоблачное мальчишеское представление о действительности подвергается жестокому испытанию. Полюбившая Букваря Зойка, которая кое-что уже пережила в жизни, вовсе не соответствует идеалу любимой девушки, сложившемуся у него в голове. Он рискует жизнью, чтобы остановить взрыв скалы, а потом оказывается, что подвиг и не нужен был: начальник участка Кустов по телефону приказал не взрывать скалу, а гонца с письменным приказом послал только для перестраховки. Автор вместе со своим героем активно протестует против такого героического риска, который вызван не обстоятельствами, а бюрократизмом.

Букварь разочаровывается в Николае, хотя недавно видел в нем образец: «Как совместить смелость человека, энергию его, искренность с подлостью?.. Разве это может составить один цвет?»

Именно Николай является тем типом молодого человека, который противостоит Букварю. Он действительно смелый, энергичный, умеет прекрасно работать, но вместе с тем есть в нем цинизм, он эгоистичен, совершает подлость по отношению к любящей его Ольге.

Виталий Леонтьев следующим образом внушает Букварю свое понимание Николая:

«Ты, Букварь, представляешь людей одноцветными или хочешь, чтобы они были такими. А они многоцветные... Каждый из людей имеет в себе плюсы и минусы! Главное в жизни не контрасты, а полутона... Нет ничего более вредного, чем выдумывать себе идеалы...»

В образе Виталия автор воплотил ту философию, которая довольно сильно отразилась в молодежной, так называемой «исповедальной», прозе, но оказалась, в общем, недолговечной. Дело в том, что молодежь всегда тянется к идеалам. «Делать жизнь с кого?» — это извечная проблема 15—20-летних, и ни один нормальный юноша не обошел ее стороной. Ведь даже молодые отрицатели идеалов имели свой идеал в лице того или иного «отрицателя» взрослого, опытного.

Букварь пытается не столько преодолеть, сколько совместить философию Виталия со своей верой в идеалы. Николай остается для него образцом энергичного работника, но — «идеал оказался земным. Сущность Николая не изменилась от этого... Значит, надо увидеть в каждом... сущность и отклонения от нее».

И действительно, В. Орлов создает своих героев по этому умо-

зрительному принципу, вероятно полемизируя с теми произведениями, в которых господствовала голая схема положительных и безнадежно отрицательных образов. Но полемика здесь с литературной схемой ведется только при помощи схемы же, ибо речь идет не о глубинном исследовании жизни, а всего лишь о литературном споре, в котором каждая сторона заранее имеет свое суждение, под которое и подгоняет жизнь.

Итак, В. Орлов достоверно и впечатляюще отобразил трудовую атмосферу стройки, нашел, несмотря на полемическую схему, немало живых, интересных черт в своих героях, но настоящего образца среди них не обнаружил, потому что все они, имея прекрасную «сущность», обременены многочисленными «отклонениями».

Еще более запальчиво полемичен Олег Куваев в книге повестей и рассказов «Весенняя охота на гусей». В предисловии он декларирует свое кредо: «Меня всегда интересовали так называемые чудаки... Это люди, которые руководствуются нестандартными соображениями и, во всяком случае, не житейской целесообразностью поступков. В довольно неприглядной картине непостоянства кадров на Севере подавляющее число убывших составляют люди мелкой рациональности. А чудак поселяется прочно, он надежен в этом смысле».

Кто же это такие — «надежные» чудаки, на которых держится Север?

Вот начальник Кертунгской геологической разведки на Чукотке — «спившийся практик Гусенко, по кличке Пустые Гвозди... Настала пора зубастых юнцов с дипломами, он не смог устоять и так попал на Керуленг».

Вот Оспатый, который семнадцать лет отсидел за участие в убийстве и за побеги. Братка-тракторист «затундровал» здесь, то есть «не был способен ни к какой другой жизни, кроме нерегламентированного северного безделья и нерегламентированной же северной работы».

Но эти «чудаки», которым, кажется, действительно податься с Севера некуда, чуть намечены абрисом. Главные же чудаки — это Санька Канаев и его друг Муханов.

Саньку выгнали со второго курса библиотечного института за то, что три дня прогулял на дне рождения брата и «явился на лекцию, не совсем четко владея памятью и рассудком». Поступил продавцом в магазин «Радиотовары», стал жульничать, обирать покупателей, испугался возмездия и уехал в тундру за длинным рублем. А Муханов прослужил в армии пять лет вместо трех, «потому что был все время в штрафбате».

Муханова потрясла, переродила трагическая любовь. Для перевоспитания Саньки понадобилась гибель Муханова. Нормальный путь становления личности, без встрясок, недоступен этим «чудакам». Но автор пытается увидеть в них истинную общественную ценность. Потрясенный смертью друга, Санька вдруг оказывается ни с того ни с сего способным на отвлеченные обобщения: «Сгорели, рухнули, осыпались дощатые балаганы, но среди этого хаоса кто-то неумолимый сует ему в руку ведро с известкой и подает пудовый кирпич. И Санька должен взять этот кирпич, потому что в земле, на которую он сейчас его положит, лежат миллиарды тех, кто клал кирпичи до него, и после будут — еще миллиарды. Никуда не деться от этого высшего смысла».

Обобщение растет, и Муханов превращается в героическую фигуру: «Что мог сказать великий математик жизни брат Сема о людях, приспособленных для грузовика, которые погибли и будут гибнуть, ибо грузовик идет по первым дорогам? Что будет, если кончится род этих людей?»

Еще один «чудак» изображен О. Куваевым в повести «Чудаки живут на востоке». Славку направляют на работу как специалиста по норкам, хотя он видел этих самых норок три раза в жизни: два — в зоопарке, и раз — на препарационном столе. И тем не менее именно Славка спасает звероводческое хозяйство, раскрывая причину гибели драгоценных зверушек: он обнаруживает в желудках погибших норок неперевариваемые челюстные кости наваги.

Тот факт, что в специализированном хозяйстве не оказалось даже захудалого ветеринара, лежит на совести не столько руководителей треста, сколько автора. Ведь без этого упущения невозможно было бы восславить Славку и утвердить авторское кредо: не обязательно быть специалистом, важно быть «чудаком».

Автор вполне достоверен в описании Севера, у него вообще бойкий, увлекающий читателя стиль, он не отступает от правды жизни, подметив типы людей неприкаянных, общественно неполноценных, — ведь знаменитые «бичи» в Сибири и на Дальнем Востоке составляют определенную социологическую проблему, о которой не раз писала наша пресса.

Но все дело в том, что в оценке подобных типов автор безудержно субъективен. Как говорится, мерси за такую «надежную» опору на Севере! Снова поиски истинного героя не увенчались успехом.

Анатолий Приставкин в «Сибирских повестях» выступает скорее как очеркист, чем беллетрист. Он по-журналистски, на манер репортажа, характеризует своих героев лишь одной какой-то определяющей чертой, он документален и не стремится к организации сюжета, к психологическому развитию характеров. Зато А. Приставкин умеет ухватить важную деталь, заключающую в себе обобщение. На Братскгэсстрое он видит надпись на скале: «Плотину строим на века!» Лаконично описывает он прием в комсомол, и этот обыкновенный факт вырастает до характеристики целого поколения... Паренек, которого принимают в комсомол, рассказывает: отец в Петрограде встречал революцию, воевал с Деникиным, потом в Донбассе шахты строил. Мать организовывала на селе избу-читальню, в нее кулаки стреляли. Брат партизанил в тылу фашистов, другой брат на целину уехал.

«— Это ясно. Вы о себе говорите.

— Чего? Так я все время о себе».

Автор бегло набрасывает портреты людей, едущих на сибирские стройки. Он исследует не характеры, а мотивы, движущие людьми, и, в общем, каждый мотив раскрывает что-то главное в человеке. Пожилой «кругляччок» говорит:

«Ведь ты пойми, в молодости мечтали мы об этих станциях на Ангаре... А теперь вот я слежу да завидую: без меня работа идет».

У Нины отец — инженер-строитель, для нее работа на стройке — самое важное в жизни, сама жизнь. Тамара поехала в Братск потому, что в Ижевске, в общежитии, было скучно, карты да водка, нет настоящей, большой жизни. Москвич Володя

Гехт откровенно признается, что отработает здесь положенное после института время, накопит денег на машину — и навсегда в Москву.

Это беглое социологическое исследование в вагоне транссибирского поезда создает мозаичный портрет того поколения, которое ныне осваивает Сибирь. Но А. Приставкин не ограничивается мозаикой. В повестях «Найденный адрес» и «Здравствуй, Димка!» он подробней останавливается на одном типе молодого рабочего. Зовут его Несида.

Он прекрасно умеет работать, у него сильно чувство коллективизма, все заботы его только о делах бригады, которую он возглавляет. Если появляется на производстве помеха, то он устраивает скандалы начальству, может в сердцах разбить чернильницу, бросить заявление об уходе. Странным образом борясь за интересы коллектива, он как раз теряет чувство коллективизма, действует анархически, не считаясь с объективными возможностями.

Несида изображен внешне, только в поступках, во внутренний мир его автор не проник, но характер его в целом ясен, это жизненный образ, к которому А. Приставкин относится положительно.

Димка Минин — герой того же типа, что и Несида. Но отношение коллектива к нему уже более зрелое, чем бригады Несиды к своему бригадиру. На комсомольском собрании говорят о нем: «Ради работы Минин совершает любую глупость, как, например, недавно лег под гусеницы бульдозера, который у него забирали на другой объект... Ведь я понимаю, что он из честных побуждений. Но почему же от этого не лучше, а хуже получается, а?»

Несмотря на строгий выговор, Минина вскоре назначают прорабом, ибо ценят его энергию и преданность стройке. Автор в принципе одобряет и Димку: «Я о тебе много думал, хотелось все-таки понять: к чему были твои странности, кто ты, что ты и, главное, зачем ты? И я рад, что среди новых своих друзей я тебя тоже приветствую. Я говорю: «Здравствуй, Димка! Здравствуй как можно дольше!»

«Здравствуй, Галочкин!» назвал свой роман Гарий Немченко. В образе Мишки Галочкина мы узнаем те же черты, что у Несиды и Димки, но на сей раз характер раскрывается изнутри, прослеживается в развитии, в становлении мировоззрения.

Писатель с негодованием и предостережением наблюдает за теми, кто поневоле толкает Мишку на необдуманные поступки и горькие мысли. Однажды машины с плитами пришли на соседний объект, где не оказалось второй смены. Галочкин забрал их, бригада славно поработала, перевыполнила задание, а потом выяснилось, что плиты принадлежали другому тресту. Мишку за самовольство сняли с бригадиров, он обиделся и уехал со стройки. После подобных случаев у него и возникают горькие мысли: «Это только в газетах пишут, что жизнь нынче хорошая. А оглянешься — посмотреть не на что... Правды, например, разве добьешься? У нас же как? Не тот прав, кто прав, а тот, у кого больше прав».

Галочкин возвращается на стройку, с которой уже сроднился. Несмотря на недовольство некоторыми обстоятельствами, в нем прочно живет чувство хозяина своего дела, влюбленность в труд.

Мишка не очень разбирается в экономике, но человек он здравомыслящий. Мастер хочет сделать бригаде приписку в нарядах: мол, все равно в будущем месяце выполните эту работу, зато сейчас и процент, и заработок будут выше.

«— А зачем попу гармонь? — возмущается Галочкин.

В самом деле, в этом месяце в счет будущего начислят, в будущем плана не будет — из третьего брать придется. До конца семилетки не рассчитаешься. Хороший хозяин, тот, наоборот, на будущий месяц из теперешнего оставит, чтобы в случае чего заработок не упал.

— Ты мне работу обеспечь, — потребовал Галочкин. — А начислять авансом можешь своей теще...»

Г. Немченко раскрыл перед читателем обаятельный, своеобразный и одновременно типичный характер молодого рабочего начала шестидесятых годов, когда Несиды, Димки и Мишки Галочкины были необходимыми катализаторами в рабочих коллективах.

Повести А. Приставкина написаны лет на пять раньше, чем роман Г. Немченко. И если Приставкин не совсем еще ясно мог определить Несиду и Димку, лишь пытался разгадать их — «кто ты, что ты и, главное, зачем ты?», — то Немченко уже совершенно точно определяет общественную сущность своего Мишки: «Жизнь наша — та же великая стройка, и люди, подобные Мише Галочкину, — ее громадный резерв. Он, резерв этот, может стать могучей действующей армией, поведи его в бой Справедливость, Человечность и Доброта. Он может остаться нашей тревогой и несбывшейся нашей надеждой — без них».

Роман Геннадия Емельянова «Берег правый» написан менее проникновенно и психологично, чем «Здравствуй, Галочкин!». Он растянут в значительной степени за счет диалогов, часто пустых, лишенных внутреннего напряжения. Чувствуется переизбыток героев, многие из которых чуть обозначены. Если эскизность, репортажность в обрисовке людей у Приставкина органичны для его журналистского стиля, то в жанре романа это оборачивается серьезным художественным недостатком.

Г. Емельянов тоже останавливает свое внимание на некоторых типах и проблемах, которые мы встречали у Куваева, Приставкина, Немченко.

Валька — веселый, безалаберный парень, летун и драчун, похожий на куваевского Саньку. Но Г. Емельянов вовсе не намерен ожидать какой-либо романтической трагедии — несостоявшейся любви или гибели друга — для перековки подобной личности. Коллектив сурово, даже брезгливо, относится к Вальке, помогая ему, однако, понемногу обретать человеческий облик и, уж конечно, не видя в нем никакой романтики.

В самом деле, на фоне таких «героев», как «затундровевший» тракторист, Санька еще может сойти за романтическую личность: ведь на фоне худшего просто плохое выглядит порой вполне прилично. Но в нормальном рабочем коллективе подобный тип быстро обнажает свою истинную суть общественно вредного разгильдяя.

Есть в «Береге правом» образ Быкова, человека угрюмого и пассивного, но прекрасного производственника. Однажды пьяный Быков раскрывает перед комсоргом Вадимом душу, предъявляет свое требование к обществу: «Вы, начальство, кричите

в один голос: «Петя, вкалывай, жми нормы!» Вам от меня больше ничего не надо, место мне определили — работай... Ну а дальше?.. А я хочу мозги светлить, ясно?.. Ты вот ровной дорожкой шел, мне не довелось науками заниматься, без отца вырос... Почему же вы у меня такой кусок отбираете, сволочи! Я не хуже других, и я в полную силу жить хочу! Так научите!»

Если Галочкин находит разрядку для себя в бригадирской активности, то для замкнутого Быкова такого исхода нет. Но он формулирует требование, которое касается в принципе судьбы и Галочкина и Димки: «Научите!»

Главный герой романа «Берег правый» — комсорг СУ Вадим Катков. И уже одно это позволяет автору шире взглянуть на конкретные проблемы сегодняшнего строительства, на людей, ведущих его. В этом достоинство романа еще и потому, что образы комсомольских вожаков небогато представлены в серии «Молодая проза Сибири».

Правда, В. Орлов в «Соленом арбузе» пытался противопоставить бюрократу Кустову, чуть не сгубившему Букваря, начальника комсомольского штаба Зинченко. Но этот эпизодический образ не состоялся.

Зинченко пришел однажды к ребятам, сам перепробовал все виды работ, упрекнул молодежь за общественную пассивность — и ушел на другие объекты. И поведение его, и слова вполне заурядны, и только по воле автора они отложились со значением в сознании ребят: «Но вот слова его вошли в душу. И останутся там... Этот человек не стал им посторонним. Почему? Наверное, потому, что сам он приходит не к посторонним, а к своим».

В романе Г. Емельянова Катков — живой образ, выявленный во многих своих чертах, так же как и образ начальника СМУ Ивана Наумова. В них обоих есть что-то от неуемности, напористости и здравомыслия Мишки Галочкина, конечно, совсем на другом уровне. Как будто бы одна сердцевина у них, но только гораздо больше накольцевалось ствола.

Тот самый вскрик пьяного Быкова очень взволновал Каткова, он делает все, что в его силах, даже свыше сил, чтобы люди не только возводили завод, но и сами росли вместе с ним, получая все возможности для духовного развития. Образом комсорга ценен роман «Берег правый».

В повести Вячеслава Шугаева «Любовь в середине лета» действие происходит на целинных землях под Абаканом, в Хакасии. В отличие от некоторых сотоварищей по перу В. Шугаев тщательно работает над формой, сюжетом, языком. Отношения Валерки, Лены и Кости раскрываются то со стороны Валерки, то со стороны Лены, «монолог девушки» и «монолог повествователя» чередуются, герои оценивают не только себя и друг друга, но и фокусируют с разных точек зрения образ Кости.

Конечно, это не открытие автора, так был построен сюжет хотя бы «Лунного камня» Коллинза. Но тем не менее эта форма позволяет Шугаеву тонко и разносторонне раскрыть своих героев.

«Повествователь» Валерка относится к типу орловского Букваря, он такой же чистый, наивный, неопытный парень, он любит Лену и ревнует ее к мужественному Косте, отличному шоферу. Лена так думает о Косте: «Я завидую Косте, его привычке с интересом заниматься будничным делом. Ну что, действитель-

но, хорошего валяться в такую жару под пыльной машиной и методично ковыряться в разных железках? А у него это получается так осмысленно, с таким вкусом, что хочется немедленно заняться какой-нибудь, пусть маломальской, работой».

Но Костя — парень малокультурный; он, например, пишет: «Заевление... В прозьбе прошу не отказать». И Лена с издевкой и горечью думает: «Возвращаюсь с целины с Костей, являюсь домой и знакомлю с мамой: «Мой муж». Обморок, шок, инфаркт!» И все-таки, уезжая с целины, Лена ждет на вокзале именно Костю, который так и не пришел ее проводить. А Валерку она не любит, ей с ним неинтересно.

Если для В. Орлова Букварь в значительной мере приближается к образцу, то В. Шугаев отчетливо видит, что ребята такого типа еще не сложились как личности, не созрели для того, чтобы стать примером или даже просто быть достойными любви.

В другой повести — «Бегу и возвращаюсь» — В. Шугаев ставит проблему, традиционную для молодежной литературы: выпускники с дипломами вуза впервые входят в самостоятельную жизнь и сталкиваются со всякими непредвиденными обстоятельствами. Но традиционный мотив звучит достаточно свежо, потому что психологически убедительно показаны и постепенное разочарование Матвея в своем сослуживце Осипе, и история ненужной ссоры Матвея с женой Наташей, и воскрешение их любви, очистившейся от житейского сора.

И все-таки повесть была бы всего лишь еще одним вариантом темы становления молодого человека с высшим образованием, если б не образ Осипа. В повести Осип появляется добродушным, веселым рубахой-парнем. Он помогает Матвею освоиться на заводе, предлагает блестящее решение для проекта нового блока. Восхищенный Матвей берется вместе с ним разработать в чертежах и расчетах его идею.

Матвей выполняет свою часть работы, но Осип и не думает приниматься за свою. Зато сделанные Матвеем чертежи он спешит сам принести главному инженеру. Матвей отказывается работать с ним. Осип кается. Он очень любит каяться.

Когда-то в детстве отец, собравшийся бить его, рассмеялся: «Ладно, сопляк, не буду... За откровенность твою не буду. Вот так всегда и надо: скажи все честно сам, и будешь молодец».

В соответствии с отцовским советом Осип вырабатывает житейский принцип: «Главное, ребята, честно жить надо. Человек ошибается, но если искренне раскаивается в ошибках, он честен. Не надо темнить, ребята. Искренность — вот спасение».

Нет, это не образ примитивного интригана, это реально существующий среди нас тип демагога, паразитирующего на партийном принципе самокритики. Тем он вреднее, чем искренней верит сам в соответствие своей демагогии коммунистической этике.

Осип подло хочет заработать славу руками Матвея, а потом кается в этом. Он «честно» говорит любимой девушке Вале, что не знает, нужен ли им ребенок, когда ребенок скоро должен уже появиться. Он уходит от Вали расстроенный: «Нельзя же так на одного человека наваливаться».

Он даже страдает от своих «ошибок». Чтобы признаться в них, он идет домой к своему шефу Рундину, портит отдых пожилому, занятому человеку. Когда Рундин спрашивает его: «И вам не

кажется это бестактным?» — Осип искренне удивляется: «Я же извинялся». Наконец, когда Наташа, к которой он тоже пришел каяться в своей вине перед Матвеем, выгоняет его, он возмущен: «Чего им всем от меня надо?»

Смешон и жалок — и психологически очень точен — образ Осипа в этом финале. Он сам лезет ко всем со своими раскаяниями, а кажется ему, что это все лезут к нему с претензиями. Образ Осипа — в определенной степени открытие В. Шугаева.

Мы видим, что молодые писатели сосредоточились главным образом на нескольких типах своих сверстников. Это рабочие Несида, Димка Минин, Мишка Галочкин, сюда же можно отнести емельяновского Быкова и шугаевского Костю. Это наивные юнцы, вступающие в сложную жизнь, — Букварь у Орлова, Валерка у Шугаева, к ним можно отнести и несколько более зрелого Матвея из повести «Бегу и возвращаюсь». Это энергичные, внешне эффектные циники типа Николая, в котором В. Орлов все-таки увидел добрую «сущность», только с «отклонениями», и Осипа, которого В. Шугаев беспощадно и насмешливо развенчал до конца. Это, наконец, «чудаки», столь сочувственно изображенные О. Куваевым и осужденные Г. Емельяновым в образе Вальки.

Ни в одном из названных произведений эти выхваченные из жизни образы не исследованы так глубоко и ярко, чтобы стать литературными типами в том высшем смысле, в каком говорим мы о литературном типе у классиков. Ни один из молодых писателей не достиг той высшей степени обобщения, которое в конечном счете является самой главной целью художественной литературы. Но коллективно, отмечая то с одной, то с другой точки зрения то одну, то другую черту своих героев, авторы «Молодой прозы Сибири» все-таки создали несколько достаточно объемных портретов своих сверстников.

Нетрудно заметить, что писатели, оценивая один и тот же тип героя, вступают в спор между собой иногда с весьма противоположных точек зрения. Спор идет об общественной ценности того или иного героя.

В этой статье я часто употребляю термин «герой», но лишь как литературный термин, обозначающий действующее лицо произведения. В другом — этическом — смысле этот термин употребить не было повода, ибо героические личности, достойные того, чтобы с них делать жизнь, не появились на страницах названных произведений.

Может быть, в наше мирное, деловое время действительно нет истинных героев, которые могли бы служить примером? Может быть, так и есть, что все мы всего лишь люди, сочетающие по человеческой слабости «сущность» с «отклонениями», не больше?

Герои! Есть ли они?

Андрей Битов в повести «Путешествие к другу детства» решительно утверждает, что героев нет, а есть просто положительные люди.

«У меня все положительные... — скучно говорю я. — На отрицательных у меня сил не хватает». — «Да нет, — говорят мне, — я про других положительных говорю. Герои, маяки...

Неужели это вас не трогает?» — «Не знаю, — говорю. — Только героизм, по-моему, не черта, а проявление — в обстоятельствах... А так все люди обыкновенные».

Но вдруг писатель, от имени которого ведется повествование, вспоминает «с радостью и отчаяньем»: «Есть один! Как же я забыл!.. Вот уж положительный! Вот уж герой!.. Не человек — символ!» Писатель отправляется в командировку к этому герою, другу детства, молодому вулканологу Генриху.

Повесть построена так, что читатель сам, воочию так и не встречается с Генрихом, в оценке этого образа ему всецело приходится верить на слово вспоминающему о нем писателю. «Генрих начал моделировать свои подвиги в самом раннем возрасте». Тысячу один раз он поднял однажды лом, доведя себя до судорог, но поразив мальчишечью компанию. Еще в детстве ходила о нем легенда, что он прыгнул в море с Ласточкина гнезда в Крыму.

Как-то после института Генрих просит друга-писателя сдать за него экзамен по языку на кандидатский минимум. У него уже подготовлена диссертация, но завтра надо улетать на вулканы и необходимо сдать язык только сегодня и без осечки. В порядке упражнения он пытается прочесть заголовок «Нью Таймс»: «Нев Тимес».

«Я начинаю понимать, зачем я был нужен», — замечает писатель.

Но обстоятельства сложились так, что язык пришлось все-таки сдавать самому Генриху, и он получил четверку. Непостижимо? Не больше, чем прыжок с Ласточкина гнезда. Больше того, попробуй разобраться, читатель, почему это Генрих «два факультета кончил, самых сложных», но не может прочесть общеизвестный заголовок английской газеты, а писатель закончил в том же институте один факультет, «самый легкий», но английским владеет отменно! Чем больше мы вчитываемся в «дружескую» характеристику, тем яснее осознаем, что никакого живого образа не создано, что нам навязывают вместо человеческого характера лишь авторское мнение о нем.

О Генрихе пишут в газетах: «Шагающий в бурю», под рубрикой «Черты советского человека». А писатель говорит о себе: «И ни разу не попадал я на передний край — все какие-то задворки; ни почета, ни перспектив, ни даже выполнения плана».

Относится ли писатель к себе с иронией? Да, с доброй, любовной иронией человека, сознающего, что он правильно живет не напоказ, что у него хорошая «сущность» с милыми, безобидными «отклонениями». «Когда Генрих попал в извержение, у меня на буровой в утреннем тумане в зумпф с глиняным раствором упала и утонула коза». В то время как Генрих угодил в камнепад, писатель, служа в армии в должности писаря, выкручивался на следствии по поводу украденной банки с тушенкой.

Эти мелкие неприятности ничто в сравнении с героическим невезением Генриха, любой подвиг которого — ЧП с травмами, переломами рук и ног, с сотрясением мозга. А все потому, что знаменитый вулканолог живет напоказ, недаром же он вывесил самодельный плакат, «бьющийся на ветру»: «Наши вулканы — лучшие в мире!»

Такими методами А. Битов развенчивает героическую личность.

Д. И. Писарев однажды заметил: «Хорошие произведения представляют нам характеры и образы, посредственные — выражают стремления и воззрения авторов».

А. Битов всячески старается создать иллюзию достоверности, даже документальности происходящего. Писатель, от имени которого ведется повествование, подчеркнуто слит с авторским «я». Генрих именуется не иначе как Генрих Ш (вроде как зашифрована фамилия реально существующего лица), авторские воспоминания перебиваются цитатами из газетных очерков о подвигах Генриха Ш. Но вся эта не без блеска организованная литературная игра призвана затушевать, размыть тот факт, что как раз-то достоверного, объективно исследованного образа в повести нет.

Зато воззрения автора изложены подробно и четко. Даже есть специальная глава — «Рассуждение о подвиге и поступке»... В аэропорту, «на перевалке», писатель услышал рассказ молодой женщины с ребенком: она едет к лейтенанту, к отцу ребенка, который уже полгода не пишет ей, и она не знает, какая будет встреча; ей не хочется ехать к этому лейтенанту, но обстоятельства заставляют.

Некий прораб тоже услышал ее грустный рассказ и тут же предложил ехать к нему, заявив, что усыновит ребенка. Женщина немедленно согласилась и ушла с прорабом.

Автор восхваляет прораба за «п о с т у п о к, в подлинном и полном значении этого слова, и он тотчас перестанет им быть, если станет предметом самоутверждения и любования».

А кто такой, собственно, этот прораб, который создает себе семью «на перевалке»? О нем мы вообще ничего не узнаем, так же как, вероятно, и автор, кроме этого, внешнего, «поступка». А может быть, он просто хочет воспользоваться беспомощностью женщины? А что же это за женщина, которая с легчайшей легкостью идет за первым позвавшим ее мужчиной? Мало ей того, что она, должно быть, таким же образом доверилась и лейтенанту!

А. Битов пуще огня боится «самоутверждения и любования», предупреждает общество против них. Оставим в стороне «любование» — качество действительно нехорошее, — хотя битовский писатель явно не лишен некоторого любования собственным самоуничижением. Но дело в том, что «любование» — это вовсе не синоним «самоутверждения». А. Битов начисто забыл, что хотя бы писательская работа, в том числе и битовская, является сплошным самоутверждением!

«Когда я вижу проповедь силы и мужества и делание жизни по ним, мне всегда мерещится кошмарная слабость. Мужество Джека Лондона и Хемингуэя не убеждает меня... И как убедительно мужество физически слабых и больных людей, их жизнестойкость: она вынужденна, она оправданна. И стало мне даже казаться, что против бытующих представлений сильный — это слабый, и слабый — это сильный... И сильные оказываются вдруг человечны и слабы. И слабые жестокосердны и сильны».

Вот и еще одно воззрение автора. Силу он отождествляет с жестокосердностью. Мужество здоровых и сильных для него подозрительно, хотя история и современность дают тысячи примеров активной человечной доброты сильных и мужественных.

На первый взгляд кажется, что А. Битов мыслит хоть и

спорно, но все же смело и самостоятельно. А ведь на самом деле он просто завяз в кругу идей, связанных в нашем восприятии с образами Макара Девушкина и Акакия Акакиевича, которых, как известно, угнетала жестокая сила власть имущих.

Итак, А. Битов увидел в жизни героический характер, но взял его на подозрение и постарался развенчать.

Но герои все-таки есть на земле! И молодая литература увидела их. Интересно, что появились они не столько в беллетристических произведениях, главным образом в качестве художественно-обобщенных образов, а в произведениях документальных — в очерках, репортажах, интервью, — и оказались реально существующими людьми.

В изображении достоверных людей героического склада тон задал в «Молодой прозе Сибири» Владимир Чивилихин повестью «Серебряные рельсы», которая в 1966 году получила премию Ленинского комсомола.

Главный герой «Серебряных рельсов» — инженер-изыскатель трасс для железных дорог Александр Михайлович Кошурников. На нынешней линии Абакан — Тайшет есть станция Кошурниково, в Новосибирске его именем названа улица, а на здании «Сибгипротранса» водружена мемориальная доска с именами Кошурникова, Журавлева, Стофато.

Жизнь Александра Кошурникова сплошь состоит из «поступков», из действий удивительно целеустремленных. Еще в молодости, до войны, он прокладывал трассу Томск — Асино в тайге и трассу Рубцовск — Риддер в степи. В. Чивилихин широко, объемно изображает своеобразного, незаурядного человека, с бойцовским характером, с размахом.

В самый тяжкий год войны — 1942-й — Кошурников назначается начальником экспедиции по изысканию трассы Абакан — Тайшет. Вместе с ним идут Алексей Журавлев, инженер-изыскатель, только что закончивший институт, и Константин Стофато — молодой геолог, без опыта сложных походов.

«Можно ли построить дорогу по Казырской долине и сколько она будет стоить? Как проложить железнодорожное полотно через Тофаларию, по поднебесью?.. Удастся ли пробить тоннель через Салаирский хребет?.. Осилят ли строители сложный горный район у главного казырского порога Щеки? На эти вопросы должны были ответить три инженера, пройдя Саяны насквозь».

Изыскания не начались вовремя, в благоприятные месяцы, лишь потому, что во всем Новосибирске не смогли быстро отыскать сапоги. Экспедиции так и не дали палатку, вьючные мешки, даже вместо ведра пришлось взять кастрюлю. Шла война!..

По дневникам Кошурникова, позже найденным в его полевой сумке, В. Чивилихин динамично и эмоционально восстанавливает весь путь экспедиции. По напряженности и увлекательности действия «Серебряные рельсы» можно бы отнести к приключенческим произведениям, если бы не помнить постоянно, что это не майн-ридовские герои, а наши реальные современники, жители города Новосибирска.

Уже на выходе из Саян, завершив дело, все трое погибли. На глазах Кошурникова утонули в ледяной воде Казыра Журавлев и Стофато, а сам он умер на другой день от истощения и голода. Но задача была выполнена: «Изыскатели установили, что через Салаирский хребет можно бить тоннель, он не будет

слишком длинным... Главное же, трасса хорошо укладывалась по долине Казыра, левым берегом... Группа изучила реку, установила наличие местных строительных материалов, уточнила карту... Казырский вариант, таким образом, был изучен на год раньше, как того требовало военное время».

Вероятно, можно сказать, что подвиг — «это частный вид поступка», как говорит А. Битов. Но гораздо вернее определить подвиг как непрерывную цепь целеустремленных поступков, ибо подвиг всегда протяжен во времени, всегда приуготовлен, и лишь сугубо внешний взгляд воспринимает только самую высшую точку, вспышки, итог. Кошурников, Журавлев и Стофато утвердили себя на земле, в памяти людской. И чем же плохо такое самоутверждение? Ничтожен тот человек, который ничем не утвердил себя среди людей!

Могут сказать: что ж, Кошурников и его товарищи — это ведь опять же героическое время войны, когда подвиги совершались ежечасно. А вот где сегодняшние герои?

В «Молодой прозе Сибири» есть два коллективных сборника документальных произведений: «Будни романтики» и «Страницы открытия». Они точно отражают суть современной Сибири. Героев их можно увидеть воочию, факты, описанные в них, произошли такого-то числа в такое-то время.

«Будни романтики» открываются разделом «Фантастика без фантастики», содержащим интервью с ведущими учеными Сибирского отделения Академии наук СССР.

Академик Лаврентьев: «Если сказать в двух словах: Сибирь через 30 лет станет благодатным краем. Через 30 лет весь сибирский север будет оснащен современнейшей техникой с минимальным количеством обслуживающих ее высококвалифицированных специалистов».

Академик Трофимук: «В ближайшее время мы ожидаем крупных открытий на юге Сибирской платформы — в Иркутской области. Нетронутой целиной, но весьма многообещающей, является Тунгусская впадина».

Академик Аганбегян: «Если промышленный продукт Сибири через 30 лет превысит нынешнее производство всей страны, то электроэнергии этот край даст в несколько раз больше, чем теперь весь Советский Союз».

Таковы перспективы. Но сколько проблем надо решить, чтобы они стали явью! «Будни романтики» и «Страницы открытия» насыщены проблемами, сложнейшими, новаторскими, неотложными. Для быстрого освоения Сибири необходимо изучить особенности работы в этих условиях, физиологию труда на Севере... Мерзлотоведение, зимоведение, хладостойкость техники, городское строительство на вечной мерзлоте и среди обширных болот, освоение минеральных источников и лечебных грязей, которые эквивалентны кавказским и крымским источникам...

Проблемы, проблемы, проблемы...

«За границей нет опыта решения комплексных задач такого масштаба... Нам надо накапливать свой, абсолютно новый опыт», — утверждает писатель Д. Константиновский в публицистической статье «Первыми идут ученые».

Публицисты «Молодой прозы Сибири» с большой увлеченностью и знанием дела пишут об этих проблемах, обнаруживая

широту мышления, теоретическую подготовку, воодушевленность первооткрывателей.

Интересно, что даже такой сугубо информационный газетный жанр, как интервью, приобретает в наше время свойство психологического портрета. Вот интервью журналиста Л. Плешакова с начальником «Главтюменьгеологии» Юрием Георгиевичем Эрвье. Вопросы и ответы — больше ничего. Но через них предстает перед нами могучий облик Эрвье, одного из главных героев открытия тюменской нефти. Он прошел трудный путь борьбы за свои концепции, методы изысканий. Ему не верили, его пытались опровергать. Теперь он лауреат Ленинской премии, Герой Социалистического Труда, всемирно известный ученый и руководитель. В его жизни, пожалуй, ни разу не было эффектной вспышки, просто вся жизнь его была и есть подвиг.

Вот интервью с Б. Е. Щербиной, первым секретарем Тюменского обкома КПСС. Член ЦК партии, политический руководитель, он по-своему решает проблему отцов и детей, столь волновавшую недавно молодежную литературу. Для него эта проблема заключается в том, что он абсолютно уверен в молодежи, в ее энтузиазме и способности решать самые сложные задачи. Он говорит:

«Тюменская нефть» — молодежная стройка... Совершенно новый вид комсомольской ударной стройки.. Эта стройка будет поиском наиболее грамотных экономических, технических, инженерных решений. Наша молодежь — от рабочего до ученого и проектировщика — должна сосредоточить внимание на решении проблем технического прогресса. Только тогда Тюмень сможет стать современной ударной стройкой».

Человек современного склада мышления и методов руководства, он видит не только способность воспитанной партией молодежи грамотно решать сложнейшие задачи, но и ее энтузиазм — это истинно революционное качество.

«Энтузиазм был и остается главной особенностью освоения тюменской нефти. Сначала энтузиасты-ученые обследовали и доказали свои предположения о богатстве недр Западно-Сибирской низменности. Потом энтузиасты-изыскатели подтвердили своими открытиями выводы ученых... Сейчас энтузиасты-эксплуатационники ведут освоение нефти и газа».

Недаром ЦК ВЛКСМ наградил Почетной грамотой и переходящим Красным знаменем комсомольско-молодежное строительно-монтажное управление № 2 Севергазстроя Тюменской области за успешное освоение индустриальных методов сооружения промышленных объектов на Севере

Недаром управляющий буровым трестом в Сургуте А. К. Сабирзянов, один из героев очерка А. Мурзина «На огненных широтах», сказал:

«Честно, я не думал, что когда-нибудь наяву увижу картины подвига, знакомые по книге Николая Островского. Здесь вы их встретите на каждом шагу».

Не только в Тюмени — по всей Сибири ширятся эти подвиги. ВилюйГЭС впервые в мире строилась круглый год, в том числе в сорокаградусные морозы, когда ломается металл. Об этом пишет М. Биянова в очерке «Мы — ВилюйГЭС». История освоения самого северного в мире Мессояхского газового месторождения и прокладки трехсоткилометрового газопровода с левого берега

Енисея до Норильска отражена в очерке В. Левашова «Хроника факела».

Со страниц сборников встают живые герои, руками которых вершится самое великое преобразование века.

Вот шофер Женя Годованец из очерка Е. Берлинга «Северное притяжение». «Водитель! Твой груз ждут заполярные прииски. Ты должен выполнить 10 рейсов», — гласит надпись на его грузовике.

По бездорожью, «в белой тверди тумана» Женя ведет машину, стоя на подножке, потом падает на сиденье, сбрасывает газ и поворачивает ключ зажигания. Закрывает глаза, прижав к ним ладони, и, закинув голову, затихает.

«— Думаешь, можно ехать? — спрашивает он.

— По-моему, нельзя.

— Я тоже так думаю, — ворчит Женя. — В очках ничего не видно, без очков — тем более. Подождать, пока стемнеет? Темнеет поздно. Надо ехать».

И снова дорога в невесомости, двадцать три километра за три часа, не считая того, что еще приходится выкапывать машину, увязшую в сугробе. Женя спрашивает единственного своего спутника, журналиста:

«— Ну а тебе-то какой резон было ехать? Романтику ищешь? Знаешь, что мы везем?

Я оценил его тактичность: «мы везем» — не «я везу».

— В кузове — колбаса. «Свиная домашняя» и эта — как ее? — «краковская», кажется. Колбаса и ничего больше. Ну, поехали».

Но от колбасы этой зависит самочувствие и работоспособность людей на заполярных приисках. И вот десять таких рейсов, с тушенкой, может быть, с сахаром. Воистину будни романтики! Насколько значительней, героичней этот очерково обрисованный реальный Женя по сравнению с художественным образом шофера Кости из повести В. Шугаева!

А вот еще один герой В. Берлинга — начальник объединения «Северовостокзолото» В. П. Березин. Его смена — 14 рабочих часов, меньше не получается даже по субботам. И «отгула» попросить не у кого — сам начальник.

Он усовершенствовал форму рукоятки для кайла и лопаты, он пробивается в пургу на вездеходе, чтобы помочь горнякам. «Он живет на земле 52 года, из них... 59 работает. Да, да, тут нет арифметической ошибки. Действительно, у него в пересчете на обычный, «материковый», стаж 59 трудовых лет».

На вопрос журналиста он отвечает:

«В чем секрет работоспособности? Секрет, секрет... А я их считаю, эти рабочие часы? Ну, занимался бы я делом, которое не было бы по душе, тогда, наверно, замечал бы время. Сколько, говоришь, в среднем получается, четырнадцать? Ну, восемь часов я сплю. А где еще два? Надо будет проследить, куда они уходят...»

Автор очерка, завершая портрет Березина, человека, с которого действительно можно делать жизнь, приходит к справедливому обобщению: «А если счастье — это исполнение желаний, то ведь он действительно счастлив: пожелал, чтобы была Билибинская атомная, — и она строится, пожелал, чтобы был прииск «Ленинградский», — прииск есть. Будут и еще прииски, электростанции, дороги, порты... Уж таким создан человек, что радости

его — огромные, из железа, бетона и дерева. А другого счастья он себе не представляет».

Альберт Лиханов в своей книге повестей и очерков «Осенняя ярмарка» пристально всматривается в современных комсомольских работников, в «племя делателей».

Володя Севаков, заместитель заведующего отделом пропаганды Новосибирского обкома ВЛКСМ, сделал все возможное и невозможное, чтобы спасти от смерти тяжко заболевшую девушку Катю Ершову.

Вася Панихидин, член бюро Ордынского райкома ВЛКСМ Новосибирской области, секретарь комсомольской организации совхоза, утверждает тот же принцип, что и Володя, когда организует проводы в армию трех призывников: «Часто комсомольские секретари заражены манией масштабности: вот если бы, мол, человек двадцать-пятьдесят — стоило бы устраивать проводы, а тут всего трое... Не стоит силы тратить. Вася считает, что силы надо тратить, если речь идет даже об одном человеке».

В эмоциональной и броской повести «Воинский эшелон», основанной тоже на документальных фактах, А. Лиханов продолжает исследование типа современного комсомольского вожака. Новосибирский обком ВЛКСМ стал посылать с эшелонами призывников своих представителей, комсоргов обкома. Одну такую действительную командировку А. Лиханов изображает в повести. Он словно впрямую полемизирует с битовским пониманием героической личности.

Комсорг обкома в эшелоне начинает поневоле свою деятельность с того, что приемом самбо «раскладывает» двух подонков, правда, тут же подумав о том, что первый секретарь обкома, «наверное, сказал бы, хмурясь: «Что-то новенькое в комсомольской работе».

Затем ребята начинают испытывать комсорга на интеллект, на остроумие, и дело кончается тем, что наиболее ярых остряков он привлекает к выпуску стенгазеты под названием «Мама, не рыдай».

Любой повод, веселый или трагический, комсорг использует для объединения ребят, для того, чтобы воздействовать на каждого, не упуская ни одного. Возможно, А. Битов нашел бы в этом образе черты столь подозрительной для него «героичности», даже суперменства. Ну а почему комсомольский вожак должен быть лишь солидным изрекателем истин или недоразвитым симпатягой типа Букваря? Почему он не должен обладать столь привлекательными для молодежи мужеством, остроумием, умелостью и спортивностью? Не будь таких, как герои А. Лиханова, то хулиганы и бюрократы давно бы «затюкали» не одного современного Акакия Акакиевича.

Ю. Г. Эрвье, В. П. Березин, Женя Годованец, комсорг совхоза и комсорг эшелона — это люди разных масштабов, но одного «племени делателей». Этот тип наиболее активной в нашем обществе личности, которая движет прогресс во всех направлениях, уже основательно раскрывается в документальной прозе, но пока робко осваивается в обобщающих художественных жанрах романов и повестей.

Окончание следует

Василий ФЕДОРОВ

НЕДОГРУЗКА УМА И СЕРДЦА

(ЗАМЕТКИ ОБ ЭСТЕТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ В ШКОЛАХ)

Эстетическое воспитание — часть гражданского воспитания. Это не роскошь, не привилегия только тех, кто прочит себя в поэты, художники или артисты. Без идеалов красоты не может быть по-настоящему активного гражданина и бойца. Программа красоты и совершенства — программа длительная, не для одной человеческой жизни, а для многих поколений. Значит, чувство красоты закладывает в человеке и чувство преемственности — качество, особенно ценное в наше время, когда движение вперед сопровождается еще не всегда оправданными потерями.

Не последнее место в эстетическом воспитании занимает поэтическое слово. Оно приходит к человеку еще в дошкольном возрасте, пробуждая его интерес не только к высокоорганизованной речи, но и к особому ви́дению мира. Хорошо, когда именно в этом возрасте закладываются художнические основы будущего поэта — музыкальный слух (обязательно внутренний), обостренный взгляд (не обязательно буквальный), в обыкновенном подмечающий необыкновенное, особенно в связях вещей, событий. Одним словом, в это время еще неосознанно начинают лепиться таинственные контуры мира.

Казалось бы, в этом начальном звене художественного воспитания у нас более или менее дело обстоит благополучно. Не в практическом плане воспитания, а в плане наличия воспитательного материала. У нас есть детская литература, и довольно богатая. Есть имена детских писателей, широко известных не только в нашей стране. Вместе с тем у литературы для детей, главным образом в ее поэтической части, имеется, на мой взгляд, один существенный недостаток. Ведущие поэты, работавшие в этом жанре, — К. Чуковский, С. Маршак, работающие сейчас — С. Михал-

ков, А. Барто, создавали и создают свои произведения преимущественно на городском материале. По существу, деревенские дети, а они составляют добрую половину наших детей, находятся вне поэтического мира той трудовой, производительной природы, которая окружает и которую помогла бы раскрыть им поэзия. Конечно, «Дядя Степа» полезен и для деревенских ребят, но окружающая их жизнь могла бы породить своего, более близкого и понятного им героя.

Мне уже приходилось высказывать эти претензии к детской поэзии. Кое-кто оспаривал мою мысль тем, что деревня, мол, идет к городу, а поэтому деревенских детей надо готовить к этому. Но, во-первых, процесс этот долговременный. А пока поэзии предлагают часто ходить поверх детских голов. Во-вторых, стирание граней между городом и деревней эти товарищи видят прежде всего в вопросах культуры и быта, что обнаруживает слабость и городской поэзии для детей. Действительно, она акцентирует свое внимание на быте, нечасто выходя на природу, а если и случается такое, то природа чаще всего бывает дачная, то есть тоже по-своему бытовая.

В качестве примера приведу такой факт. Кто из нас, более старших, не помнит знаменитую елочку: «В лесу родилась елочка, в лесу она росла»? Из букварей и детского обихода она ушла давно. Возможно, эта елочка и устарела. Не стал бы оплакивать ее, если бы поздней в букварях не появилась другая, далеко не лучшая:

Елка наша, елочка,
Колкая иголочка.
Фонарики-огоньки,
Золотые светлячки.

В этой безобидной на вид смене елочек уже видна порочная педагогическая тенденция: от природы — в комнатный мир.

Природа всегда была и будет одним из главных эстетических цехов человечества. Для пользы воспитания куда лучше, если бы в поэзии для детей перевес был на стороне природы — земли и хлеба, реки и леса, то есть всего того, что окружает сельских детей. Большой интерес ко всему этому полезно пробудить и в городских детях. Теперь уже не только деревне надо идти к городу, но и городу пора делать заметные шаги к деревне в смысле его приближения к природе.

Те же недостатки художественного воспитания обнаруживаются и потом, когда ребенок садится за букварь. Мне пришлось просмотреть множество букварей, хрестоматий и учебников для более старших возрастов почти за все годы Советской власти. Заметно, что в их поэтической части они модернизировались не в лучшую сторону. Из них постепенно уходила педагогическая классика, на которой воспитывались многие поколения. Сколько игры, будившей детскую фантазию, было в стихотворении о лисе, бежавшей по лесу, и тетереве, сидевшем на дереве.

— Слушай, батюшка Терентий,
Я ведь в городе была
— Бу-бу-бу, — бормочет птица, —
Ну была так и была.

— Слушай, батюшка Терентий,
Я приказ там добыла.
— Бу-бу-бу, — бормочет птица, —
Добыла так добыла.

— Чтобы вам, тетеревам,
Не сидеть по деревам,
А гулять кто где захочет
По зеленым по лугам.

Здесь все живо и предметно, здесь не просто поэзия, а еще и зачатки драматургии. Есть характеры, столь нужные для детской игры, есть загадка, которую ребенку радостно разгадать. Куда клонит лиса? И разгадка приходит к ребенку из новой игры лисицы и тетерева. Мне кажется, мотивы модернизации поэтического состава букварей были вульгарно-социологическими. Иначе чем можно объяснить появление в одном из них такой примитивной сухомятины:

Фабричный цех, колхозный стан
К труду всегда готовы,
Ведь каждый выполненный план —
План достижений новых.

Неужели в нашей богатейшей поэзии не оказалось лучшего стихотворения на ту же тему? И до сих пор в общелитературном и поэтическом воспитании детей мы не пользуемся всем богатством нашей литературы, а ограничиваемся лишь небольшой кладовой одного цеха. Вы открываете «Звездочку», нечто вроде детской хрестоматии наших дней, и видите, что русская классика фигурирует в ней более чем скромно, а из современных авторов в ней представлены лишь «приписанные» к детской литературе, главным образом члены объединения детских писателей Москвы. Составители вроде бы стеснялись кого-нибудь обойти. Объединение одной писательской организации, хотя и столичной, — слишком маленькая база в огромном деле литературного воспитания.

Не лучше обстоят дела и в старшем школьном звене. В литературном образовании десятиклассников не меньше недочетов. Об этом, в частности, говорит вторая часть хрестоматии для десятого класса, составленная С. Н. Громцевой и П. Ф. Рощиным. И потому на ней стоит остановиться подробней.

Недостатки литературного воспитания в нашей средней школе сегодня совершенно очевидны. Они заметны даже у тех, кто приходит к нам в литературу со своими первыми опытами. В средней школе должны закладываться основы литературных вкусов, знание главных узловых моментов в общем процессе развития литературы через конкретные произведения, главных отличительных черт творчества во времени как отдельных писателей, так и общих тенденций, продиктованных нашей жизнью и временем. Формально задача создания учебников и хрестоматий по литературе, на мой взгляд, состоит в том, чтобы при экономной подаче материала сохранить связи времен, избежать случайности и второстепенности.

Если посмотреть на «Хрестоматию» С. Н. Громцевой и П. Ф. Рощина с этих позиций, то мы обнаружим в ней много недостатков. Прежде всего она не восполняет недочеты существующего учебника А. Дементьева и других, не однажды критикованного на наших литературных форумах не только за отсутствие анализа, но и за отбор имен и произведений.

Например, Демьян Бедный, Н. Асеев и М. Светлов представлены в «Хрестоматии» характерными для них стихами: у первого читаем «Мой стих», «Проводы», «Главная улица», у Н. Асеева — «Марш Буденного», «Синие гусары», отрывок из поэмы «Лирическое отступление», у М. Светлова — «Рабфаковке», «Песня» («Ночь стоит у взорванного моста»), «Песня о Каховке». Конечно, не следовало бы ставить рядом две светловские песни, но все же все три поэта представлены здесь хоть и скупо, но сравнительно разнообразно. Сомнение возникает в другом. На своем ли месте стоит Демьян Бедный? Правда, он открывает вторую часть «Хрестоматии», чем подчеркивается его старшинство в этом ряду, но все же этого мало. Демьян Бедный по праву основоположника советской поэзии должен был бы стоять в первой части «Хрестоматии», рядом с А. Блоком, В. Маяковским и С. Есениным.

Демьян Бедный не только веха в нашей поэзии, отошедшей в прошлое, но все еще живое слово. С его именем связано целое направление, в котором действуют активные приверженцы политической сатиры — Сергей Михалков и Сергей Васильев. Думаю, что и жанр басни в наше время возродился, не минуя опыта Демьяна Бедного.

Но вернусь к первой мысли. Если Д. Бедный, Н. Асеев и М. Светлов представлены более или менее удачно, то состав стихов следующего за ними Вл. Луговского вызывает сомнение. Слов нет, «Песня о ветре» и «Курсантская венгерка» выдержали испытание временем, а вот цикл стихотворений «Большевикам пустыни и весны» с позиций поздних завоеваний Вл. Луговского выглядит риторичным:

Потом приходит юный агроном,
Ему хотелось подкрепиться сном,
Но лучше сесть, чем на постели лечь,
И лучше храпа — дружеская речь.
В его мозгу гектары и плуги,
В его глазах зеленые круги.
Берись за чайник, пиалу налей.
Да здравствуют
Работники полей!

Поздние завоевания «Солнцеворота» и «Середины века» в «Хрестоматию» не вошли по формальным причинам, поскольку этот поэт имеется лишь в разделе «Поэзия 20—30-х годов». То же самое произошло и со многими другими авторами, работавшими и в 20—30-е годы, и в годы войны, и уже в наше время, А. Твардовским, А. Прокофьевым и другими, представленными лишь в каком-нибудь одном периоде, отчего лучшие вещи, сделанные в другие периоды, остались вне «Хрестоматии».

Вероятно, тот же принцип сказался на отборе стихов Н. Тихо-

нова. Опубликованы три его стихотворения, созданные в 20-е годы, в том числе «Баллада о гвоздях» и «Баллада о синем пакете». Оба эти произведения написаны в одном ритме, в одном размере, что может вызвать представление об однообразии художественных средств поэта.

Дмитрий Кедрин представлен «Зодчими» — лучшей своей вещью. Но почему после него поставлен прозаик Николай Островский? В таком случае не надо было называть раздел, в котором они помещены, «Поэзия 20—30-х годов». Это заглавие, надеюсь, не носит метафорический характер? Что же касается самого материала («Мой день»), то он в творчестве Н. Островского не главный. Этот материал мог бы с успехом дойти до учащихся через преподавателя, рассказывающего об обстоятельствах жизни мужественного писателя, а в «Хрестоматии» надо дать образец того, что сделало Н. Островского известнейшим советским писателем.

Экономия не всегда на пользу делу, когда речь идет о литературе. Алексей Толстой представлен отличным очерком начала войны «Родина», но для такого большого писателя-художника этого явно недостаточно. Видимо, и здесь сказался принцип «этапности». Дескать, фигурирует писатель в разделе «Литература периода Великой Отечественной войны» — и хватит, поскольку его художественные произведения выпадают из этого периода. Кстати, поэзия военного периода представлена очень бедно — тремя стихотворениями А. Суркова, тремя — К. Симонова, тремя — М. Исаковского и одним — С. Орлова. Нет «Василия Теркина» А. Твардовского, без которого невозможно в полной мере оценить поэзию военных лет. Вероятно, для полноты картины следовало бы, наконец, нарушить классический канон единства времени и места. Забегая вперед, замечу, что А. Твардовский подан в главе «Литература 50—60-х годов» двумя главами из поэмы «За далью даль» — «Две кузницы» и «На Ангаре». Это было бы хорошо, если бы не за счет «Василия Теркина». В данном случае «жилплощадь», выданную в «Хрестоматии» поэту, можно было бы использовать к выгоде поэта и учащихся. Слишком очевидно, что две названных главы из поэмы «За далью даль» дают широкую картину грандиозного строительства, развернувшегося в нашей стране. Они дополняют друг друга, но это в самой поэме, а для «Хрестоматии» можно было бы обойтись главой «Две кузницы». В ней уже отражена грандиозная картина стройки.

Сергей Орлов представлен отличным стихотворением «Его зарыли в шар земной», но едва ли справедливо, что из поэтов военного поколения он выделен только один. Рядом с ним нет ни А. Недогонова, ни М. Луконина, ни С. Наровчатова, ни Сергея Смирнова, ни других, значение которых в нашей поэзии не менее значительно.

Примерно то же происходит и с поэзией 50—60-х годов. Здесь А. Твардовский, о котором я уже говорил, А. Прокофьев, С. Щипачев и Я. Смеляков. Собственно, как поэты все они сформировались в 20—30-х и 40-х годах, поэтому выдавать их за поэтов 50—60-х годов можно лишь с большой натяжкой, лишь постольку, поскольку они в эти годы продолжали работать. Не случайно все стихи С. Щипачева и Я. Смелякова, напечатанные в этом разделе, в нарушение периодичности помечены датами

40-х годов. Лишь у А. Прокофьева стихи помечены 60-м годом. Но в составе его стихов уже знакомый составительский грех тематического и ритмического однообразия. Тема России в творчестве Александра Прокофьева занимает одно из первых мест, но это не значит, что он решает ее лишь с прямым адресом, как представлено в «Хрестоматии». На мой взгляд, было бы достаточно дать «Стихи о России», а за счет соседнего «Со мной была и есть Россия» дать другие образцы его поэзии, например:

Да, есть слова глухие,
Они мне не родня,
Но есть слова такие,
Что посильней огня!
Они других красивей —
С могучей буквой «Р»,
Ну, например, Россия,
Россия, например!

Ведь если однотемные стихи стоят рядом, то второе стихотворение обязательно должно быть в новом ключе, в новом повороте.

Отмеченные мной недостатки в составе «Хрестоматии» слишком заметны, чтобы не пожелать исправления их. В нынешнем виде она не выполнит до конца своей воспитательной задачи.

У Дидро в «Племяннике Рамо» имеется очень интересный разговор о художественном воспитании. Философ отдал свою юную дочь в балетную школу. По этому поводу между Рамо и Дидро происходит следующий диалог:

«Он: Э! Пусть ваша дочь плачет, страдает, жеманится, будет слабонервной, слабой, подобно другим, лишь бы она была красива, интересна и кокетлива. Как! И танцам не обучаете?

Я: Не больше, чем надо, чтобы делать реверанс, держать себя прилично, выступать с достоинством, иметь *грациозную походку* (курсив мой. — **В. Ф.**).

Он: Пения — нисколько?

Я: Не больше, чем нужно для хорошей дикции.

Он: Музыку совсем побоку?

Я: Если бы нашелся хороший преподаватель гармонии, я охотно поручил бы заниматься с ней часа два в день в течение одного-двух лет, не больше».

Вначале я говорил, что недостаток литературного воспитания заметен даже на молодых, начинающих писателях. Но литературное воспитание нужно не только для них, оно нужно для всех, чтобы выработать как общую норму чувство нравственной красоты, душевную отзывчивость на все доброе в жизни, пробудить в молодых людях творческое начало, столь необходимое для нашего настоящего и будущего.

Школа, разумеется, не делает поэта, но пробуждает тот интерес к поэзии, который может сказаться поздней. Ранний интерес к поэзии имеет подлинное поэтическое основание и ложное. Его можно пробуждать огненными стихами Лермонтова и сентиментальными — Апухтина.

Сам Лермонтов в смысле формирования поэта дает нам поучительный пример. В двадцать шесть лет он уже достиг своей творческой вершины, ставшей потом образцом для поздних по-

колений. В четырнадцать-пятнадцать лет он уже толковал «Гамлета» — одну из самых сложных трагедий Шекспира. После «Гамлета» ему было уже доступно все, то есть он разрубил для себя тот гордиев узел, после которого стали постижимы хитросплетения человеческой психологии.

На это мне скажут: «Лермонтов — гений, а гения нельзя ставить в общий ряд». Гений — да, но Лермонтов прежде всего человек, которому удалось воспользоваться человеческими реальностями.

Часто можно слышать и такие утешающие возражения: «Наш век обрушивает на головы наших девочек и мальчиков такой поток информации, что надо опасаться за их здоровье». В том-то и беда, что мы преподносим часто детям в школе информацию, а не то, что научило бы их разбираться в ней. Вот и учебник А. Дементьева, и «Хрестоматия» С. Н Громцевой и П. Ф. Рощина содержат лишь беглую информацию о литературе, а не ее анализ. Даже огромные статьи о поэтах страдают информационностью, боязнью коснуться острых и поучительных моментов в их творчестве. А ведь если бы десятиклассник разбирался в «Черном человеке» С. Есенина, то ему не надо было бы объяснять жизнелюбивые строчки поэта:

Слишком я любил на этом свете
Все, что душу облекает в плоть.

Главный воспитательный грех таких учебников, как учебник А. Дементьева, «Хрестоматия», да и некоторых учителей перед своими питомцами — это недоверие к ним. Оно проявляется, как я уже отмечал, не только в плане недооценки общих способностей учащихся, но и в недоверии к морально-нравственному опыту старшеклассников. Авторы учебников, составители хрестоматий, вероятно, и преподаватели вполне доверяют шестнадцатилетнему Лермонтову, написавшему о своей любви уже в прошедшем времени:

Не верят в мире многие любви
И тем счастливы; для иных она
Желанье, порожденное в крови,
Расстройство мозга иль виденье сна.
Я не могу любовь определить,
Но это страсть сильнейшая! — любить
Необходимость мне; и я любил
Всем напряжением душевных сил.

А вот в «Хрестоматии» для десятых классов среди многих стихов нет ни одного стихотворения о любви, хотя десятиклассники старше автора строк о напрасно растраченных мгновеньях, проведенных у ног любимой. Вряд ли такое ограждение уже взрослых людей от прекрасной неизбежности способствует эстетическому воспитанию в школе. Природа, конечно, внесет поправки в школьное образование. Природе не помешали тысячелетние поповские проповеди о первородном грехе. Но, не получая добротной пищи для своего естественного любопытства, не имея возможности сформировать свои чувства на высоких образ-

цах, иные, как мы знаем, обращаются к сомнительным источникам.

После всего сказанного напрашивается общий вывод: в нашей средней школе происходит недогрузка ума и сердца в самом активном возрасте.

Вернусь к поэзии. Как видим, позднее формирование поэтов сопряжено с поздним формированием личности вообще. Но это одна сторона дела. Другая сторона — в общем уровне поэтической атмосферы. Поэта школа не сделает, но школа — аудитория для поэта. Если вкусовой уровень аудитории низок, то и требование к поэту низкое. Происходит как бы взаимное поощрение в отсутствии вкуса. После чего нам приходится прибегать к целой системе специального литературного образования: Литературный институт, при нем Литературные курсы, а также к таким мероприятиям, как кустовые и всесоюзные совещания. Вероятно, все эти меры нужны в любых условиях, но зато ни в Литературном институте, ни на семинарах не приходилось бы тратить время на исправление ошибок эстетического воспитания, допущенных в наших школах.





КРАСОТА, РОЖДЕННАЯ ТРУДОМ

Только с подлинной любовью к деревне, с серьезным ее знанием, с постоянным интересом к ее судьбам приходит глубокое понимание социальных изменений, сложных процессов и проблем деревенской жизни.

Об этом думаешь при знакомстве с новой книгой Федора Абрамова «Деревянные кони»*, изданной в Ленинграде. Она открывается повестью «Пелагея», рассказывающей о судьбе далекой северной деревни. Главная героиня повести, зареченская пекариха Пелагея, прожила сложную жизнь. «Как время-то бежит!» — не раз думает она и часто сравнивает не такие уж давние годы войны и трудные послевоенные с нынешними. И верно подмечает: «Все было сейчас иным, чем раньше, в ее время». Небывалые для прежних лет заработки. Смех телятниц на ферме... Чего не хохотать, они не выворачивают руки, как Пелагея, когда без машин приходилось управляться. И ушли, далеко ушли те времена, когда трудно жилось, когда на власти буханки утверждалось благополучие Пелагеи, ее, как она считала, превосходство над людьми... Теперь Пелагея не в силе. По ее же догадке: «не в ладах с жизнью», «выпала из телеги».

Драматическую сердцевину повести и составляет внутренний крах Пелагеи. Для нас этот крах тем достовернее, что сам автор занимает как бы отстраненную позицию: жизнь, люди, отношения увидены словно бы только глазами Пелагеи. Писатель не мешает самой героине обнаружить свою сущность, но тщательно ставит выразительные вехи на пути ее человеческого падения.

Сильная, целеустремленная, «железная» Пелагея — отменная труженица, когда-то лучшая доярка в колхозе. А теперь она пекариха, да такая, что каждую буханку, как ребенка, ласкает руками, чтоб была белой, румяной, красивой. На исходе жизни шла она проститься со своей

* Ф. Абрамов, Деревянные кони. Л., «Советский писатель», 1972.

пекарней, где в работе сожгла свое здоровье, шла, и «всю дорогу какая-то незнакомая, но такая славная музыка нарастала в ее душе». Пелагея любила работать, даже от близкой смерти она пытается защититься работой. Но натура человека-труженика извращена в ней страстным накопительством. И если бы только им! Накопительство, как и поиски кривых дорожек в жизни, — лишь средство «выйти в люди» (в ее искаженном понимании). В жертву этому ненасытному стремлению приносит она и мужа, и свою женскую честь, и собственное здоровье, и труд. В ее сознании незаметно для самой Пелагеи «нужные» люди превращаются в единственно уважаемых и стоящих людей. Она находит множество способов «кадить и маслить» перед такими. И хотя язык Пелагеи при этом безбожно улещивает нужного человека, но в мыслях она честит «борова и кобелину Губана Ваську»... Так Пелагеин мир делится на «нужных» и «ненужных», а мораль ее сводится к убеждению, что «всегда кто-нибудь кого-нибудь надувает».

Трудно оправдать безнравственность Пелагеи. Но в мужественных, правдивых раздумьях ее о своей жизни нам открываются сложные причины, породившие такой противоречивый характер.

«Какова березка, такова и отростка». Неожиданной для Пелагеи стороной раскрывается правота этой пословицы. «И если им, Амосовым, — думала Пелагея, — суждено когда-нибудь по-настоящему выйти в люди, то только через Альку». Но не чистым золотом, как мечталось, а материнским позором и горем стала для Пелагеи дочь. Главная надежда, главный капитал, а на самом деле самый страшный просчет матери. Пустым перекати-полем, без корня, без нравственных скреп вырастает Алька. Намного увеличит она перечень попранных Пелагеей ценностей...

Выразительным эпилогом заканчивается повесть. Здесь авторская скороговорка точно соответствует равнодушной Алькиной поспешности, с которой та отвела поминки по родителям. Приехав уже после похорон, сбыла она с рук ненужное ей тряпичное добро, когда-то высосавшее силы Пелагеи, заколотила дом, оставила на родительских могилах «венки с яркими бумажными цветами» и укатила в город: ей не хотелось упустить веселое и выгодное место на пароходе.

Особняком от других, сразу после «Пелагеи» поставлен в сборнике рассказ «Однажды осенью». Героиня его, телятница Зина, — как бы одна из вариаций характера Пелагеи. Основа рассказа — явное, может быть даже слишком явное, противопоставление двух натур. Хорошей или плохой? Как часто у Ф. Абрамова, ответ далеко не однозначен, хотя авторские симпатии вполне определенны. На хозяйственную, разумную Зинаиду приятно смотреть, особенно когда она в работе, — так ловко и споро делает она любое дело. Подобно Пелагее, для нее очень важно утвердить свое превосходство над другими. А рядом — такая неустроенная, житейски беспечная Шура, с ее нерасчетливой добротой, с нерастраченным простодушным интересом к людям, ко всему вокруг: при ней вдруг ожив-

ляются обычно несловоохотливые кавалеры Зинаиды и наперебой вспоминают интересные истории, несут небывальщину. И хватило одного застолья, чтобы доброта Шуры оттенила сердечную глухоту такой положительной, казалось бы, Зинаиды...

Цельность книге, а в ней девять произведений, придает прежде всего ясно выраженное, единое для всех них авторское стремление всесторонне исследовать современный крестьянский характер. И даже в том случае, если писатель обращается к прошлому деревни, далекому или близкому, это обращение к истории не самоцель. В нем выражается стремление осмыслить на большом временном отрезке судьбы сегодняшнего человека. Писателя волнует минувшая война (рассказ «Материнское сердце»), тревожит остывающая у иных в сутолоке будней сердечная забота о памяти павших в революционных боях (рассказ «Могила на крутояре»), радует немеркнущая красота народной жизни (повесть «Деревянные кони»).

Повесть «Деревянные кони» — самое лирическое произведение в книге. Здесь утверждается дорогой автору цельный, активный характер русской женщины.

Жизнь Милентьевны постепенно, случай за случаем, воссоздается ее словоохотливой невесткой Евгенией. Такой художественный прием позволяет самой героине оставаться немногословной, что вполне в ее натуре, которая тем ярче выявляется в ее неустанных, сегодняшних и прошлых делах. Рассказывая о человеке, обычно отбирают самое значительное и характерное. Так поступает по авторской воле и Евгения, отчего повесть обретает емкость — большая жизнь умещается на немногих страницах. Кстати, и Евгения, перебирая прошлое свекрови, раскрывает в то же время и себя саму.

Другой «вспомогательный» образ — заезжий человек в Пижме. До встречи с Милентьевной он более всего оберегает обретенный здесь покой, заповедную тишину, которую нашел для себя в этой далекой северной деревушке. Самая большая для него радость — бродить по огромному деревенскому дому, открывать его забытые богатства, любоваться старой утварью. В финальной же главке тот же рассказчик снова наедине с собой. Но как разительно изменились его устремления! «После отъезда Милентьевны я не прожил в Пижме и трех дней, потому что все мне вдруг опостылело, все представилось какой-то игрой, а не настоящей жизнью; и мои охотничьи шатания по лесу, и рыбалка, и даже мои волхвования над крестьянской стариной. Меня неудержимо потянуло в большой и шумный мир, мне захотелось работать, делать людям добро».

Таким зарядом активности заряжает Милентьевна не только рассказчика, но и ту же Евгению, — ее «будто живой водой спрыснули». Так же когда-то ожила и вся деревня Пижма с приездом в нее молодой Василисы Милентьевны... Оживают, кажется, и сами вещи, окружающие ее.

Все внимание и любовь автора отданы в повести главной героине, чей образ создается немногими, но резкими мазками. А оттого особенно весом нравственный

урок, который мы выносим из жизни «безвестной, но великой в своих деяниях старой крестьянки из северной лесной глухомани». Вот почему только рядом с Милентьевной оживает красота «берестяного и деревянного царства»: «после того, как я познакомился со старой хозяйкой этого дома, я сделал для себя еще одно открытие. Сегодня я вдруг понял, что не только топор да нож мастера этой красоты. Главную-то обточку и шлифовку все эти трепала, серпы, пестери, соха прошли в поле и на пожне. Крестьянские мозоли обкатывали и полировали их». Жизнь Милентьевны помогает постичь рассказчику ту истину, что красота всегда об руку с трудом, с неустанным, деятельным добром. Ведь именно так и были «вскормлены» Милентьевной те знаменитые деревянные кони, что венчают пижемские дома.

И прав рассказчик, с острым беспокойством вдруг осознавший, что не в пассивном любовании прекрасным подлинное приобщение к красоте. Множить ее дано только тем, кто, подобно неутомимой труженице Милентьевне, делает и «будет делать людям добро до своего последнего часа», для того, чтобы не скудели поля, не скудел и сам человек. И только тогда живет красота на земле. Только тогда можно услышать молодое заливистое ржание деревянных коней.

С. МАРТЫНОВА

«ВСЯК В ЭТОТ МИР СВОИ ПРИМЕТЫ ВНЕС...»

Эта строка абхазского поэта Константина Ломиа вспоминается при знакомстве с книгой, изданной в Сухуми *. Ведь коллективный сборник тоже своего рода «мир», и в стихах мы ждем именно самобытных примет. Авторы «Синего края» — из Абхазии, пишут они на русском языке, для большинства из них это издание — первое выступление в книге.

Говоря о ней, не стоит, очевидно, приводить стихи к общему знаменателю. Для поэзии важно, насколько проявилась в ней личность и затем насколько та личность интересна.

С этой точки зрения наиболее весома в сборнике подборка Владимира Саблина. Правомерно, что и вся книга названа строкой именно из его стихотворения:

Небо южное синее-синее,
Словно мальчик его рисовал!
Вместо кисточки — веточку пинии
Прямо в синее море макал.
. . . .
Синий край...

Порой наивная, но всегда истинная свежесть пронизывает стихи В. Саблина. Он живо ощущает вечные мотивы человеческого бытия, и они

* «Синий край». Одиннадцать поэтических голосов. Сухуми, «Алашара», 1972.

естественно входят в современный материал.

Просветленные, а не угрюмые,
От дневного всего в стороне,
Мы сидим у огня,
многодумные,
Что-то вещее видя в огне.
И когда начинает мерещиться,
Что смешалось былое и
новь —
К нам скуластой языческой
грешницей
Из огня выплывает Любовь...

Когда у любви такое земное — «скуластое» — обличье, то это насыщает отвлеченное понятие живой, именно огненной кровью.

Способность изумляться обыденному сама по себе не такая уж добродетель: когда эта склонность декларируется, то она превращается в удобный инфантилизм, устами коего якобы «глаголет истина». Взять, допустим, подборку Льва Любченко. В его стихотворении (которым, кстати, начинается сборник «Синий край») есть обращение к поэту: «ты обязан быть непохожим». И автор ревностно исполняет обязанности, вмененные поэту, стремится удивляться и удивлять, выделиться оригинальным-де отношением к обиходным явлениям. Вот Л. Любченко, описывая, как выращивают табак, суммирует: «тяжко, трудно культуру возделывать эту». Утверждение очевидное, и мы ждем поэтического осмысления, которое придало бы этой фиксации своеобразное освещение. Ждем и... встречаем такое:

И что я подумал:
Закурит пижон сигару.
И труд этот адский
превратится
В ненужный пепел.

Этот «вывод» намекает на глубинность взгляда, но глубина здесь мнимая. Славя «тему труда», автор не дает себе труда даже слова подобрать точные. «Культуру возделывать» — это сказано громоздко и газетно.

В итоге позиция поэта превратилась в позу. Подобная подмена видна и в стихотворениях «Эй! Поэт века двадцатого...», «После долгого перерыва...», «У наших поэтов психоз берез...». Автор озабочен тем, чтоб предстать парадоксальным, но, стремясь к этому, лишь утрачивает поэтичность.

Удивленность для поэзии — это лишь исходный толчок, который способен привести в действие эмоции, интеллект, знания. В таком случае врожденная непосредственность поэта оттеняется зрелым опытом; и это образует свежие, интересные строки — в частности, в стихотворении Владимира Саблина «Виноград».

Лучшее из стихотворений Владимира Саблина — «Я загораю на пляже...». Человек собирает камешки на берегу моря, и вспоминается ему его военное детство, когда он из рогатки сшибал такими камешками («ядрами») птиц...

А поздним вечером мама
Варила из птичек ужин.
Скудный военный ужин,
И Гитлера проклинала...

Остановись автор на этом — уже получилась бы достаточно впечатляющая картина. Но поэт ведет дальше и глубже:

Теперь мне давно
за тридцать,
И я загораю на пляже,
И самые круглые камни
Бросаю в море...

Пронзительный итог! Человек пытается возвратить морю камешки, утопить их, чтобы не было убийств. Так

зернышко детства очнулось в зрелом сердце и проросло светлым словом. Здесь уместно обратиться к стихотворению Л. Любченко «Рабочий стол». Автор упрекает «людей» в верхоглядстве, ибо они якобы считают поэта бездельником потому только, что видят его днем за столиком в кафе, а не за письменным столом. Вряд ли, во-первых, стоит подозревать людей в столь примитивном представлении о творческом процессе. «Я и празден совершенно, но какие-то штрихи наплывают постепенно, собираются в стихи», — заметил как-то Вл. Гордейчев. Так что достоинство поэтического труда утверждается не намеками на ночное усердие, но результатами труда: о яблоне мы судим по плодам. Поэтому, очевидно, не смущается «праздностью» загорающий на пляже лирический герой, ибо само стихотворение дает практический ответ на вопрос, что есть поэзия.

Заметить это необходимо потому, что в сборнике «Синий край» изрядно стихов, трактующих именно пресловутую «формулу таланта». «Сижу, задумался над словом...» (Н. Патулиди), «Легла на плечи тема веским грузом...» (А. Чучин), «Лепить вот эти чертовы стихи!» (Борис Гейне) и т. д. и т. п. Беда не в теме, разумеется; беда, что решена тема тривиально. Никого не надо уговаривать, что поэзия важна и нужна, ибо риторика не убеждает; необходимы вещественные доказательства, но в названных стихах доказательств не предъявляется. Н. Патулиди завершает раздумье «над словом» опять же общими словами: «Шагнет ли в жизнь оно, как добрый друг?» Увы, вопрос этот безмятежно риторичен, в нем нет ни тревоги, ни движения; неподвижность же, естественно, не увлекает.

Подобная склонность к созерцанию довольно-таки популярна у авторов «Синего края». «Всю ночь бесился ураган», но утром он... стих — этим исчерпывается одно из стихотворений Н. Патулиди. «По узкой тропинке, заснеженной вьюгой, бредет человек» в стихотворении Г. Николайшвили. Приходит он к выводу, что «дорога, как вечность, длинна». Когда мы говорим о движении, то имеется в виду не только физическое перемещение. В поэзии движение — это духовный взлет, развитие чувства, мысли. А когда отказываются от такого развития, то вместо поэзии остаются рифмованные строки, авторы попросту фиксируют очевидные вещи и мысли. «Пусть в других наша жизнь повторится!» — заклинает Г. Николайшвили. Но это же объективный закон! — так зачем лишь декламировать в его пользу, не внося в его осмысление ничего личного? «Юность не кончается», — делает открытие Б. Гейне. На таком же уровне философствует и С. Заславский: «Все это было, все это будет — утро и вечер. Люди уходят, рождаются люди — жизнь бесконечна!»

Вспомнив «дорога, как вечность, длинна», увидим, что авторы подобных стихотворений свое мировосприятие замкнули в плоский круг трюизмов. Конечно же, не все вещи названных авторов ограничены прилежным повторением пройденного, но склонность к созерцанию наружных слоев жизни делает вяловатыми и их небезынтересные стихи.

Правда, у этой созерцательности есть специфическое обоснование, которое условно можно назвать «географическим». С. Заславский, в Заполярье вспоминая родные ему места, пишет: «Наш юг здесь кажется фантазией ребенка». Конечно, издали виднее внешняя красочность, но поэтам надо бы видеть и глубинные слои. Абхазия («Апсны» — «Страна души») — край действительно яркий, но этот местный колорит, похоже, вводит в заблуждение, будто достаточно «отразить» зеркально то, что имеется, и поэзия сама собой образуется. Жизнь, мол, сама за себя говорит: «Большой, правдивой простотой проникнут день, проникнут вечер...» (Жанна Федина, «Осень»). Бесспорно, только в правде жизни начало поэзии. Но чтобы она проявилась, необходимо жизнь в стихе озвучить.

Специфика материала сама по себе поэзии не создает. Необходимо, чтобы в стихах чувствовалась оригинальная натура. Именно благодаря такому участию личности интересно большинство стихотворений, которые написал Эдги Дзыба (в первую очередь «Дерево», «Машина куклу раздавила...», «Автобус», «Дожди, дожди по улицам спешат...»). Эти произведения и подборка Владимира Саблина — удачная доля сборника «Синий край».

А это немало: в поэзии ведь приходуется не количество... И потому смысл таких изданий, как коллективный сборник, не только в том, чтобы представить широкий круг авторов. Важно, что некоторые из них обнаруживают «приметы» поэтической личности настолько интересные, что это дает им основание готовиться к встрече с читателями в самостоятельной книге. Сборник «Синий край» достиг такой цели, и в этом его осязательная польза.

Сергей РИММАР

НАЙДИ СЕБЯ

Автор предпослал своей книге * слова Льва Толстого: «Мне кажется, что со временем вообще перестанут выдумывать художественные произведения... Писатели, если они будут, будут не сочинять, а только рассказывать то значительное или интересное, что им случалось наблюдать в жизни». Анатолий Зябрев имел право на такой эпиграф, потому что он «выработал» свое художественное произведение не только за писательским столом, но и на собственном опыте — в рукавицах разнорабочего, с вибратором бетонщика, в шлеме монтажника.

Однако мы ошибемся, если посчитаем зябревских «Строителей» просто одной из находок мемуарно-документального потока. Книга Зябрева художественна своим точным, сугубо писательским отбором характеров и обстоя-

* Анатолий Зябрев, Строители. Енисейские тетради. Красноярское книжное изд-во, 1972.

тельств, внешне спокойным, деловым, но в подтексте искренне эмоциональным тонусом всего произведения. Чувствуется, что творческая помощь большого мастера (книга посвящена Михаилу Алексееву) не прошла втуне, не исказила индивидуальность начинающего литератора, а, напротив, выявила, раскрыла ее.

Для манеры Зябрева неважна красочность, колоритность типажей. В описаниях своих героев он нередко ограничивает себя, довольствуется лишь одной-двумя деталями. Да еще притом не гонится за деталями особенными, броско индивидуальными и оттого запоминающимися. Он ищет детали точной характеристики — социальной и профессиональной. Он где-то готов в таких случаях даже повториться, и три «тетради», из которых состоит книга, — «Записки разнорабочего», «Записки бетонщика» и «Записки монтажника» — выглядят как своего рода три вариации одной темы.

Главный герой книги А. Зябрева — это Труд.

«Тысячи дней. Крупная часть моей жизни. Столько я отработал на стройке. Тысячи дней? Что они дали мне?» — так вопросом к самому себе заключает книгу лирический герой. Вопрос этот он вправе задать, потому что все ответы на него уже даны в «тетрадях» Толи.

Какие же это ответы?

Наверное, это прежде всего усвоение Толей той простой, но кардинальной для правильного отношения к своей личности и судьбе прекрасной истины, что жизнь складывается из дней, которые полноценно заполнить может только труд, что настоящая жизнь — это труд. Для человека, как когда-то объяснил К. Маркс, в процессе деятельности труд становится потребностью не только в качестве способа добывания средств к жизни, но и в качестве способа утверждения себя как родового существа.

Поиск себя, своего места в жизни, смысла своего существования насущен для каждого поколения юношей и девушек, кончающих школу и выходящих из-под родительской опеки. Одни легко, органично переступают этот рубеж, другие — мучительно-больно, с ушибами совести и разбитой душой: «Кто я? Зачем живу? В чем смысл моего бытия? И для чего я? Все, что имеет ценность, выполняет в этом мире какую-то функцию. А моя функция? Моя задача?» Все эти или подобные вопросы к себе пестрят на страницах личных дневников (не обязательно опубликованных, чаще тайно хранящихся в столе) девяти-десятиклассников. Так что Толя — герой Анатолия Зябрева — тут не только не одинок, но выражает свое поколение.

Мы обычно говорим, что у выпускника школы отсутствует жизненный опыт. Но ту же мысль, пожалуй, вслед за героем Анатолия Зябрева мы должны понять и в другом смысле. А именно: выпускник школы часто не осознает еще и личностные жизненные обязанности. Истинный опыт — это прежде всего путь к осознанию своих обязанностей (а значит, и своего места, своей важной роли) в коллективе, в самом народе.

«Я здесь научился долбить мерзлую землю, бросать землю лопатой, тесать бревна, вбивать гвозди, пилить лес,

укладывать бетон, монтировать турбины и генераторы»; «Я научился узнавать людей. Во всяком случае, я учусь узнавать людей», — рассуждает Толя, и за этими его простыми рассуждениями как раз и стоит сложное, «комплексное» познание своего «я» в труде.

Первые шаги — всегда самые трудные, и на первый взгляд далеко не героические, и никак не связанные прямо с моралью, совестью, нравственностью, с социальным самоутверждением подростка Толи в большой жизни. Сначала он, разнорабочий, просто-напросто долбил ломом мерзлую землю: «Примечаю, если удар глухой, то отковырнется комок, если звонкий, то ничего не отковырнется — лом угодил в большую гальку. Приметил другое: если размахиваться не прямо, а описывать дугу кувалдой, то устанешь не так быстро и не так сильно ломит руку между локтем и кистью». Потом Толя освоил профессию бетонщика: «В руках у тебя двухпудовая толкушка вибратора; изогнувшись, втыкаешь ее с силой в самую вязкость, нажимая всем телом, и дрожишь... дрожишь, сливаясь с дрожью машины...»

Конечно, Толе трудно осваивать новую профессию, трудно просто работать каждый день с полной отдачей сил, войти в трудовой ритм. Но преодоление этих трудностей — одно из предварительных условий радости: самой большой человеческой радости — удовлетворения от содеянного, от участия в общем деле.

Анатолий Зябрев убедительно показывает, как такое удовлетворение рождает у подростков новые чувства, новые для него понятия. За простым восклицанием «Я учусь узнавать людей!» стоит целая школа понимания человеческих взаимоотношений, понимания, что движет каждым из встреченных на твоем пути людей и каково твое место среди них. «Рядом со мной сидит Саня Граф, — записывает Толя. — Я не вижу его, только слышу, как он тяжело дышит. Он тоже смертельно устал. Я чувствую, что ему тоже хочется узнать, скоро ли конец ночной смены, и тоже лень лезть в карман за часами. Не поворачиваясь, я спрашиваю: «Сколько нашего?» Он ворочается, кряхтит и отвечает: «Семнадцать минут». Я подумал: «А если бы он спросил меня, полез бы я в карман? Безусловно. Интересно: для себя не хочется делать, а для другого сделаешь, и без труда. Не в этом ли смысл коллективизма?» Так на этой, казалось бы, мелочи доказывает нам автор, что герой его книги уже научился понимать большой смысл, стоящий за обыденными поступками.

Величайшая в мире Красноярская ГЭС дала стране не только электричество. Она дала всему нашему народу и материал иной, несравненной цены — ясные души молодых парней и девушек, узнавших здесь чувство локтя в труде и сам смысл преобразующего труда. «Я смотрю на этого сонного смешного парня с Украины, на Федю, на Валерку, на Соню, Зиновьевича, Митьку, Кешу, на Женьку... и в груди рождается какая-то теплота. Мы — родня. У нас одна судьба», — сделает для себя вывод Толя, и это будет не просто вывод, а твер-

дая, непоколебимая интернационалистская убежденность личности, выграненной рабочим коллективом.

«Я волнуюсь и думаю за всю планету», — поймет Толя. И в тон, в лад ответит ему друг Женька: «Здесь центр Земли... А журавли — со всей планеты — вокруг Енисея, вокруг Дивногорска, вокруг нашего общежития, комнаты, вокруг нас, вокруг меня... Я умею притягивать журавлей. Мы умеем притягивать журавлей, сердца людские... Ладонями. Вот этими жесткими ладонями. И чувствами. Добрыми чувствами...»

Да, очень хорошую, настоящую комсомольскую книгу издали в Красноярске; и очень хочется порекомендовать ее всем тем, кто готовит себя к большой жизни и ищет совета, как ее по-настоящему, по-корчагински начать!

Александр БАЙГУШЕВ

РОМАНТИКА ПОДВИГА

Было ли место романтике там, где весь смысл человеческого бытия сводился к тому, чтобы выжить, выстоять и в конечном счете победить?

Да, было. И ответом на этот вопрос является книга летчика-штурмовика Героя Советского Союза Василия Емельяненко «В военном воздухе суровом» *.

...Каждый день уходили на штурмовку ИЛы, и часто на аэродроме кого-то недосчитывались. Этот кто-то был прежде всего человеком, со своими радостями, горестями и печалями, сидел рядом за столом, ел, можно сказать, из одного котелка, рядом спал, шутил, пел, уходил на задание молодым, здоровым, цветущим человеком, которому мать-природа готовила долгую жизнь. А жизнь оказалась такой короткой:

Он не дожил, не долюбил,
не допил,
Не доучился, книг
не дочитал...

Василий Емельяненко описывает фронт, но за строками, словно за спиной фронта, зримо встает тыл, тот самый тыл, который поставлял самолеты, молодых, неоперившихся летчиков взамен не вернувшихся с задания, кормил, поил, одевал — все вместе это называлось подвигом, потому что подвиг начинался задолго до того, когда ему предстояло свершиться. И вся книга Василия Емельяненко — это взволнованное исследование существа подвига, где смерть, словно тень, неотступно следует за жизнью и где до самой-то смерти не то что четыре шага, а неизмеримо меньше, ничтожно мало.

Часто гибель одного летчика влекла за собой и несчастье других. Не зря, видимо, в журнальном варианте («Наш современник») Василий Емельяненко назвал свою

* Василий Емельяненко. В военном воздухе суровом. Документальная повесть. М., «Молодая гвардия», 1972.

повесть «Крыло в крыло». На земле это звучало бы так: «Плечо в плечо», «плечом к плечу», потому что и в поле, и в небе, да и в море — один не воин. Подвиги свершали отдельные люди — такие, скажем, как летчики-штурмовики 7-го гвардейского полка Талыков, Мосьпанов, Холобаев, Зуб, но в целом-то это был народный подвиг, и принадлежал он не одиночкам, не безликой массе, а советскому народу. Это главное. Вот почему на монументах, стелах, обелисках и просто на каменных плитах, установленных возле заводских проходных, в селах и на городских площадях, теперь поименованы все, кто остался на полях большой войны. Так должно быть: «Вечная слава павшим в бою за честь, свободу и независимость нашей Родины!» Так есть и так будет всегда. Подвиги свершались летчиками в воздухе, но рождались они на земле. В основе их было не озарение, не просветление в час смертельной опасности, а долгий путь к мастерству, постоянное совершенствование военного искусства, сила воли, отвага и жажда мщения. Не зря же в Великую Отечественную войну синонимом слову «партизаны» стало выражение — народные мстители.

Вот как рождался подвиг в небе:

«На следующий день Холобаев сказал:

— Задачу полку не отменили. Противник переправляет танки и продвигается на Майкоп, Туапсе. Командование требует, чтобы мост был разбит! — и припечатал крепко сжатым кулаком по столу...

— Ну, как пойдем? — спрашиваю Талыкова, имея в виду маршрут полета.

— Как бы ни идти, лишь бы мост разбить. — Он резко повернул голову, глянул мне в глаза: — Если и на этот раз бомбы мимо, развернусь и врежусь самолетом...»

Разговор происходил на земле, а летчики жили уже в небе и принимали решения.

«— И бомбы сбросим не по инструкции, а метров с двухсот, а то и пониже... Ну, брякнет взрывной волной, пусть и дырки от своих осколков будут. Зато точнее попадем...»

И вот он, подвиг:

«Показался мост — медленно наплывает на нас. На обоих берегах — скопище войск. Планируем на малых оборотах, направив носы штурмовиков на цель. Медленно теряется высота. А зенитки молчат. Хорошо... Ну, пора начинать. Выпустил «эрэсы» по дальнему берегу, заработали пушки, затрещали пулеметы, а мост уже в прицеле. Палец ложится на кнопку сбрасывателя бомб. Высота — четыреста... По привычке чуть было не нажал. «Бомбить ниже!» Секунда, еще одна, еще...

...В шлемофонах потрескивает, и тут знакомый сиплый голос истребителя:

— Молодцы, «горбатые», попали в цель!»

«...Сзади меня «девятка» плавно ложится то в правый, то в левый крен, грациозно выполняя «змейку». Я ценю это и понимаю, как сейчас хорошо на душе у Талыкова».

Вспоминается Гастелло, и верится, что толкнула его на дерзкий шаг выверенная с математической точностью мысль, что на нашей земле враг и этот враг должен быть уничтожен любой ценой, пусть даже ценой собствен-

ной жизни, потому что без этого немыслима победа, без победы немыслима сама жизнь. Все повязано намертво, и от этого никуда не уйдешь: война не воздушный парад, не праздник, а работа, изнурительная, тяжелая, но — работа. И еще работа мысли.

Работа мысли, когда приходилось доводить новое оружие сразу после боя в условиях полевого аэродрома, ремонтировать, а проще — латать изрешеченные пулями и снарядами самолеты.

Работа мысли, когда обстановка требовала от летчиков, чтобы они немедленно освоили новый самолет, и не в условиях летного училища, а опять-таки в бою.

Работа мысли, когда старые тактические схемы и построения отмирали на глазах и на глазах, буквально в каждом бою, рождались новые. И так день за днем: выстоять, научиться воевать и победить.

Первая штурмовка летчика Холобаева на Березине так же отличается от его боевых вылетов, скажем, в Сальских степях, как таблица умножения от логарифмической линейки.

Суровую книгу написал Василий Емельяненко, но такой суровой была и действительность. Сам трижды сбитый — по существу, трижды простившийся с жизнью, — он, наверное, лучше, чем кто-либо другой, познал и почувствовал радость бытия.

«Делаю «горку», и тут же снарядом ударило по мотору, в лицо, как из пульверизатора, полетели водяные брызги. Сбавил обороты, чтобы не перегружать поврежденный двигатель, скорость резко уменьшилась. Мои ведомые один за другим проскочили вперед, и вскоре я потерял их из виду.

...В ушах почему-то навязчиво звучало: «Сатана там пр-р-равит бал, там пра-авит бал!..»

Чувство обреченности овладело мною. Положил подбородок на сложенные перед лицом ладони, бездумно уставился в одну точку. А все вокруг было освещено солнцем, цвела степь. Перед глазами покачивалась былинка, и по ней как ни в чем не бывало неуклюже ползла божья коровка. Добравшись до самого верха, она расправила крылышки и поднялась в воздух».

На этот раз выручили пехотинцы, прямо из-под носа врага отбили летчика, а завтра, а послезавтра? И завтра, и послезавтра одно и то же: штурмовка, бои, неприятельские зенитки и «мессершмитты». «И вечный бой, — говоря словами поэта, — покой нам только снится». И вся жизнь самого автора, хотя о себе-то он пишет меньше всего, и вечный бой, и вместе с ним — подвиг. Вот только некоторые штрихи его биографии, которую можно смело назвать биографией поколения: родился на хуторе, мечтал стать музыкантом и стал бы им, поступив в консерваторию, но комсомол призвал своих воспитанников в воздушный флот, и Василий Емельяненко сел за штурвал самолета.

Он учился летать и учил летать других, а там война, штурмовик. Эти самолеты называли «воздушными танками», неприятель окрестил их «черной смертью». В каком сравнении больше смысла — поди узнай, но, видимо, и то и другое соответствовало истине. Они бомбили и расстре-

ливали неприятеля из пушек и пулеметов, подобно танкам, и, словно «катюши», били по скоплению врага реактивными снарядами — словом, они неустанно штурмовали.

Они штурмовали, когда наши армии откатывались на восток.

Они штурмовали в часы фронтового затишья.

Они, естественно, штурмовали и в наступлении.

Само понятие «отступление» для летчиков-штурмовиков не существовало.

А после войны — учеба в академии, преподавательская работа и, наконец, вот эта книга, написанная как бы всей жизнью. Василий Емельяненко не обозначил ее жанр, но это не мемуары и, уж во всяком случае, не записки очевидца, хотя герои ее реальные люди. Но что это за люди! Что ни человек, то судьба, что ни характер, то герой. Они были одержимые, но этого мало. Они были романтиками. Каждый из них мечтал о небе и жил в небе. И когда, скажем, Ворожбиев потерял глаз, а Шахов остался без ног, они добились, чтобы их снова пустили в небо. И опять вспоминаются другие летчики, Герои Советского Союза Мосолов и Маресьев, и это опять-таки только лишнее доказательство, что подвиг в минувшую войну был не исключением из правил, а само правило.

Перед нами хроника жизни одного полка, но перед нами же тревожная повесть военных лет. Она написана емко, сжато; каждая ее глава — законченный сюжет, отдельная новелла и вместе с тем часть единого целого, сказание о подвиге.

Без героизма, без подвига романтика мертва. Мосьпанов, Талыков, Холобаев, Зуб, Бойко, Бондаренко — полный список героев поименован на обелиске в Керчи — совершали подвиги в небе, другие совершали их на земле.

Василий Емельяненко своей мужественной, правдивой, суровой книгой ответил на вопрос, вынесенный в начало рецензии: есть романтика войны, если только война эта священна и если на подвиг идут «не ради славы — ради жизни на земле».

Вячеслав МАРЧЕНКО

ДИАЛОГ С ЧИТАТЕЛЕМ

В № 7 и 8 за 1972 год журнала «Молодая гвардия» была напечатана публицистическая повесть Ивана Филоненко «Пока вырастут деревья...». В связи с этой публикацией редакция получила наряду с одобрительными отзывами и письмо из Киева от мастера спорта по туризму Н. Горбуновой. Вот что она пишет:

«Возмущены некоторыми высказываниями по адресу самодеятельного туризма, помещенными на страницах ежемесячника. Автора — тов. Филоненко — нельзя обвинять, он — патриот леса. Но редакция, конечно, обязана была разъяснить ему истинное положение вещей. Если же и у редакции нет ясности, то в Москве существует ЦС по туризму и экскурсиям... Туда можно было обратиться за консультацией, прежде чем помещать порочащие туризм материалы».

К этому письму была приложена копия статьи мастера спорта Н. Н. Горбуновой, туристов третьего разряда В. А. Карпмана, Ю. И. Головченко, В. В. Завьялова и туриста второго разряда Н. М. Езеровой.

Авторы этого материала, ссылаясь на «Правила организации туристских путешествий на территории СССР» и другие относящиеся к этому вопросу официальные документы, характеризуют туризм как явление общественное, как одно из средств коммунистического воспитания трудящихся, укрепления здоровья, активного отдыха, приобщения к занятиям физической культурой и спортом и т. п.

Все это совершенно справедливо. В частности, большое воспитательное значение будет иметь организуемая начиная с 1973 года туристская экспедиция советской молодежи «Моя Родина — СССР», маршруты которой пролегают по местам революционной, боевой и трудовой славы советского народа.

Но развитие массового туризма не исключает, а предполагает бережливое отношение к природным богатствам страны. О необходимости строгого соблюдения всеми гражданами установленных правил охраны окружающей природной среды говорится и в постановлении Центрального Комитета КПСС и Совета Министров СССР «Об усилении охраны природы и улучшении использования природных ресурсов», которое было опубликовано 10 января этого года.

С письмом читательницы Н. Горбуновой и копией статьи киевских туристов мы ознакомили И. Филоненко и попросили его ответить оппонентам.

ЧЕЛОВЕКУ С РЮКЗАКОМ

Мы много пишем, а еще больше говорим о природе: и что скудеет она, и что настала пора ограничить деятельность человека, занятого эксплуатацией природных

ресурсов. При этом выказываем такие познания, которые осуществить бы только — и все беды канут в прошлое.

Но леса редеют даже в пригородных зеленых зонах, где сплошные вырубки, тем более раскорчевки под пашню не допускаются. Усилия человека направлены здесь на сбережение природы, каких бы затрат это ни стоило. Однако сохранить ее не всегда удается. При внимательном изучении вдруг оказывается, что многие виды трав и цветов пропали вовсе, меньше птиц стало, а некоторые породы деревьев исчезают.

И вот представьте такую весьма распространенную картину.

Шагает, торопится человек с рюкзаком, чтобы к ночи в лес успеть, засветло шалаш смастерить, для костра дров наломать.

Слышу возражения: турист теперь палатку с собой носит. Согласен. Однако и шалаши еще встречаются.

Ладно, будем считать, что на шалаш рубить деревца и ветки не надо. Но костер-то остается? Значит, надо три сырые палки — для подвески котелка, вязанку сушняка — для огня. А где все это взять? Валежника в пригородных лесах давно нет, сожгли уже все. Но есть еще на корню деревья. И человек, отложив рюкзак, рубит. И не всегда сухостойное — его уже другие вырубили, так что теперь ни одного дупла птице не найти. Ставит палатку, огонь разводит — топчется вокруг.

Подумаешь, скажут, два-три деревца смахнул, малую площадку земли опалил да вытоптал.

А когда десятки, сотни палаток пестрят в лесу, когда кострища, не зарастающие годами, все гуще уродуют ожогами землю, к тому же каждое воскресенье — на новом месте? Тогда даже при безукоризненном поведении туристов лесоводы волноваться начинают, ученые обнаруживают нарушения равновесия в природе: исчез сухостой — нет дупел, улетели птицы, в них гнездящиеся; выжгли плодородный слой и землю ногами уплотнили — нет условий для прорастания всходов, нет замены старым деревьям.

Но бывает и хуже. Человек развел огонь не на просторе, а под деревьями: опалил корни, ствол и ветви, срубил то, что ему не мешало и в чем нужды не было. Оставил костер непогашенным.

Об этом я и упомянул в повести. Рассказал о недостойном поведении некоторых туристов, устремляющихся на выходные дни за город. Надеялся, что читатели поймут мое беспокойство. Поймут и осудят тех, кто не мыслит вылазки на природу без выпивки, порубок и костров, кто, возвращаясь из похода, награбленное везет.

Скажете, мало таких? А вы на вокзал придите, у электричек постойте. Из каждого второго рюкзака мятая охапка цветов возвышается, годная лишь в урну, а то и вязанка веток разных деревьев. Одни черемуху безжалостно ободрали, другие луг «пропололи», третьи сосенки обезглавили.

Обиделись туристы, прислали в редакцию письмо, в котором обвиняют, мягко говоря, в необъективности. Мы, мол, хорошие, посвятили любимому делу всю жизнь, совершенствуем в походах спортивное мастерство. Упреков не принимаем, это поклеп, замах дубиной. От нас никакого вреда природе: не рубим, не стреляем. А теперь, прочитав повесть И. Филоненко, люди будут шарахаться от человека с рюкзаком. «Обороняясь», ссылаются на ряд постановлений и решений по развитию туризма в нашей стране.

Что ж, давайте взглянем на многие явления пристальнее.

Готовясь к этому разговору, я побывал в Министерстве лесного хозяйства РСФСР. Попросил начальника Главного управления охраны и защиты лесов Михаила Никитовича Смирнова рассказать о случаях, когда туристы помогли спасти лес, пресекли браконьерство.

— Не могу, — ответил он категорично. — Если и бывают подобные случаи, достойные похвалы, то они, можно сказать, нетипичны, по крайней мере, такие факты единичны, тогда как безобразное отношение к природе можно наблюдать на каждом шагу. Не буду говорить о густонаселенных центральных областях, таких, как Московская, к примеру. На более отдаленные леса глянем, на те хотя бы, что в Марийской АССР. Так вот, только летом минувшего года по вине туристов там произошло 267 лесных пожаров, из них пятая часть — в районе баз отдыха. На месте бедствий обнаружены не только костры, но и обгоревшие рюкзаки, палатки. Виновные, разумеется, в тушении не участвовали, они скрывались, потеряв всякую гражданскую совесть. В результате многие сосновые леса республики превратились в черные кладбища, чтобы оживить эти леса, нужны десятилетия. То же самое можно наблюдать и в других районах севера и юга, востока и запада. Проанализировав и обобщив эти случаи, можно сделать единственный вывод: лесные пожары «явились результатом не только засухи, но и неосторожного обращения с огнем в лесах и на торфяниках». Надеюсь, читали доклад заместителя Председателя Совета Министров СССР В. А. Кириллина на IV сессии Верховного Совета СССР? Из его выступления эта выдержка.

Резкость суждений Михаила Никитовича мне понятна. Ну хотя бы потому, что отрицательное влияние туристов на природу видно и не искушенному в этом. Достаточно взглянуть на часто посещаемые леса у водохранилищ и рек: под Москвой или Калинином, Иркутском или Алма-Атой. Все они обожжены, вытоптаны, изрежены, усыхают. Во многих местах походят на мусорную свалку.

Справедливости ради оговорюсь. Я видел людей с рюкзаками, которым даже самый взыскательный природолюб не мог бы предъявить претензий: ни одного срубленного дерева для костра, ни одной разбитой бутылки. Слышал рассказы о том, что некоторые туристы, посещающие Селигер, считают долгом своим посадить несколько молодых сосенок на берегах, подверженных эрозии. Великое спасибо им за это!

И все же... Не часто увидишь туриста, сажающего дерево на поляне, вытоптанной среди леса под волейбольную площадку. Не встретишь родника, очищенного его руками, хотя он и проходил мимо, останавливался напиться. Но ушел, не оправив оплывшие берега. А ведь труда на это немного надо, была бы любовь к земле у тебя, а не одна лишь гордость за количество пройденных по ней километров и выполненную спортивную норму.

Да, в постановлениях по развитию туризма говорится о его роли в коммунистическом воспитании человека. Всестороннего, а не только физического. Лес — не стадион. И не кладовая, из которой можно бесконечно уносить дары. Не ради одной лишь спортивной прогулки человек в путь отправляется, а чтобы взглянуть на мир, красотой насладиться, чтобы богаче стать, духовно богаче, вынести из леса не веники и вязанки, а наблюдения и впечатления.

Казалось бы, человек с рюкзаком таким и должен быть: зла

не причинять природе, не проходить мимо зла, причиняемого другими. Однако желаемое рано выдавать за действительное. Конечно, причиняют зло не все, а вот проходят мимо него многие. Спросите: для чего тогда лесник?

Но ведь он один на десятки тысяч гектаров леса. Уследить ли ему за всеми, как бы добросовестно ни относился он к делу? Нет, конечно, тем более в выходные дни, когда по обширным владениям его движутся десятки, а то и сотни групп, к тому же, случается, подвыпивших...

Именно вы, пришедшие в лес полюбоваться красотой, должны быть заботливыми хозяевами в нем. Дом этот просторный вам отдан в безраздельное пользование. Так неужели же можно позволить кому-то куражиться в нем? Поверьте, больно леснику смотреть потом, когда уйдут «гости». Вы отдыхали, а он к уборке после вас приступает. Представьте себя на его месте: какие слова сказали бы вслед ушедшим? Уверен — нелестные. И вряд ли стали бы делать при этом всяческие оговорки, разделять туристов на истинных и самозванцев. Потому что и истинные не воспользовались уже существующим кострищем, а облюбовали зеленую полянку, на которой развели огонь; не подобрали рогатки для котелка, а новые срубили, и обязательно с живого дерева. Тем самым вред умножили.

В своей повести я не указывал, где и почему, в каком областном совете по туризму какой пункт «правил» нарушен. Природе от этой конкретности было бы не легче. Я к твоей совести взывал, человек с рюкзаком, помня о том, что туризм стал массовым увлечением. При этом многими не внутренняя потребность движет, а мода. А она, как известно, всегда с крайностями.

Проще всего, конечно, подлинным туристам отгородиться от этой массы и сказать: мы не берем с собой ни водки, ни огнестрельного оружия, не рубим и не уничтожаем все живое вокруг. Возможно, вы лично — да. А другие? Можно ли забыть о недавнем случае под Алма-Атой, когда по вине так называемых туристов сгорели уникальные горные леса, в огне погибли вековые тянь-шаньские ели, заживо сгорели птицы и звери, задыхались в дыму люди («Комсомольская правда» от 20 октября 1971 года)?

И вот, когда речь заходит о туристах, я вспоминаю эту трагедию в горах. И тех парней, воинов наших, курсантов школы милиции, которые пришли на помощь лесникам, в огонь бросились, не щадя себя. Около двух тысяч человек почти двое суток боролись с бедой, начавшейся от костра. А туристы? Они, легкие на подъем и на ногу (натренированные!), ушли...

Как видите, кроме вас, пятерых подписавшихся под письмом из Киева, есть и другие туристы. Да вы и сами в глубине души не можете не сознавать этого. Иначе в конце письма не предложили бы вдруг «...не мириться с положением, когда по выходным дням десятки и сотни групп расходятся по лесам... с транзисторами, бутылками и прочим «снаряжением»... Необходим строгий контроль за группами».

Но хочется спросить вас, истинных туристов, спортсменов-разрядников и мастеров спорта: кто же будет контролировать их? Неужели вы, отстаивающие честь человека с рюкзаком, должны оставаться в стороне от этого? Вы водите группы, работаете с ними... Воспитывайте же в себе и в других не только физические, но и высокие нравственные качества!

Скажете, есть группы, формирующиеся стихийно? А вы шефство возьмите над ними, придите на заводы, предприятия, чтобы без вас, туристов-спортсменов, ни одна «дикая» группа за город не отправлялась. Ваше это дело! Не к лицу вам поза стороннего, тем более обиженного. Она свидетельствует лишь об одном: пропаганда отдыха у нас ведется довольно широко, а вот культуре поведения на природе пока что внимания уделяется мало. Послушайте любую радиопередачу, призывающую в лес на отдых. Впечатление такое, словно в гости зовет не сам хозяин, а сосед его. Говорит лишь о красотах, но ни единого предупреждающего слова: где можно ходить, а где и нельзя! И отправляется в лес неподготовленный турист, о жизни леса ничего не зная. А знать он должен.

Остановись, человек, присмотрись: вот дерево, вот веточка, а вот едва приметная былинка... И все это в извечном движении. Чтобы заметить его и понять, нужно взор свой на одной лишь почке сосредоточить, на листочке или нежном летошнем побеге. Только тогда ты проникнешь в таинство природы и обогатишься духовно, добрее станешь. Никогда больше не рубанешь по белоствольной березе топором, не оберешь безжалостно черемуху в цвету, клен осенний. Не нужна тебе вязанка потерявших прелесть веников. Срежешь одну-единственную веточку, да так, чтобы дереву, кусту не было «больно»...

Иван ФИЛОНЕНКО

Ст. художественный редактор Ю. Киселев

Технический редактор Н. Строева

Сдано в набор 2/I 1973 г. Подп. к печ. 14/II 1973 г. А00642.
Формат 84×108 1/32. Печ. л. 10 (усл. 16,8). Уч.-изд. л. 21,4.
Тираж 468 000 экз. Зак. 2573. Цена 60 коп.
Типография изд-ва ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия».
Москва, А-30, Сущевская, 21.



НА ОБЛОЖКЕ ЖУРНАЛА

На первой странице — гравюра на линолеуме заслуженного художника РСФСР А. Ушина «Начало весны».

●

На четвертой странице — фото А. Овчинникова «Агрохимик». (Сотрудник Псковской областной агрохимической лаборатории Е. Ф. Зубарева определяет наличие кислот в кормах.)

Цена 60 коп.
Индекс 70544